

МАРИНА ГЛАЗОВА



СЛОВА
СБЫВАЮТСЯ

ПОЭЗИЯ. ПИСЬМА. СВИДЕТЕЛЬСТВА



**Марина Глазова. 1974 год. Бостон.
«Я еду на косу Кейп-Код/ и оставляю огород...»**

МАРИНА ГЛАЗОВА

СЛОВА СБЫВАЮТСЯ

ПОЭЗИЯ. ПИСЬМА. СВИДЕТЕЛЬСТВА

ДУХ І ЛІТЕРА

УДК: 821.161.1-1

Г52

Марина Глазова. Слова сбываются. Поэзия. Письма. Свидетельства. –
К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 432 с., ил.

ISBN 978-966-378-405-2

Основа книги – сборник стихов Марины Глазовой, филолога, лингвиста, бывшего преподавателя Института восточных языков (вьетнамское отделение) при Московском Государственном университете, а затем Русских кафедр Гарварда (США) и Дальхаузи (Канада). Она известна русскоязычному читателю своей первой книгой стихов «Разделение океаном» (М., 1991) и исследованием поэзии О. Мандельштама («Подсказано Дантом: о поэтике и поэзии Мандельштама», Киев, 2012). Мир правозащитников-шестидесятников глубоко повлиял на судьбу Марины, уехавшей из России в 1972 г. с мужем, ученым-востоковедом и диссидентом Юрием Яковлевичем Глазовым.

Поскольку творческая и исследовательская работа, жизнь и личность поэта неразрывны, в сборник вошли воспоминания родных и друзей, отрывки из переписки и ранней прозы. При всей своей многожанровости эта книга – прежде всего о дружбе, любви, голосах совести, скрепляемых самой сильной связью – поэтической образностью.

Составление, вступительная статья, комментарии Елены Глазовой

Редактура и корректура:

Елена Глазова

Алла Калмыкова

Марина Алхазова

Анатолий Лейкин

Компьютерное макетирование:

Дарья Залевская

Художественное оформление:

Елена Глазова

Марина Глазова

Лаура Хант

© М. Глазова, стихи, проза, 2013

© Е. Глазова, составление,
вступительная статья, комментарии, 2013

© ДУХ І ЛІТЕРА, 2015

Посвящается каждому из тех, кто мною любим.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Елена Глазова. О голосе, разлуке и силе мысли на расстоянии</i>	15
<i>Анатолий Лейкин. К новому сборнику стихов Марины Глазовой</i>	32

КНИГА ПЕРВАЯ. МОСКВА (1965–1972) КОГДА ЧАСЫ ОКУТЫВАЮТСЯ РАЗГОВОРАМИ

I. СЛОВО СКОРБИ (1965–1967)

«Долго, долго было тихо...»	37
«Уходишь в никуда...»	37
«Ну что ж, – так она и умерла...»	38
«Я больше не могу смотреть тебя – в волнах...»	39
«Это не волна, это она волнуется...»	39
Молитва	40
«Она умерла и осталась со мной...»	41
«Давно знаем и мы...»	42
«Ты рассказывал...»	42
Сказка	43
<i>Из воспоминаний Юрия Глазова. В КРАЮ ОТЦОВ.</i>	
Новая жизнь	45
<i>Из воспоминаний Натальи Трауберг. САМА ЖИЗНЬ.</i>	
Пярвалка	52

II. СЛОВО ПРОБУЖДЕНИЯ (1966–1968)

Чужая дхарма опасна	57
Гонимому другу	58
Посмеемся над собой	58
«Золотые перышки сыпались с деревьев...»	59

«В жестокой экзистенциальной битве...»	60
«Все окно облилось...»	60
«Они меня поразили...»	61
«Я вас люблю...»	61
«Огни ночного города в волненье...»	62
«Лишь путь в исповедании...»	63
Будничные дни.	64
Попытка детства	65
«Автобусы, трамваи и буква М...»	65
«Все бегу, все бегу...»	66
Дорожная зарисовка.	67
«Когда-нибудь, в каком-нибудь рождении...»	68
«Лес. Ночь. Темным-темно...»	69
«Все взвешиваю – за и против...»	69

Из воспоминаний Юрия Глазова. В КРАЮ ОТЦОВ.

Перелом: 24 февраля 1968.	70
Торжество демократии	79
Советская Немезида (О событиях в Чехословакии).	80

III. СЛОВО НАДЕЖДЫ (1968–1970)

Слова сбываются.	83
«Благодарю Тебя за этот день...»	83
«Убегу я обратно в детство...»	84
Второй Зачатьевский	85
Человек земной странный	86
Вечерами	87
Ссора	87
Слезки капают, переливаются	88
Бреду как в бреду	88
«Когда часы окутываются разговорами...»	89
«Как не думалось, все обошлось...»	89
Перед моим окном	90
Ночь	90
Как на ясном плане.	91
Равномерность.	91
Тишина.	92
Время – как молчит оно.	92

Среди маслин	93
Погода	94
«Царице моя преблагая!..»	94

Из воспоминаний Юрия Глазова. В КРАЮ ОТЦОВ

Советская Немезида.	96

IV. СЛОВО ВОЗДУХА (1970–1971)

Тополиный пух	99
Чующий лес	99
Дающая рука.	100
«И только зарево его молитв над островом...»	100
Море	101
Птицы небесные	101
Дождь	102
Прикосновение благодати.	102
Розы	103
Магия	103
Космос и хаос.	104
Тает снег.	105
«Снег был мокрый. Но тонкий, влажный...»	105
Воды вешние.	106
«Пошли дожди вперемешку со снегом...»	107
Окраина.	108
Глоток воздуха	109
Это было в апреле	109
Выбор	110

Из воспоминаний Юрия Глазова. В КРАЮ ОТЦОВ.

Последняя зима	111
Письмо Ю. В. Андропова	116

V. СЛОВО РАССТАВАНИЯ (1971–1972)

«Помню, как в тот вечер...»	119
«Я помню – осень наступила...»	120
«Листья жаловались, падая...»	120
«Краны, дома из панелей...»	121
«На вокзале я вдруг поняла...»	122

«Аховая была у меня эта осень...»	123
«Все было мне зеркальным отражением...»	124
«В комнате трещало от ламп дневного света...»	124
«Летели хлопья наяву...»	125
Ты целуй меня последним целованием	126
«Будут люди отходить, как отходили...»	126
«От чьей-то смерти где-то что-то возникало...»	127
«Остановились все песочные часы...»	127
Бегут за днями дни	128
Молитва.	129
Прощанье, запрещающее скорбь	129
«Перебираю карточки с отчаянья...»	131

Из воспоминаний Натальи Трауберг. САМА ЖИЗНЬ

Пярвалка	132

Из воспоминаний Юрия Глазова. В КРАЮ ОТЦОВ.

Последние часы на родной земле	133

КНИГА ВТОРАЯ. ЭМИГРАЦИЯ (1972–2012). ВЕКАМИ ПЕЛ НЕЗАЩИЩЕННЫЙ ГОЛОС

Елена Глазова, Юрий Глазов. Вместо предисловия.

Едем, едем по белу свету	143

Из писем

Леонид Ефимович Пинский. 1974.	147
Наталья Трауберг. 1972–1975	148
Томас Венцлова	150
Наталья Садомская. 1972–1974	150
Татьяна и Валентин Турчины. 1972–1974	156

<i>Елена Глазова. После отъезда.</i>	<i>160</i>

I. ПРИВЕТ ТЕБЕ, КУЛЬТУРНЫЙ ШОК! (1972–1975)

«Трость ли, ветром колеблемая?...»	161
«Белый снег и черные следы...»	161
«Запах первого снега...»	162
«На зеленой траве, на зеленой...»	162

Чаяние чая.	164
«Вас не было, а письма ваши были...»	164
«Ничего! И не такое было!..»	165
Мысли	166
«Во время длинных, умных разговоров...»	167
«Этот прохожий был просто похожий...»	167
«В окно глядится куст сирени...»	168
Душ и душа	168
«Я еду на косу Кейп-Код...»	169
Кейп-Код. Летний лагерь.	170
Залив.	172
Растерянность	173
«Всем известно изначально...»	173
«Сосед по креслу очень волновался...»	174
Культурный шок	175
«Земную жизнь пройдя до середины»	175
«Они мне объясняли все подряд...»	176
«Люблю читать заметки на полях...»	177
«Я получил award!..»	177
«И я сидела на полу...»	178
«Не плачьте обо мне...»	179
В рождественские дни	180
«Вцепляюсь в эти дни...»	181
«Зубрю слова и выраженья...»	182
«Не летают облака...»	182
«Образ с ладони исчез...»	183
«Я иду босая по песку...»	183
«Я боюсь победы...»	184
«Сматываю удочки...»	185
«Разлучаюсь, разлучаюсь – тренируюсь...»	185
«Незаменимых людей нет...»	186

II. В ПРОЩАЛЬНОМ ПОКЛОНЕ (1975–1986)

<i>Елена Глазова. Vita Nuova</i>	187
<i>Из воспоминаний Юрия Глазова. НА ЧУЖОЙ СТОРОНКЕ.</i>	
Отрывки из рукописи	189
<i>Елена Глазова. Об отце Александре Мене.</i>	195

Из писем

О. Александр Мень	196
Моря тюльпанов	199
«Черно-зеленым выткано узором...»	201
«Я никогда не знала слова daddy...»	201
Остановка пульса	202
«Как хорошо стоять на берегу...»	203
«Стоит перекличкой трамваев...»	204
Наша юность	206
Лене Строевой	207
«С тихой жалостью снова падают листья...»	208
«Мне ничего ни от кого не нужно...»	209
«Незаменимых людей нет...»	210
«На лилии белой летит твое сердце во тьме...»	211
«Речи твоей лоскуток прикрываю ладонью...»	211
«Приставив горячую чашку ко лбу...»	212
«Улетай в колечках дыма!...»	212
Памяти Эдика Зильбермана	213
Могила дружбы	216
«И обратилась в соль собачья верность...»	217
Разделение полдня	218
«О временах простых, о глиняных обидах...»	221
Александру Аркадьевичу Галичу	222
«Веками пел незащищенный голос...»	223
Опять с узелком	224
 Елена Глазова. О дружбе с Владимиром Кормером	226
Юрий Глазов. Письмо к Владимиру Кормеру	227
 III. Я ДОМ ИЩУ (1975–2010)	
Юрий Глазов. НА ЧУЖОЙ СТОРОНКЕ	
Переселение в Новую Шотландию	229
«Смотрю в окно и слышу голоса...»	235
«От цивилизации оседлой я, видно...»	235
Городу Галифаксу	237
«На песке лежит змея...»	238

«На тонкой тросточке застыла стрекоза...»	239
«Красное солнце. Венок голубой...»	239
Бедная Ева!	240
«Где тот, кому могу сказать...»	240
Зиночке и Грише и тому Большому Лесу	242
Все души милых.	243
«Белым снегом опустится Купина...»	244
Поэтические зарисовки	

«Любимые слова: сочельник...»	245
«Я слушаю ребенка разговор...»	245
«Где б такой воды испить...»	246
«Отчего ж не избить лежащего...»	247
«Ни войнам, ни чуме конца совсем не видно...»	247
«Холодно птице в силках...»	247
«Если б только свою судьбу имели книжки!..»	247
«Узелок на пальме, голубок из глины...»	248
«Страшно птиц на колючей проволоке...»	248
«Покою, сердце, правда просишь?..»	249
«Льдинка-снежинка мне в сердце попала...»	249
«Их было трое...»	250

To keep a stiff upper lip	250
Опять Кейп-Код, машина, огород.	251
Страхи	252
О дивный новый мир!	254
Мода и правда	255
В городе том	256
Река забвенья	259
«И приснится тебе опять боль глухая...»	260
«Прости меня, память моя...»	261
«Глаза и слезы!...»	261
«Расскажи мне теперь о Джотто...»	262
«Умер воробушек и у его подруги...»	263
Зима в городе	264
Уроки плаванья	265
Ирочке и Юзу	266
«Фрейлина И поразила Юз-Фу...»	269
«Мысль о бессмертии – птицей в снегу, сиротой на вокзале...»	271

«И время, и душа – все сделано из света...»	271
«Годы исчезли. И сам человек на глазах исчезает...»	272
В минуту счастья.....	272

Юрий Глазов. НА ЧУЖОЙ СТОРОНКЕ.

Опыт эмиграции	274

Елена Глазова. Несколько слов о нашей жизни в Канаде

и о переписке с отцом	278

Из писем и отзывов (1974–2010)

Иосиф Бродский (1974)	283
Наталья Трауберг (1976)	284
Виктор Финн (1976–1978).....	285
Лариса Лейтес (1977–1989)	288
Наталья Садомская (1977)	291
Лев Наврозов (1977).....	293
Александр Галич (1977)	293
Ангелина Галич (1877–1978).....	294
Гарик Восков (1980)	295
Лев Лосев (1980)	296
Александр Пятигорский (1981).....	296
Вера Данам (1981)	298
Константин Кузьминский (1983)	298
Григорий Померанц (1983)	298
Зинаида Миркина (1984).....	299
Юз Алешковский (1984)	300
Даниэль Лафферьер (1986).....	301
Георгий Борисов (2010)	301

IV. О ХРОМОНОЖКЕ МАРЬЕ ТИМОФЕЕВНЕ (1986–2010)

Сергей Аверинцев. Примета стихов. О «Плаче Хромоножки»

Марины Глазовой	303

<i>Елена Глазова. Перестройка и «Плач хромоножки»</i>	<i>304</i>

ПЛАЧ ХРОМОНОЖКИ (1986–1988)

«Какая я им родня?...»	307
«Я ребеночка убила – крошечку...».....	308
«И карты врут, и люди врут...»	310

«Поняла, что значит «ставрос», я...»	310
«Ну что ты, гордый человек...»	311
«Отобьют они память мою...»	312
«Любит, любит кровушку...»	313
«Вся земля в слезах...»	313
«Как подумаю – слезы опять...»	314
«Все выходит, как нагадала...»	315
«Последняя ночь...»	315
«И она обожглась на свече...»	316
«Все погаснет вокруг...»	316
 <i>Юрий Глазов. Беседа с Булатом Окуджавой. Отрывки</i>	317
<i>Юрий Глазов. Так где же мы ошиблись?</i>	328
<i>Алла Калмыкова. «...Я живу в последний раз»</i>	329

V. СЛОВО ЛЮБВИ

<i>Золотая нить. Беседа журналиста Аллы Калмыковой с Мариной Глазовой о жизни и смерти Юры Глазова</i>	331

КНИГА ТРЕТЬЯ. ИЗ ПРОЗЫ (1976–1978, 2012)

<i>Елена Глазова. О даре радости и печали</i>	359
<i>Галина Корнилова. Предисловие к «Розовому дереву (Разговоры)» в журнале «Горизонт»</i>	363
 РОЗОВОЕ ДЕРЕВО	365
ШОСТАКОВИЧ	424

Елена Глазова

О ГОЛОСЕ, РАЗЛУКЕ И СИЛЕ МЫСЛИ НА РАССТОЯНИИ...

Я принимаюсь за очерк, который жил в моем сознании уже очень много лет: я попытаюсь очертить образ женщины, глубоко изменившей нашу семью. К 1968 году Марина Рафальская, уже ставшая Мариной Глазовой, подарила моему отцу двух сыновей, Гришу и Яшу, и взяла на воспитание девочку-подростка – меня. Мы обе были испуганы и напряжены, но рафаэлевским ли серафимом, лирою, мечом или невидимой волшебной палочкой прикоснулась молоденькая Марина к той девочке и перестроила полностью ее внутренний мир.

Отец потерял работу в 1968-м (был изгнан за диссидентство из Академии наук и Института восточных языков при МГУ), семью лихорадило каким-то неизученным брожением, прошлое и будущее кипели и преображались, но между нами – падчерицей и мачехой – родилась, вопреки всем сказкам и мифам, сказочная дружба, удивлявшая всех знакомых (и даже нас) и в наши годы в России, и в эмиграции, и во время моих юношеских романтических увлечений, и в замужестве, и в нелегком воспитании детей в мире двух культурных полей (сначала моих братьев и меня, а потом моих сыновей и дочек), и во время всех скитаний и папиной смерти в 1998 году, и в создании моих первых книг, и во время приездов в Россию (разрешенных со времен перестройки), и, конечно, теперь, когда мы стремимся вместе издать на родине продуманное и написанное и папой, и Мариной, и даже мной.

Лу Саломе настаивала в 1930-е годы, что ей удавалось вылечить больных психическими расстройствами при помощи строчек Рильке: «Они слышали тембр твоего голоса как тембр жизни».

Процесс влияния поэтических строчек на внутренний мир взволнованного человека еще далеко не изучен, но мне кажется, что я могла бы оставить что-то, подобное летописи этого процесса, для будущих ученых – по крайней мере, я могу описать изменение сознания девочки, живущей рядом с поэтом.

«И голос, что ловлю, других всех глуше» – эти строчки из Мариных стихов не просто запали в мою память. Я видела их силу. В моей жизни они стали подобием компасной стрелки, направляющей, когда ориентация потеряна. Но начну издалека – где-то с 1970 года. Наш дом – в продолжающемся смятении. Протестное движение уже разбивается на два лагеря – на диссидентов, бьющихся за новую Россию, и на уезжающих в Израиль. К нам заходит молодой и отважный одессит Исай Авербух (мы звали его Саней или даже Санькой). Папа объяснил мне, что Санька мечтает об отъезде в Израиль – одесские органы пытались его завербовать. У него редчайший талант: он читает мысли других и может направлять их действия.

Мне все тогда было ново: и Санины стихи, и его талант, и сама возможность мечтать о жизни в Израиле. Молодой человек приходил часто, расцеловывался с папой и Мариной, любил пить чай, но ел всегда мало. К вечеру собирались друзья, и Санька устраивал представление. Если он постился и не ел мяса, его способности становились воистину чудодейственными. Он, действительно, мог читать мысли на расстоянии и даже подбирать музыкальные мелодии на пианино, если рядом стоял музыкант и мысленно посылал Сане какой-то мотив. Вне этих сенсационных концертов Саня играть на рояле почти не умел. Но для самых впечатляющих представлений нужен был так называемый «индуктор», человек, способный мысленно передать Сане мысли всех, находящихся в комнате. Папа был готов, но не подошел для этой роли совсем. Не подходил никто. С грустью посмотрел Саня на собравшихся друзей, и вдруг его взгляд упал на Марину, моющую посуду после ужина, так удивительно накормившего всех. Марина спешила привести кухню в порядок, чтобы уже от души насладиться разговорами и весельем. «Подождите, подождите, – сказал Саня, – тут

есть редчайший индуктор». Он взял Марину за руку и провел эксперимент, убедивший его, что прикоснуться к ее руке нет никакой необходимости, – Марине было достаточно просто подумать на заданную тему.

И представление началось. Саня выходил из комнаты – и чего только не придумывали наши друзья! Подойти к словарю калмыцкого языка, найти слово на с. 283, на 5-й строчке, написать его пять раз, прочесть вслух, взять тапочки, выйти на улицу, потом спрятать их в холодильник, проглотить пять ложек масла, прочитать стихи Пушкина, сочинить свои стихи. И вдруг Саня потребовал стихов Марины... Все были ошеломлены, включая Марину, никому из присутствующих об их существовании не говорившей. Она только на прошедшей неделе собрала наконец свои рукописные листочки и напечатала стихи на машинке. Так в первый раз прозвучали в дружеском кругу стихи смутившейся Марины, для гостей совсем неожиданные. Первый цикл был посвящен ее бабушке, умершей голодной смертью от рака желудка.

Помню внезапно установившееся молчание только что веселившейся компании. Это была поистине немая сцена. До того в семье к стихам Марины относились как к части наших общих бесед. «Я полюбил Марину, – говорил папа, – когда понял, как она любит бабушку. Увидел весь срез характера Марины и уже не мог без нее жить». Я, конечно, знала, что хотя это и правда, но далеко не вся. Марина была чарующе красива, и я девочкой завидовала ей самой черной завистью (над которой работала денно, ночью – и тщетно, потому что не влезала ни в одно из ее платьев). Долго я тогда размышляла и о самом факте рождения стихов после удара судьбы.

Она умерла и осталась со мной.
Я слышу ее во вселенной глухой...

...и пошла
вдоль тех самых берез,
что заплакали за меня.

Мне казалось, что в нашем доме вино было как бы разлито в воздухе. Оно, это воображаемое мною вино, было сухим, даже терпким и несколько горчило, но было в нем столько веселья, особенно искрившегося, когда собирались друзья! Саня же говорил не о вине, он говорил о звуках, объяснив, что во время «индукции» слышал голос, звучавший как будто глуше других, но явственно и сильно. «Довольно необычная у него сила, – уточнил Саня, – в нем растворяются все другие голоса». Этих слов я тогда совершенно не поняла и до сих пор не совсем понимаю, но они меня удивили и поэтому, очевидно, запомнились.

Так во время одного из Саниных ошеломляюще-веселых магических действий тайное стало явным, стихи перешли из семьи в мир внешний, и все друзья ушли счастливые и довольные, наполненные музыкой. Все они были борцами за справедливость, у всех были глубоко амбициозные планы на будущее, но никто не спустился с неба в тот день сказать нам, что стихам надо дать ход и начинать их печатать. Печатать? В советских журналах? Смешно. В те годы наша семья была в боях, тут не до публикации стихов – рвались кровные связи. Папа, уже давно безработный, постоянно сидел над переводами. Переболевший сепсисом, он возвратился из больницы изможденным и считал, что пойман жизнью начисто. Марина же билась и становилась все красивее – то она была отважной и веселой, то испуганной от неизвестности, что ждала нас и с каждым днем приближалась. Из-за отца меня уже не приняли в университет, взяли только (с помощью близких друзей – Тамары Исааковны Сильман и Владимира Григорьевича Адмони) в Историко-архивный институт, на вечернее отделение. А Марина, мечась между работой в университете, всеми нами и своей мамой, полная какой-то тайной лихости, писала – вечерами, урывками:

И стою, и бью ногой по снегу.
Бью, стихийно высверлив дыру,
разбивая душу на потеху
и распутывая сложную игру.

...

Но, нащупав что-то осторожно,
я прошу склониться надо мной
и, конечно, если только можно,
вывести куда-то по кривой!

Стихи она читала мне, а я слушала и смотрела в огромное окно нашей общей комнаты, служившей еще и гостиной, смотрела в завьюженную ночь и не знала, как помочь:

В тот день шел мокрый снег.
Он покрывал овраг
перед моим окном
и выросший за месяц дом
перед моим окном.

Большими хлопьями выплакивалось небо
в овраг, в дорогу, в скаты крыш...
– Услышь, услышь, «ухо имеющий...»

Самыми моими любимыми тогда были стихи, написанные в ту ночь в больнице, когда отцу переливали плазму и нам сказали, что риск велик, но это последний шанс, хотя и он может не спасти от летального исхода:

Когда часы окутываются разговорами
и листья догоняют ветер,
безжалостно полосками дождя
знак одиночества извечного отмечен.

Работа скульптора приблизилась к концу.
Твои черты – в искусстве первобытном.
И хлещет дождь по мокрому лицу.
И ветку треплет ветер ненасытный...

У нас с Мариной был тогда один полушубок на двоих, одна меховая шаль и одни сапоги. Иногда в метро, увидев свое отраже-

ние в окнах вагона, я думала, что я – она, и я срывалась с места, чтобы к ней пробраться, пугая окружающих своей странностью. А перед выходом из дома я вкладывала газеты в сапоги (у меня нога меньше), Марина же впопыхах, убегая, вынимала их из сапог. Такой я и помню ее, выбегающую на улицу, на работу. Из окна я видела, как Марина ждет автобус рядом с электрической башней на улице Волгина. Да, она стучала ногой по снегу, а я молилась, как умела, чтобы мы так жили всегда – в дружбе, пусть в неизвестности, но в нашем мире, окруженные любовью друзей:

Краны, дома из панелей –
спичечные коробки.
Разных сооружений
езде понастроили.

Эйфелевой башней
из моего окна
вытянулись по небу
вышка и провода...

Так автобус и башня стали как бы постоянными точками в нашей жизни днем. 1968 год был страшным не только потому, что отца выгнали с работы и он тяжело заболел к осени, а еще и потому, что пошел слух, будто он – провокатор и подписывал письма протеста, а потом призывал подписывать других по заданию. Я думаю, от этого удара мы не оправились никогда, хотя все заживает на свете и порастает новой травой.

В конце 1968-го и в последующие годы в Москве менялся круг наших друзей. В нашу жизнь входили новые люди, спешившие помочь и продуктами, и работой над переводами, и лекарствами во время болезни, и даже денежными подарками. Однажды, когда я открыла дверь на звонок, кто-то оставил гору продуктов, а сам ушел. Чудеса да и только. Как же можно такое когда-либо забыть?

Мы ждали ареста отца, и Марина писала в автобусе, на переменках между преподаванием в университете, читала мне, а я опять смотрела в завьюженное окно и знала, что в нашей судьбе

уже ничего изменить не могу, но музыка стихов, как колыбельная песня, успокаивала, облагораживала, высвечивала несчастье. Мне нравилась особенно смесь просторечья и музыкальности. Эта была наша тайна, наша сила.

Есть у Парижа башня.
Для кого-то она – всегдашняя.
Для кого-то, должно, вчерашняя.
Для кого-то – все никогдашняя.

Есть у меня своя –
за дорогой – напротив окна,
вместе с моей судьбою.
Небо – ты надо мною.

Тогда, девочкой, я долго не могла решить – люблю ли я семью и все, что пишется в ней, и особенно эти стихи потому, что они действительно являются настоящим творчеством, или я вижу в них эти очертания, потому что люблю. На этот вопрос я тогда не могла дать ответа, но уже привыкла к нашей жизни и стала понимать, что есть родники, которых без определенного опыта риска, любви и жертвенности нельзя ни найти, ни понять, ни услышать, и Маринины стихи были жизнью этих скрытых родников. Я не была Одиссеем на острове Цирцеи, но все-таки попала в мир, совсем необычный и подлинный, без которого потом уже, как и отец, не смогла жить. Я нашла своих проводников.

Остановились
все песочные часы.
Как будто все
Господним временем
забилось.
Стеклись все слезы
реками земли,
и сердце мира
в море превратилось.

Стеклись все слезы,
реки, времена.
Еще минута до начала
потопом
хлынувшего
Суда.
И бьются лодки
у Причала.

Меняясь одеждой и сапогами, выбегая по очереди в университет и в институт, мы знали в начале 70-х, что наше будущее уже совсем рядом и что его, действительно, не замолишь. К соседям приходили и спрашивали о валютном центре в нашей квартире, где якобы продают и наркотики. Пара «влюбленных» всегда стояла на лестничной клетке рядом с мусоропроводом между 2-м и 3-м этажами и целовалась, когда мы выходили. Отец, опасаясь ареста по уголовной статье (валюту и наркотики могли всегда принести с собой проводившие обыск), написал письмо, как мне помнится, в ОВИР с требованием прекратить преследование его семьи и либо восстановить его на работе, либо выпустить из страны. Ответа не последовало, но стали приходить вызовы из Израиля от якобы живущих там родственников. Среди интеллигенции пошли слухи, что Глазов уезжает «или на Запад, или на северо-восток». Медленно, но четко и крайне болезненно вставал вопрос об отъезде.

Марина наотрез отказывалась ехать без меня. Я же была в тот момент влюблена и собиралась стать православной матушкой, неся веру в Россию. Папа почему-то по этому поводу особенной радости не выказывал. Борьба в доме шла не на жизнь, а на смерть, но и я не могла оставить отца и Марину. Сбитая с толку и абсолютно растерянная, я подала документы на отъезд вместе с ними.

После подачи документов в доме наступила хоть какая-то передышка. Продолжали приходить друзья, шли споры, разговоры. Марину все еще держали на работе, несмотря на то что и она подписала письма протеста. Публикации же ее книги и статей по лингвистике были остановлены. Но все же в самой ситуации было какое-то затишье, и нам мечталось, чтобы оно продлилось как можно дольше.

Однажды мы с Мариной на кухне готовили обед и, как всегда, обсуждали вчерашние разговоры с друзьями, шутливо посматривая на вентиляционную решетку под потолком, где, как нас предупреждали друзья, «наверняка вставлен жучок». Был он действительно вставлен или нет, мы так и не узнали, но поговорить любили и высказывали свои мысли открыто. «Джинн выскочил из бутылки!» – упорствовал в те месяцы папа. «Пойду выброшу мусор и посмотрю почту! – сказала Марина. – Вдруг нам пришло разрешение?» Я все еще смеялась ее озорной шутке о небывалом будущем, когда она вошла в дверь квартиры. Марина была того же цвета белого мела, как в ту страшную ночь в больнице во время переливания папе плазмы.

Так пришла повестка – совсем маленькая открытка, где нам предлагалось позвонить в ОВИР по указанному телефону. Мы с Мариной начали обдумывать, как бы это письмо спрятать от папы, оттянув еще на недельку, ну хотя бы даже на день, такое неумолимое событие, но ни одна, ни другая не смогла бы пойти на эту ложь. Нам дали месяц на сборы.

Перебираю карточки с отчаянья.
Прочла у Пушкина: «...отцовские гробы...».
Петушьё восклицанье только тайной
нам предсказует линии судьбы.

...

Нельзя перерешить. Уже ведь брошен камень.
Рассвет уж близок. Всё. И каждая деталь
цепляется за сердце. Так веками
заплаканные очи смотрят вдаль.

В глазах опять – до слез знакомый город.
Но все бегут дорожные столбы.
И надо прыгнуть всей судьбою в омут,
порвав все обращения на ты...

Марина любила повторять строчку Мандельштама: «И вдруг открылась музыка в засаде». 1972 год стал для нас этой засадой. Мы уехали, оставив матерей, друзей, родных, наш город, родные

могилы, но ощущение засады уехало вместе с нами. Уехало с нами и то воображаемое мною вино, разлитое в воздухе – терпкое, горькое, веселое, бросающее иногда в тяжелейший страх, а иногда, наоборот, снимающее начисто все тревоги.

Думая о Марининых стихах, прошедших через мою жизнь, я не могу сказать точно, когда в них открылись тот новый размах и та поэтическая смелость, что превратили мотивы задумчивости и грусти в свидетельство, в пульсирующий голос эпохи. Но, конечно, «в засаде» были написаны стихи и об умершей сестре Томочке, где калитка открыта и все пронизано движением, дождем, сиренью:

...

Под дождем сиреневым
ты стоишь.
Голубей гоняю я
из-под крыш.

Они машут крыльями
и шумят.
И ты с белой лилией.
И наш сад

весь в цвету сиреновом.
Ты стоишь.
Ты ушла от времени
и молчишь.

И твоей улыбкою
сад цветет.
И сняла калитку ты –
всяк войдет.

Я рукой тянусь
к белой лилии.
Если прикоснусь –
то помилуют.

Конечно же, так были рождены и стихи про тюльпаны, о которых нам в Америку написала Наташа Трауберг: «Это зверски пря-

мо, это – прости за наглость – лучше некуда... просто для антологии какой-то»:

...

И бьется, вьется пена паутиной,
цепляясь за песок, спасаясь тиной,
легко смеясь, с волной своей сливаясь,
в прекраснейший из свитков воплощаясь.

На свитке том леса, моря, долины,
холмы, сады, озера, гор вершины,
пруды, ручьи, плоды, моря тюльпанов,
и ветер их колышет неустанно....

Сказала Наташа те же слова и о стихах на смерть Лены Строевой, не выдержавшей эмиграции и покончившей с собой в Париже в 1975 году:

...

На краю-то Рима
помнишь монастырь?
Розы там.
А ты бежала
на пустырь.
Бессребреница! Где ты?
Боже мой!
Ты хотела –
там –
чтоб ворон над тобой...

Весть я слышу всю
с рыданьем и мольбой –
как ходила ты по свету.
Бог с тобой.

Люди, прошедшие через нашу жизнь, знали тайну семьи – голос Марины. Казалось бы, признание обошло ее стороной. Печаталась она в эмигрантских журналах, но мало. В Бостоне в 1974 году со мной заговорил о Марининых стихах Роман Осипович Якобсон.

Разговор и обрадовал меня, и взбудоражил, потому что Роман Осипович попросил проследить, чтобы Марина по поводу ее стихов никого не слушала, что она обязана писать как слышит, а советы со стороны могут только убить ее голос и необычайную свободу ее письма. «Она – русский Стивенс», – повторил он несколько раз, но я тогда не знала поэзию Стивенса и на сравнение постеснялась прореагировать. Я, однако, при этом почувствовала веяние непривычной, пьянящей удачи, когда Роман Осипович молвил, что предисловие к ее сборнику должен писать только он, если Марина на сборник решится. Все это казалось головокружительно неожиданным, это меняло нашу жизнь, отправляло Марину прямо на пир богов Олимпа. И все же слова его отзывались во мне как-то не просто. «В России ее сейчас не признают. Признают только или в конце ее жизни, или после ухода», – сказал он, и почему-то горечь этой мысли перевесила все радостное в разговоре. Мы тосковали по миру, который оставили, и я не верила, что Роман Осипович понимает этот мир лучше, чем я или Марина. Наш друг Алик Есенин-Вольпин любил повторять: «Лучше тоска по родине, чем тоска на родине», но тогда в Бостоне я часто сомневалась в точности этого афоризма.

Дружба с Романом Осиповичем, увы, невольно прервалась как бы по вине папы. Он волновался тогда за судьбу Андрея Дмитриевича Сахарова, собирал подписи в его поддержку, и бостонский академический мир как-то замер, фактически закрылся для нас. Поговаривали, что папа отвергает чистую науку, примешивая к ней политику, а для него все эти шаги были нравственным выбором, частью его внутренней жизни, судьбой. И, как всегда, выбор отца отразился на жизни Марины, которая, будучи почасовым преподавателем на русском отделении в Гарвардском университете, подала туда в аспирантуру. Это открывало для нее совсем новые возможности в том же Гарварде, но в 1975 году семья переехала в Канаду, где отцу предложили место заведующего русским отделением в университете Дальхаузи.

Так ворвалась в нашу жизнь еще одна эмиграция – в город Галифакс, столицу Новой Шотландии, расположенную прямо на берегу

Атлантического океана. И опять горечь, на этот раз включающая соленый запах океана, и опять надежда, и опять новый этап.

ГОРОДУ ГАЛИФАКСУ

Когда-нибудь и от тебя уеду я,
пристанище ты ласковое, нежное.
Я дом ищу и все никак не ведаю,
что в небе дом. Все остаюсь невеждою.

Твой лес на берегу в зеленом свете
еще раз подтверждает, что на свете
есть чудеса. Там нитями трава
переплетает волн морских слова.

Плетет в тиши чудесный свой ковер –
рисунком воплощенный разговор,
выводит терпеливо карту рая,
для птиц земных деревья выбирая...

Так и получилось, что у Марины образовался с годами только узкий круг читателей, хотя сила ее поэзии была налицо. Все это перебудоражил Веничка Ерофеев, признавший Марину сразу, как только она приехала благодаря перестройке в Москву в 1988 году. Анатолий Лейкин, которого Марина встретила в доме у Венички и который вскоре стал одним из наших ближайших друзей, напечатал небольшой сборник ее стихов в 1991 году. Поговаривали мы тогда и о новом Маринином сборнике, и о книгах отца, размышляли о будущем. Все вновь казалось возможным.

Папа умер в 1998 году, уже не веря в быстрые российские перемены. Он повторял людям вокруг, что без своего Нюрнбергского процесса ситуация в России к лучшему не поменяется. Умер он внезапно, не успев встретить старость, а Марина, воспитавшая всю нашу семью, стала внимательно и кропотливо заниматься архивом отца, подготовив и отдав в печать две его книги. И, несмотря на признание со стороны ряда ведущих западных славистов

(Джорж Клайн, Роман Якобсон, Кристина Поморская, Роберт Белкнап, Виктор Террас, Доналд Фангер, Кирилл Тарановский, Даниэль Лафферьер, Вера Данам, Томас Виннер, Лоран Лейтон, Дэвид Томсон, Глеб Жекулин), несмотря на получение первого поэтического приза в Новой Шотландии в 1980 году, Марина все же писала без рецензий и без широкого круга читателей. Я переехала в Америку в 2001-м, нас опять разбросало по миру. Марина осталась в Галифаксе одна, и как любили ее в детстве соседи по квартире на Остоженке, в Зачатьевском переулке, так любили и любят канадские соседи. Приезжают друзья, приезжаю я и братья, Марина гостит у нас, но одиночество, когда-то мучившее отца, настигло теперь и ее.

Годы исчезли. И сам человек на глазах исчезает.
Хлеб усыхает. Довеском ненужным становится, черствым.
Думает так про себя человек, а реально – на деле –
хлебом насущным становится он дорогим, сладкозвучным.

Дом исчезает. Темно. Ни тропы, ни дороги не видно.
Смотрит вокруг человек и толкует один со звездой.
И шелестят на ветру виноградные строчки и буквы.
Их повторяют, шепча, дорогие бессмертные губы.

С годами меняются очертания судьбы, даже если внешне каждый день наполнен тишиной. Становится все яснее, что эмиграция для поэта да и вообще для любой творческой личности, для любого думающего человека – это не надрез, а надрыв. Или, еще точнее, – ткань, грубо разорванная пополам, с кусками жизни по обе стороны разлуки. Куски продолжают кровоточить, не заживают, с ними то и дело происходят недоразумения. Но иногда они становятся той живой и мертвой водой, за которыми волк в сказке про Ивана Царевича посылал ворона и вороненка. Для Марины письма друзей – это не то, что скрашивает одиночество, а исцеляющие родники жизни, путеводители по «сумрачному лесу», где торжествуют косность, несправедливость, ухмыляющаяся наглость и жестокость, не знающие раскаяния.

Так перед отъездом лихорадило нас от неизвестности и боли, но в самые горькие минуты мы иногда пробивались к чуду. Так октябрьским вечером 1968 года в московской академической больнице, куда папу, как он говорил, перевезли умирать, у нас обеих от волнения слиплись пересохшие губы, и даже переговариваться нам в тот момент стало трудно. Однако и в ту ночь мы все же были не одни. Папа писал об этом:

Я зарос бородой: мне не разрешают вставать с постели, куда уж там бриться. Мне нужна плазма. Но моя докторша наотрез отказывается делать переливание: говорит, что я слишком слаб и не выдержу этого. Боится ответственности. Но к моему лечению деятельно подключаются несколько человек. Елена Сергеевна Семека отдает этому значительную часть своего времени.

Заботится обо мне и Кома, как в дружеском кругу зовут Вячеслава Всеволодовича Иванова. Этот человек слишком много сделал для меня и моей семьи, чтобы называть его официально, по имени-отчеству. Он просит Анну Марковну Маршак наладить правильное лечение. Это удивительная женщина и опытный врач. Она грозит моей докторше, что привлечет её к судебной ответственности, если та немедленно не приступит к вливанию мне плазмы. Теперь нужно найти плазму (которая, как позже выяснилось, была – только лечить меня почему-то не хотели). Миша Занд и Валя Турчин, не жалея времени, ездят в Институт переливания крови, чтобы там подготовили правильный состав плазмы. Теперь я вижу вокруг множество людей, заботящихся обо мне, о моей семье. Значит, я ещё кому-то нужен. <...>

В конце октября мне влили плазму. Каплю за каплей. В вечерний час, в присутствии Марины и Леночки. Моя докторша была ужасно напряжена. Мои друзья – их было много – столпились в коридоре, у дверей палаты. Я чувствовал их присутствие. Среди них были самые близкие. Среди них был Изя Фильштинский, мой лучший друг, постоянный советчик, теперь уже «беспартийный, рядовой». Я помолился про себя. Уже от первых капель плазмы я начал чувствовать себя лучше. Моя девочка готова была прыгать от радости. Марина сияла. За несколько часов до этого она написала стихотворение, которое стало для меня святыней: «Когда часы окутываются разговорами...». Мои друзья ликовали. Плазму в последующие недели вливали ещё несколько раз. («В краю отцов», М.: Истина и Жизнь, 1998, с. 159–160).

Сборник Марининых стихов должен, так мне думается, включить в себя эти ориентиры нашей судьбы, отраженные в словах отца, равно как и в словах наших друзей – читателей, идущих с нами по жизни. Пусть ее стихи, «окутанные разговорами», расскажут еще и о дружбе, то есть о том, как смятение превращается в неожиданную радость, умеющую развеять скорбь.

Однако, просматривая письма друзей и отрывки из рукописей, я столкнулась с необходимостью очень жесткого и трудного для меня отбора. В конце концов я выбрала только малую горстку писем из огромного архива – строчки, посланные через океан, наиболее точно перекликающие со стихами. Отрывки из рукописей папы, опубликованных и неопубликованных, были отобраны по тому же принципу – осветить поле нашего сражения, основные этапы жизни семьи по обе стороны океана. Так Марина жила и живет, так слышит, так горюет и радуется. И постепенно одиночество становится отшельничеством, где созревают целебные слова, выявляется музыкальная подоснова речи, крепнет дух. Когда слова эти дополняются письмами и воспоминаниями, это не меняет пронзительной силы сказанного.

Много-много лет назад папа привез меня в Сокольники – познакомить с «тетей Мариной». Я думаю, Марине шел двадцать второй год, а мне было шесть. Мы пошли в парк, и Марина начала учить меня плести венки. Были это желтые одуванчики или ромашки, я не помню. Я помню огромный зеленый луг, и я, счастливая, почему-то в синих бантах, сижу рядом с чародейкой – у нее удивительно красивые руки. Она плетет венки, и цветы не вянут. Мне кажется, что луг качается и становится синим солоноватым морем, а мне сладко и боязно, и папа мой счастлив – я это вижу. И мы вместе уже на всю жизнь, даже тогда, когда будем жить в разных странах, в разных мирах.

На зеленой траве, на зеленой,
в тех местах, где стригут газоны,
еще мокрой от слез траве
как болею по синеве
тех небес....

На зеленой траве, на газоне
не сплести венка амазонке.

Тогда, девочкой, я знала, что моя жизнь началась. Предугадать, что пройдет она рядом с ними, рядом с их речью, с их совестливостью, с их видением мира я, конечно, еще не могла. А теперь понимаю, что меня тогда взял в свой мир поэт. Я этому поэту поверила, и дарам, полученным из ее рук, нет счета.

Анатолий Лейкин

К НОВОМУ СБОРНИКУ СТИХОВ
МАРИНЫ ГЛАЗОВОЙ*

– Мин херц Издатель, – прерывисто гудел в телефонной трубке голос Венедикта Ерофеева, вернее, до боли знакомое трение его голосовых связок, усиленное специальным микрофончиком, присланным друзьями из Парижа после его тяжелейшей операции на горле, – у меня два чуда...

– Какие же, дорогой автор?

– Первое: заветная тетрадочка «Петушков», – тут Веня сделал артистическую паузу, приветствуя победоносное окончание полугодовой и, как нам уже всем казалось, безнадежной эпопеи, и произнес по слогам в обычном своем шутейном, но в то же время несколько святотатственном тоне, учитывая время того памятного разговора во дни Пасхальной недели 1988 года. – ... ВО-СКРЕ-СЕ!..

– Воистину воскресе! – откликнулся и я в тон ему и чуть ли не пропел: – Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

– И отыскал ее-таки, – продолжал Венедикт, воспринимая мою аллилуйю как должное, – в своих завалах небезызвестный тебе автор предисловия и мой любимый конфиденс Володя Муравьев...

– И много поправок? – нетерпеливо перебил я.

– Две дюжины. Но чертовых. Замучились вносить их в верстку. Зато теперь текст обрел необходимую каноничность, и ты можешь,

* Предисловие пришло вместе с кратким письмом Толи Лейкина: «Дорогая Леночка! По обычаю, я долго запрягал – обещал, но быстро поехал, когда времени уже почти не осталось. Вот тебе текст, как говорится, с пылу, с жару. Он весь в твоём распоряжении: можешь как угодно сокращать и править. Даже ежели не пригодится, нисколько не обижусь».

как говорится, с чистой совестью и немедленно выпускать пресловутых Петушков на волю...

– НЕ-МЕД-ЛЕН-НО, – теперь уже я торжественно и по слогам повторил засевшее в памяти еще при первом чтении «Петушков» слово, но не успел произнести приземленное «ТИС-НЕМ»...

– Но прежде мы «немедленно выпьем», – напомнил точные слова из «Петушков» Веня. – За второе чудо!

– Неужто и «Дмитрий Шостакович» нашелся?

– Нет, тот роман утерян безвозвратно. Как ты знаешь, я его сам посеял в электричке. И, верно, попал он в руки бомжей, далеких от литературы.

– Так в чем же чудо?

– Ни в чем, а в ком. В МА-РИ-НЕ!.. – опять по слогам проскандировал собеседник.

Я уже знал, что Ерофеев обожает поэзию Цветаевой...

– Верно, что-то еще не изданное?..

– Уже тепло, но дальше, чую, похолодает. Да, она тоже Марина. Но не Цветаева, а Глазова. И в России ее еще совсем не издавали. А зря. Стихи того заслуживают. Я, пожалуй, включу ее в свою рукописную антологию. А за некоторые строчки налил бы ей полный стакан.

Такой высокой оценки – 250 граммов из 250 возможных – до толе заслужили у Вени только две поэтессы: Цветаева и Белла Ахмадулина.

В тот же вечер я был у Ерофеевых, Галины и Венедикта, в высотном доме на Флотской улице. Гостя из Канады и недавняя эмигрантка из России, светлоокая и светлокудрая Марина Глазова читала много: поэму «Хромоножка», стихи о любви, посвящения друзьям-диссидентам... Галина во время чтения одобритительно кивала головой, Веня то и дело поощрял поэта короткими репликами, честно говоря, по прошествии почти четверти века уже и не упомню, какими. Но один жест навсегда врезался в память: два поднятых вверх больших пальца по окончании одного из последних прочитанных стихотворений.

Вот оно:

Кони Пелеева сына вдали от пылающей битвы плакали, стоя...

Гомер

И море, и Гомер – все движется любовью.

О. Мандельштам

И время, и душа – все сделано из света.
Пространство. Книга. Стол. Улыбка. Торжество
при встрече двух людей. Досказанность ответа.
Безмерность. Радость узнавания. Колдовство

великой тайны. Легкий снег. Необъяснимость.
И краски, кисть и холст – где не хватает слов.
Наития момент, его неповторимость.
Преодоление разлуки силой снов.

Бессонница. Гомер. Последняя страница.
Закрыта книга. Тихо. Только плач коней
еще улавливает слух. И на границе
волнение не имеющих смерти журавлей.

Цитирую уже по книге Марины Глазовой «РАЗДЕЛЕНИЕ ОКЕАНОМ», вышедшей в том же издательстве «ТОЗа», что и первая книга Венедикта Ерофеева в России «Москва – Петушки» с рисунками Ильи Кабакова. Разница между ними по времени оказалась в год.

Свою книгу Веня успел подержать в руках и порадоваться ей. Маринину – уже нет. И даже несколько фраз на обложку, как хотел, не успел написать: тяжело болел. За него это сделали всемирно известные богословский философ Сергей Аверинцев и протоиерей Александр Мень. Последний входил в число авторов «ТОЗы».

А я как издатель только свидетельствую о первой рекомендации, которую Марине Глазовой дал незабвенный Венедикт Ерофеев и без которого, возможно, и не было бы того первого поэтического сборника Марины в России. И рекомендовал он ее очень серьезно, от всей души и чистого сердца, а совсем не потому, что ее звали так же, как Цветаеву.

*А. Л., бывший главный редактор «ТОЗы»,
а затем издательства «Весы»*

Книга первая
Москва (1965–1972)

Когда часы окутываются
разговорами

I. СЛОВО СКОРБИ (1965–1967)

* * *

Бабушке

Долго, долго было тихо.
Вдруг – завыла.
Уронила
силу воли
прям на сердце!

Долго, долго было тихо.
Закричала.
Отвязала
нерв за нервом.
Не умела
завязать морским узлом.

Долго, долго было тихо.
Вдруг – завыла.
Упустила
в ночь холодную
тебя.

* * *

Уходишь в никуда.
Уплыли в облака
и голос, и запах,
и память, и слух,

и радость, и милость,
и ласковость рук.

Лежат они – руки,
проси – не проси.
Застыли от муки,
люби – не люби.

Не плачут, не прячут,
сирени не рвут,
не стонут, не тонут
в любви,
не поют.

* * *

Ну что ж, –
так она и умерла.
Посмотрела пристально мне в глаза,
а когда я нагнулась к ней
и прижалась лицом,
услышала тихое:
– Прощай...
...Прощай... детонька...
Это и было концом.

Я тихо встала рядом,
не проронив ни слезы.
«Какая черствая!» –
подивились они.

А когда внутри у меня
похолодело все
и сердце оторвалось,
я тихо вышла
и пошла
вдоль тех самых берез,
что заплакали за меня.

* * *

Я не могу!
Я больше не могу
смотреть тебя -
в волнах, в слезах!
Ловить –
и не поймать!
И быть отброшенной -
волной – к тому же камню на песке –
и снова видеть вдалеке
тебя –
холодную в волнах –
я больше
не могу.

* * *

Это не волна.
Это она волнуется,
холодная уже, и прощаться
никак не хочет.

Бьется, плачет, рвется к берегу.
Хочет
успеть согреть меня.
И не хочет,
никак не хочет
холодной стать.

А другие вокруг играют.
Утопить ее стараются.
Они теплые, они темные,
застудили ее, затопили,
в ту мечту ее не пустили.

Бьются, плачут, рвутся к берегу.
Укрываются в ту мечту ее,
что текла слезой по лицу ее,
что росла травой по холму ее,
что звала ее до ее звезды,
увела ее до ее земли.

МОЛИТВА

Господи!
Дай же сил
вынести эту минуту!
И потом
много минут,
часов, дней и секунд
вынести это прощанье!
Вечное расставанье
с первой минуты жизни,
с первой минутой жизни...

Как же мы будем прощаться
на годы, на жизнь, навеки?
Как
будем смотреть в глаза друг другу
и знать,
что сейчас – навсегда расстанемся
и больше
уже никогда не свидимся?

Господи!
Дай же сил
не слышать этого марша,
которым с таким безразличием
тебя провожают они!

Сейчас тебя понесут.
Закроют крышкой.
Забьют.
Опустят в яму с водой.
Засыплут серой землей...

* * *

Она умерла и осталась со мной.
Я слышу ее во вселенной глухой.
Она в меня смотрит – в мою глубину.
Она меня видит – мою пустоту.
Она меня слышит – мою немоту.

Не слышит она, как я ей кричу,
умершая в час ее смерти, когда
она умерла и осталась во мне,
в моей глубине, в моей пустоте,
в моей немоте души, которая хочет
лететь с ней – в ее струящейся доброте,
быть с ней – затравленной на ее кресте –
да в ее земле – преемницей –
говорить с травой.

Не хочу там быть – я кричу ее!
Не хочу там лететь – ворочу ее!
Вот! Она идет! Возвращается!
Улыбается!

Меня бьет вода.
Меня бьет песок.
Меня ветер бьет.
Он к земле меня гнет.

Она воротилась.
Стоит вся в свету –

на том берегу –
улыбается.

* * *

Давно
знаем и мы,
что падают листья.
Уносит их ветер.
Что падаем мы
и не вечно на свете
на этом живем.
Что все мы умрем.
Что всех унесет,
как эти листья,
холодный ветер.

Не сниму с головы
черный платок.
Они унесли
дыханье ее.

* * *

Алику Меню

Ты рассказывал,
как с детства ты любил
быть на кладбище,
и как трепетно ходил
среди могил,
и как понял*.

А я страшусь,
и ноги у меня подкашиваются.
Я понимаю – жизнь из года в год

* О. Александр Мень: «Жизнь заканчивается не смертью, а воскресением».

так незаметно снашивается.
А может, прям внезапно!
Хоть сегодня!
Держи светильник!
Вдруг –
с тебя уже довольно?

Но мне –
страшней во много
смотреть
на человека дорогого –
у порога –
туда.

СКАЗКА

И к нему
Она уже нагнулась
и улыбнулась
своей тонкой, печальной улыбкой.

– Здравствуй, князь мой прекрасный!
В этот вечер ненастный
я тебя уведу с собой.
Только со мной
обретешь ты покой неземной.
Брось сестру мою – Жизнь-лицемерку!
Не страшись!
Посмотри на меня!
Красота моя не померкла.
Я прекрасна.
Все – клевета.
Если только меня поцелуешь,
не целованную никогда,
подарю тебе царство!

– Прости меня,
но мне не нужно,
не нужно царствие! Прости!
Возьми меня, коль тебе нужно!
Но если можно, отпусти!
Оставь меня с твоей сестрою –
с моею болью – пусть земною!
И смилуйся! И отойди!
Не понимаю!
Я не хочу тебя любить!
Прости! Я знаю –
я не запретный плод!
И я – умру. Но –
не сейчас, а позже!
Умоляю!
Тех обними, кто тихо умирает
и уж не встанет завтра поутру!
Возьми меня в тот день, когда пойму
и, повинувшись слову сестры твоей,
пойду с тобою.

Из воспоминаний Юрия Глазова

В КРАЮ ОТЦОВ*

Новая жизнь

Начало нашей новой жизни самым тесным образом связано с селом Богородским, московской окраиной, и маленькой комнаткой, выходящей в сад, где жила бабушка Марины. С той поры почти каждый прожитый день был прочувствован и осмыслен вдвоем. Я женился на Марине достаточно взрослым человеком, когда уже начинал сомневаться, что моя личная жизнь может наладиться. А случилось так, что с трудностями и часто не без боли я вошел в чудесную жизнь вдвоем, и все, что происходило после, переживалось вместе и делилось пополам.

Наша жизнь с Мариной началась с трудностей: у нас не было жилья. Но все как-то удивительно обошлось и выправилось, будто бы и вправду нам помогали свыше. Наш первый мальчик, Гришенька, родился к концу второго года нашей женитьбы, когда мы готовились переехать в собственную кооперативную квартиру, которая обошлась нам недешево. Но и деньги в конечном счете нашлись, и в первый раз в жизни мы могли укрыться в своих стенах. Закончив университет, Марина получила в нем прекрасную работу – преподавателя вьетнамского языка. И мне несколько раз повезло с хорошо оплачиваемой работой, когда я был приглашен переводчиком к приезжавшим в Советский Союз буддийским монахам. В двух издательствах пошел мой перевод «Тирукурала», и еще до рождения нашего первенца я успел наконец защитить кандидатскую диссертацию по морфологии классического тамильского языка. Конечно,

* Глазов, Ю. Я. В краю отцов. М.: Истина и Жизнь, 1998. Позднее, в письмах друзей, Юрий Глазов иногда фигурирует как Ю. Я. (Юрий Яковлевич) или Иеремия/Еремия (названный в шутку Наумом Коржавиным за пророческую страстность).

жизнь была довольно напряженной. Приходилось много работать и ездить по стране, но это были поистине удивительные годы нашей жизни. Я впервые узнал, что значит счастливая супружеская жизнь. Мы были заняты полноценной научной и творческой работой. Нас окружали очень хорошие люди, которые любили нас, и мы отвечали им тем же. К тому же в это время в стране происходили важные перемены, которым мы придавали большое значение.

Работая с буддийскими монахами из Непала, Шри Ланки и Бирмы, я разъезжал по всей стране, переводил их речи, посещал храмы-дацаны на границе с Монголией и Китаем. Я знакомился с жизнью страны, побывал на Украине и в Прибалтике, в Средней Азии и Закавказье. В душе своей я никогда не переставал быть христианином, но порой находил, что высокие истины можно было обнаружить не только в православии и протестантизме, но и в буддизме. Основатель этого учения Будда Шакьямуни всегда оставался для меня одним из наиболее благородных патриархов человеческого рода. С буддийскими монахами у меня установились трогательные и искренние отношения. Вопреки моим опасениям, мне не приходилось кривить душой. Эти люди с чистым сердцем полюбили меня и Марину и трогательно благословили нашу женитьбу. Конечно, я понимал, что те же самые органы, которые за год-два до этого серьезно интересовались моим образом мыслей, внимательно присматривали за тем, как я выполнял «ответственную работу». Будучи беспартийным и, казалось бы, незащищенным, я должен был чувствовать себя и очень уязвимым; но, выступая в качестве переводчика перед тысячными толпами, я испытывал почти вдохновение, переводя слова вечной мудрости, и мне часто казалось, будто я находился под надежным зонтом или даже щитом. Один из сотрудников Улан-Удинского научного центра, член партии и в то же время, как мне казалось, тайный поклонник буддизма, сказал мне после одного из выступлений: «Если бы я вел себя так, как вы, то я бы уже пропал!» Удивительно, что мое христианское мирозерцание укрепилось благодаря общению с монахами-буддистами.

Это было поистине неповторимое по внутренней насыщенности время. Время надежд, когда в печати появлялись произведе-

ния в прозе и стихах, о которых наконец можно было говорить открыто. Время упорной борьбы против сталинистов, засевших в науке, литературе и искусстве. Время, когда внутри общества выкристаллизовывались разные слои и группы, когда «порядочные» люди старались отдалиться от «непорядочных». В этот период сам Хрущев возглавлял невиданную по своему размаху и напряжению борьбу против наследников Сталина, но и против него самого спланивались его же прихлебатели и подхалимы, которые публично провозглашали ему здравицы и курили фимиам.

Именно тогда мы с Мариной вошли в круг поистине замечательных людей, оказавших, на мой взгляд, значительное воздействие на общественную мысль страны. Почти все они, во всяком случае, мужчины, отведали прелесть сталинских лагерей и тюрем. Эти люди жили духовными ценностями, были преданы литературе и науке и занимались ими профессионально. Их трудно было чем-нибудь напугать. Стреляные воробьи, они пронесли доброту и любовь к жизни через годы испытаний и отверженности.

Центром нашего круга был, несомненно, Леонид Ефимович Пинский. Его называли «мэтром». Широко известный литературовед, специалист по культуре Возрождения, несравненный лектор и любимец бесчисленных своих учеников, Пинский жил высокими идеалами. Несколько лет лагеря его не изменили; своему прежнему приятелю Эльсбергу, посадившему его, он был даже благодарен за жизненный урок и делал все от него зависящее, чтобы продвинуть общество вперед хотя бы на йоту, на пядь, на локоток. Снисходительно относясь к тем, кто носил «хлебную книжку» в кармане, он оставался верен идеям социализма и, насколько я понимаю, скептически относился к религии почти до последних лет своей жизни. У него был тонкий, безошибочный литературный вкус. Через него приходили к нам новинки литературы. Он был заядлый спорщик и остроумнейший собеседник. От него в самом начале шестидесятых годов услышал я имя Юза Алешковского, впоследствии нашего близкого друга, и нужно было видеть ироническую усмешку на лице разгоряченного застольным разговором Леонида Ефимовича, когда он цитировал еще никому неведомые стихи поэта: «Все люди – братья. Я обниму

китайца. Привет Мао Цзэдуну передам. Он желтые свои пришлет мне яйца. Я красные ему в подарок дам».

Другим замечательным членом нашего дружеского круга был Григорий Соломонович Померанц. Как и Пинский, небольшого роста, с густой курчавой шевелюрой, в очках, с изрезанным морщинами и словно бы вопрошающим лицом, с необыкновенной способностью очень быстро и складно говорить, Гриша не мог не произвести впечатления на собеседника с первых же минут разговора. Он был старше меня лет на десять, и биография его с еще довоенным интеллектуальным созреванием, с четырьмя годами фронта, с выходом из партии после войны и «приземлением» в лагере вплоть до смерти Сталина достойна, конечно, целой книги. Он был любимым и, вероятно, наиболее талантливым учеником Пинского, с которым судьба вновь свела его в лагере. Померанца выпустили из лагеря вскоре после смерти Сталина – одним из первых, и урки, удивляясь такому жесту советской власти, говорили по этому поводу: «Какого фашиста выпускают, а!» Гриша все знал, всем интересовался. Он работал безостановочно, как мотор.

Худенький, вечно недоедающий, он непрерывно читал, обожал поэзию и музыку, ценил в людях ум, красноречие и ученость, одним из первых в Москве распевал за столом песню Галича о «товарищ Парамоновой». В конце пятидесятых годов он похоронил любимую жену Иру Муравьеву. Второй его женой стала Зина Миркина, женщина не менее замечательная, но совершенно в другом роде. С Померанцами мы оказались соседями по Ленинскому проспекту и вскоре тесно сошлись.

С начала шестидесятых годов Гриша пребывал под сильным влиянием дзэн-буддизма, и мир абсурдного его бесконечно привлекал. Другьям он предлагал задачки в таком роде: «В бутылку с очень узким горлышком посадили крохотного гусенка, который вырос и превратился в большого гуся. Как можно извлечь его из стеклянной бутылки, не разбив бутылку и не поранив гуся?» Меня он за что-то ценил, Марину любил, а Зину свою – обожал. В минуту откровенности и любви говорил в присутствии друзей, что к женщине надо относиться, как к причастию.

Зинаида Александровна Миркина, поэт и переводчик, – одна из самых милых и добрых женщин, которых я встретил в жизни. Поразительно, что за многие годы нашего общения и очень откровенных разговоров я едва ли вспомню случай, когда она нас хоть чем-нибудь обидела. <...>

В этот же круг входили Борис Исаакович Цукерман и его жена Шура, глубоко верующая православная женщина. Подружился я и с Виталием Рубиным, симпатичным и культурным человеком, с его женой Инной и сестрой Марусей. Вскоре мы узнали Ирочку Емельянову, только что вышедшую из лагеря после долгих месяцев заключения в связи с «делом» Пастернака, и ее мужа Вадима Козового, с которым я особенно близко сошелся одно время.

Воздух, которым эти люди дышали, был пропитан духом и идеями, близкими к христианству. Я вспоминаю это время более чем тридцатилетней давности едва ли не со слезами на глазах. Милые, бесконечно милые люди, с которыми будут временами осложнения, размолвки, ссоры и споры, но у которых культура и порядочность вошли в плоть и кровь. Не случайно все члены этого круга оказались вовлечены в движение протеста против угрозы возрождающегося сталинизма в стране. <...>

Именно в то время в нашу жизнь на долгие годы вошел человек, исключительно близкий нам душевно и духовно, – православный священник отец Александр Мень, о котором мы и прежде много слышали от наших друзей. Дружба с отцом Александром стала для меня событием огромной важности. Вероятно, не было в жизни другого человека, которому бы я так открывал свою душу и рассказывал о всех подробностях своего прошлого и настоящего. Со временем я стал часто бывать в его доме, нередко оставался на ночь. В облике этого священника было что-то от библейского пророка. Густая, волнистая черная шевелюра. Большая окладистая борода. Красивое лицо и умные, улыбающиеся, исключительно добрые глаза. <...>

Отец Александр полюбил нас обоих, но особенно привязался к Марине. Да и кто не любил Марину <...> При виде ее невинного лица, живых голубых глаз, мягких русых волос у меня неизменно улучшалось настроение. <...> Мрачноватый на вид, но в сущности

добрейший Борис Исаакович Цукерман, когда его приглашали к Асе, вежливо осведомлялся: «А Мариночка будет?» Виталий Рубин каждый раз при встрече изловчался поцеловаться с Мариной, не нарушая, однако, этикета. Мудрый и по-своему лукавый Леонид Ефимович почти сразу же полюбил Марину, оживлялся в ее присутствии и часто говорил, что Марина, его друг, умна, потому что смеется в нужных местах. Иные наши знакомые могли сомневаться во мне, но Марина сразу же завоевывала их доверие, и благодаря ей они с большим доверием относились ко мне.

Отец Александр любил меня независимо от Марины, но благодаря ей, кажется, любил еще больше. Каждый его приезд был для нас громадной радостью. Начинались живые разговоры, шутки. Обменивались новостями – ведь он знал пол-Москвы. Садились за наш столик на кухне, обсуждали политические события и дела семейные. На столе неизменно оказывалась бутылочка вина, а то и «Московской» или «Столичной». Он быстро привязался к нашему старшему сыну Гришеньке, полюбил и Леночку, которая стала приезжать к нам все чаще и чаще, а когда появился на свет и чуть подрос наш младший сын Яшенька, сумел и его расположить к себе. Нет, не догадывались мы в то время, как бесконечно счастливы мы были в нашей крохотной двухкомнатной московской квартирке на Ленинском проспекте, и только время все расставило на свои места. И моменты полного счастья теперь для нас неразрывно связаны с отцом Александром, с его молитвами, с его приятием жизни, с его драгоценным благословением!

Меня трогало и «образовывало» его удивительно снисходительное отношение к людям. Если кто-то в разговоре намекал, что у общего знакомого явно не в порядке в голове, да еще покручивал пальцем около виска, отец Александр, не переставая улыбаться и не теряя темы, замечал: «А кто не псих? А вы – не псих? А я?» Не было ничего на свете, чего нельзя было бы обсуждать с ним, и после разговора наступало настоящее облегчение. Этому православному священнику я обязан своими нынешними взглядами на христианство, еврейство, православие и католичество – этим жизненно важным и коренным проблемам своего духовного существования. Значит, можно войти в христианство и остаться

евреем. Значит, нет сугубого различия между православием и католичеством. Отец Александр любил повторять, что перегородки между православием и католичеством не достигают неба...

Среди самых дорогих наших друзей скоро оказалась Натали Трауберг. <...>

Натали была просто прелестна. Глаза красивые, быстрые, умные. Лицо – женственное, завораживающее. Фигура стройная, как у девочки. Одета она была всегда предельно просто, но изящно. Я любил ее руки, любил в ней все, и прежде всего – ее католичество. Натали была первой католичкой, вошедшей в нашу жизнь. К христианству она приобщилась с детства – благодаря няне, исповедовавшей православие. Фома Аквинский и Владимир Соловьев не сходили с ее уст. Ахматова и Пастернак, Гумилев и Мандельштам были ее второй религией, но никак не первой. Многих поэтов она знала лично, часто появлялась в кругу Ахматовой. Пастернак одно время проявлял к ней внимание. Про некоторых современных писателей-«классиков» она говорила явно неодобрительно: видела их в жизни и знала им цену.

Переводчик Сима Маркиш в то время был нашим кумиром. Его отца расстрелял Сталин, и Сима, возвратившись из ссылки в Казахстане, занялся переводами с латинского и греческого. Он получил известность как переводчик Плутарха. Вскоре после возвращения Симы из ссылки Натали ответила взаимностью на его чувства. Однако сионистски настроенный Сима не понимал христианства и не принимал его. То, что Симе казалось пустяком, для Натали было жизненной трагедией. В какой-то момент ей стало ясно, что роман с Симой ни к чему, кроме катастрофы, привести не может. В отчаянии она метнулась в католическую Литву и через некоторое время вышла замуж за совсем юного литовца Виргилиуса Чепайтиса.

Познакомились мы с Натали в доме Гриши Померанца, но по-настоящему подружился в Литве, на косе Неринга, куда после рождения Гришеньки начали приезжать каждое лето. <...>

<...> Однако атмосфера вскоре после устранения Никиты Хрущева стала накаленной. Арест А. Синявского и Ю. Даниэля в сентябре 1965 года переполнил чашу терпения. Вечером 5 декабря 1965 года я принял участие в демонстрации на Пушкинской площади в

Москве. Демонстрация эта стала важнейшей вехой в нашем движении и оставила во мне неизгладимое впечатление. Несколько человек в этот вечер задержали, но тут же отпустили. Тот факт, что многие из нас живыми и невредимыми вернулись тогда домой, представлялся мне чудом. Возбуждение этих дней было непередаваемым. В последующие недели я прочитал рукопись «Воспоминаний» Надежды Яковлевны Мандельштам. Воздействие этой книги было настолько глубоким, что я окончательно понял: если произойдет столкновение с властями, пытающимися восстановить «доброе имя» Сталина, я не останусь в стороне. Едва ли не каждый день утверждал меня в мысли, что молчание равнозначно преступлению против совести и души. Дни были наполнены ожиданиями, предчувствиями, страхами. И все-таки это была полная, красивая, осмысленная жизнь.

Из воспоминаний Натальи Трауберг

САМА ЖИЗНЬ*

Пярвалка

Незадолго до отъезда домой, в одну из московских побывок, я познакомилась у Григория Соломоновича Померанца с молодой женщиной, похожей не то на эскимоску, не то на голландку какой-то северной уютностью. Г. С. уже говорил мне об этой семье – Глазовы, Юра и Марина. Был там и маленький сын Гриша.

Сразу выношу за скобки слова «мне очень понравились». Повторять их пришлось бы очень часто, и они слабы. Тогда, в те годы, складывались связи, которые можно сравнить только с близким родством. Мы и спорили потом (не «ссорились»), и друг другу иногда не нравились, но значения это не имело и не имеет.

Летом того же года Глазовы приехали в Литву, но мы прожили там, в Пярвалке, довольно мало, никак не все лето. Следующий год и мы, и они пропустили (у нас папа ездил в Польшу, у них –

* Трауберг, Н. Сама жизнь. М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2008.

не знаю что), и постоянная пярвалкская жизнь началась в 1965-м, когда время явственно изменилось.

Самое лето было просто дивным. Мы везли кроме детей юную Наташу Бруни. Приехал Кястас Янулайтис с будущей женой. Была Нина Каретникова; были недавно поженившиеся Галя Корнилова и Сережа Ларин с Галиной дочкой Катей. Дети располагались так: Наташа (пятнадцать), Катя (восемь), Томас (мой сын, шесть), Мария (моя дочь, четыре) и Гриша Глазов (два с половиной). Несмотря на такие зазоры, они очень дружили; на следующий год, кстати, зазоры в какой-то мере заполнила Юрина дочь от первого брака (тринадцать) и еще одна Катя, Горбовская, а цепочка удлинилась – 19 августа 1966-го родился младший Глазов, Яша.

А теперь нечто вроде картинок.

Вот какой-то праздник в конце июля, может быть – годовщина нашей свадьбы, промыслительно оказавшаяся и днем католической Наталии. Я захожу к Глазовым, Юра только что оделся к балу, и вдруг в трансформатор ударяет молния, из штепселя летит искра и прожигает белую рубашку. Несмотря на это, мы переживаем кратчайшую грозу, идем к нам, в избу Савукинасов, и Юра с Мариной за столом поют песни Галича. Особенно помню «Парамонову».

А вот мы начинаем лекции по истории католичества. Сперва сидим под деревом, потом перебираемся к Глазовым, и они каждый раз меня кормят, повторяя, что пастуха надо кормить. Получается то лучше, то хуже, потому что именно в том году у меня началась язва, и тяжелая, а едим в основном утрей.

С утрями – много картинок, самая обычная: Глазов в яме, где он их коптит. Голый до пояса, бронзовый, очень похожий на Пастернака, только тот в молодости не был таким плакатно красивым. Эти райские сцены уравниваются страданиями, когда Юра расспрашивает местных жителей, как они относятся к оккупации. Большей частью те шарахаются, а Кястас с моим мужем потом заверяют их, что этот русский – наивный человек, а не стукач.

1966-й год идет примерно так же, только с Леной Глазовой, дочкой Юры, которую провозглашают принцессой Лесландии, т. е. леса у деревни. Марина с пузом непрерывно ест петрушку. Лекции чита-

ем, утрей едим, а если я совсем не могу, мы с женой Кястаса варим на кирпичах овсяную кашку. Тут четко помню сцену: сидим на корточках, варим. Неподалеку бродит Томас Венцлова, собирающийся с Юрой и со мной ехать на симпозиум в Кяарику. Юра стоит над нами и пламенно доказывает, что семиотики – соль земли. За год до этого солью земли были, кажется, буддисты (не ручаюсь). Мы соглашаемся с ним, но не полностью. Слово за слово, и я плачу, слезы капают в овсянку. Плачу я зря, Юрина пылкость похожа на агрессивность только с виду. Добрый он настолько, что, неся по деревне с трудом добытые свежие яйца, неожиданно отдает их мне.

Наконец мы едем на симпозиум. Юра везет доклад о чем-то индийском; однако, выйдя к столу и доске, начинает рассказывать о моделях семьи в разные советские периоды и говорит такое, что после доклада все испуганно молчат. Среди участников – Роман Якобсон, с ним какие-то приставленные лица, народу вообще много, отвечает за все Юрий Михайлович Лотман. В общем, ситуация. Юра сидит за столом в ярко-белой рубашке, обхватив руками голову. Томас жалобно смотрит на него, я – взываю к небесам, народ чуть не плачет. После этого многие спрашивают нас с Томасом, провокация ли это. Мы утверждаем, что нет, но с переменным успехом. Дня через два ведущий заседание (кажется, пастор Мазинг) сообщает, что у Юры родился сын, а кто-то (кажется, Илич-Свитыч) трагически погиб. Потрясенные этими событиями, структуралисты отмякают; но Юра больше не говорит, что они – соль земли. Теперь ею оказались католики.

Прибавлю, что Юра уехал в Москву, а мы с Томасом – в Таллин, где нас и настигло сообщение, что в Вильнюс приехал отдышаться еще не знакомый с нами Бродский. Мы спешим домой. Но это – другой рассказ.

1967-й был исключительно насыщен событиями. Вторая жена Томаса (еще не жена) ждала ребенка и приехала по этому случаю к нам, на косу. Решила туда приехать и трогательнейшая певица, похожая на мулатку, Гитана Садовникова. Наконец, неутомонная Наталья Горбаневская пришла туда пешком от переправы, ухитрившись обойти пограничников. Дойдя рано утром до того ме-

ста, где напротив Пярвалки стоит маяк, она легла на берег поспать, а позже написала стихи:

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЯРВАЛКЕ

*На черном блюдечке залива
едва мерцает маячок,
и сплю на берегу залива
я, одинокий пешеход.
Еще заря не озарила
моих оледенелых щек,
еще судьба не прозвонила...
Ореховою шелухой
еще похрустывает гравий,
еще мне воля и покой
прощальных маршей не сыграли,
и волны сонно льнут к песку,
как я щекою к рюкзаку
на смутном берегу залива.*

Вот вам и Dichtung*, и Wahrheit** – читаешь и плачешь, особенно в те годы, когда мы не знали, что снова увидимся. <...>

Кроме всего этого, мы тушили лесной пожар. Ощущения были смешные – совершенно отключен страх, чувствуешь себя в аллегории. Глазов был словно для этого и создан. Власть сама собой оказалась у него, причем никто ни тогда, ни позже не удивился. Хорошо, тихий Сережа Ларин не был королем или «батюшкой» (мой муж), но Юра тоже королем не был, назывался он «лейб-коптарь», а роль его располагалась между героическим чудаком и неожиданно хозяйственным добытчиком. Однако тушением пожара руководил именно он, а уж красив при этом был – неописуемо. Потом мы долго пили и ели все тех же угрей. <...>

В 1965 году мы подружились с отцом Александром. Юра привозил от него записки, самиздат работал вовсю, но как раз то лето

* Поэзия (нем.).

** Правда (нем.).

(1968) было слишком тяжелым, даже взлетать не удавалось. Это – мне; Юра взлетал непрестанно, хотя именно у него начались самые тяжелые годы. Из всех нас только он стал диссидентом. Наталья [Горбаневская], конечно, тоже стала и в том году родила Осю, но я говорю о пярвалкских жителях, не о гостях.

А вот 1969-й, последний пярвалкский год, оказался просто райским. <...> Марина была в то лето очень смешной и удалой, наверное – немножко притерпелась к московским бедам или просто набрала дыхания. Гришка стал очень красивым, Яшка – очень смешным, а шестнадцатилетнюю Ленку хотелось сравнивать с розой, с черной голубкой или прямо с Рахилью...

II. СЛОВО ПРОБУЖДЕНИЯ (1966–1968)

ЧУЖАЯ ДХАРМА ОПАСНА

Some quick to arm.

Some for adventure...

E. Pound*

Одним – молочко пить.
Другим – грызть камень.
А третьим – как на вулкане быть
и вытянуть.

Одним – по волнам
игривым-гурливым плыть.
Другим – супротив волн
ветер, захлебываясь, глотать.
А третьим – долго под солнцем палящим
ходить, бродить да искать
ту страну, где растут асфodelи.

Одним – тяжелу корону носить.
Другим – в щемящей памяти прошлое перебрав,
рассвета кровавого на нарах ждать.
А третьим – форму цветка,
диву дивному радуясь, созерцать
да в кошелечке своем прохудившемся
золотые звезды считать.

* Быстры одни на стрельбу. / На авантюру другие. Э. Паунд – Перевод М. Г.

Одним – неприметно быть.
Другим – гарнитур купить.
А третьим – просто в лес –
на камень.

ГОНИМОМУ ДРУГУ

Хрустальные деревья.
Гололед и потрясенье.
Да. Я потрясена.
Хрустальные –
деревья застыли в гололед.

Сегодня гололед.
Сегодня все метет.
Совсем не совпадение,
что в этот день – глумленье.
И все в круговороте,
и ты один на взлете
и всем на оставленье.

И все вокруг метет.
Совпало – в гололед.
Скорей бы воскресенье.

ПОСМЕЕМСЯ НАД СОБОЙ

Скажи, скажи, что у другого плохо.
Мне станет легче оттого,
что у другого ничего
не получилось, не сбылось,
что все по свету разнеслось,
развеялось, рассеялось,
разбилось, растеклось.

Скажи, скажи, что у другого так же.
Мне станет легче оттого,
что у другого все равно
все рухнуло, все кануло,
все снегом занесло.

Не говори, что время лечит,
не говори, что хорошо,
что у другого хорошо,
что у другого все прошло
и что теперь ему смешно.

Не говори, что все равно,
что все прошло уже давно,
что все забылось, замелось,
что все почти было сбылось.

Смотри, смотри, какой смешной!
Ему больней, ему страшней,
а он светлеет оттого,
что у другого хорошо,
что у другого все сбылось,
сметалось, плакалось, слилось.

* * *

Золотые перышки сыпались с деревьев.
Золотые хлопья в солнечном лесу.
Сыпались и сыпались – в мир стихотворенья,
чудесами брызгая прямо на лету.

Золотистой осенью вспыхнула Жар-птица.
Это все не снится.
Прямо наяву –
броситься в их плавь
и в них заворочиться,

отдавая дань лишь сердцу –
не уму.

Тайным назначеньем шар земной светится.
Мы песчинки в море, в солнечных лучах.
Заживо обрызганы искрами Жар-птицы,
мчимся на каких-то тайных скоростях.

* * *

В жестокой экзистенциальной битве
хранитель твой и искушитель бьются.
Сама твоя душа – арена битвы.
Твой нежный друг – невидим для тебя,
а искушитель – так вещественно прекрасен,
что ты теряешь вдруг – как он опасен,
как он твоею собственной рукой
свой меч в вернейшее
на смерть вонзает
и пеленою застилагет...

Все – диалектика.
Все – промысел и смысл.
И от свободы воли – катастрофа.
Так сделай выбор ты и повернись!
Душа твоя вольна!
И пусть, и пусть
в ней будет боль,
в ней будет радость,
грусть...

* * *

Ю. Лекомцеву

Все окно облилось.
Все намокло насквозь.

Барабанит в карниз.
За него помолись...

* * *

Они меня поразили.
Они улыбались в горе.
И когда они хоронили.
И когда они умирали
с тайной улыбкой в горе,
с вечной тайной в мире.

* * *

*Never pain to tell the love,
Love that never told can be...*

W. Blake*

Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Б. Пастернак

Я вас люблю.
Вы знаете об этом.
Благодарю,
что вы имеесь
на свете этом.

Ни прикоснуться,
ни сказать,
ни молвить
не посмею.

И никогда –
на людях или нет –
при вас
не покраснею.

* Не говори никогда о любви – /Той, о которой нельзя говорить... У. Блейк. –
Перевод М. Г.

Я в вас люблю
и одухотворенность,
и красоту,
и в небо устремленность.

Мне снился сон.
Вы в нем меня просили
вас не любить.
Вы в нем меня молили
уйти совсем.

Но Боже!
Я бессильна
в вас разлюбить
и одухотворенность,
и красоту,
и в небо устремленность.

Тоска иное значит, чем печаль.
Из испытаний вырастает вера.
Пусть розовым считается мечтать.
И смертоносным пусть проходит время*.



* Стихотворение – одно из лучших!

Р. Якобсон

* * *

Огни ночного города в волненье.
Какая-то случилась в нем беда.
Бегут один к другому, все в смятенье,
сшибают с ног, и стонут провода.

И переменный ток, и постоянный –
все сбились с ног. Какой-то окаянный
всех напугал. И страх стал непрестанный.

И все забыли вдруг про собственные тайны,
а кто хранил, тот стал как неприкаянный.

Все спуталось. Огни боятся –
им от каких источников питаться.

И на далеком расстоянии от города
уже испытываешь их волнение в горле.
И им сочувствуешь, и сопереживаешь.
Как нелегко все – по себе все знаешь.

Но положить, отдать и потерять –
и вдруг почувствовать – какая благодать!
И вдруг понять переоценку счастья!
И обрести покой среди ненастья!

* * *

– Лишь путь в исповедании... –
так говорит преданье
откровений,
и нимб икон,
и запредельный перезвон
церквей
для нищих Духом...

Лишь медяки,
да нищие на паперти,
да свечки бабкам:
– На канун! –
или
– К иконе Божьей Матери...

Да что еще?
О! Красота икон
и дивный хор

эстету...
И больше ничего здесь нету.

Лишь
нищим Духом
здесь встают
во всем величьи –
живые символы
и притчи.

БУДНИЧНЫЕ ДНИ

И каждый бежит по своим делам.
Кто с сумкою. Кто с портфелем.
Кто в куртке нейлоновой. Кто просто так –
в простом пальтеце! Лишь поспеть бы!

Водитель не ждет и намеренно
отчаливает перед носом.
– Что ты ему сделал и что он вдруг злой? –
ты задаешься вопросом.

Другой подождет – ты «спасибо» ему
и вскакиваешь, задыхаясь,
застегиваясь, как всегда, на ходу,
на спешку свою чертыхаясь.

Прибудешь. Пройдешь все положенное
и вечером возвратишься.
И день отошел. Непогожий –
ты на него косишься.

Или бывает с радостью
нечаянной – подивишься.

Но если по правилам – будничный –
и всего в нем, и даже слишком,

ты этого не замечаешь
и так, отведя, не знаешь,
как хорошо тебе было
и в прошлое уже уплыло.

ПОПЫТКА ДЕТСТВА

...Но – заскок? случайность? –

М. Цветаева

Зайчик прыгал по стене,
будто знак какой-то мне.
Озорной мальчишка
не подозревал,
что сигнальной вспышкой
в чем-то помогал.

Выводил упрямо
прямо на глаза,
и я встала, прямо
как под образа.

Ты не знал, наверно,
что проводником
оказался мальчик
с зеркальцем. Тайком
ты решил пробраться
и лучом назваться.

* * *

Автобусы, трамваи и буква М.
Зачем несусь – не знаю.
С ума сошла совсем.

Все прыгает и кружится,
и радужит в глазах.
Как девочка по лужицам
с скакалкой впопыхах.

Ловлю руками сердце –
успеть, успеть, успеть!
Выпрыгивает, сердится,
боится замереть.

Ах! Надо отдышаться!
Ах! Надо замереть!
Ах! Страшно прикосаться!
Ах! Страшно не успеть!

* * *

Все бегу, все бегу.
Перепутываю мысли.
Грязью шины на ходу
от машины вся забрызгана!

Все мне что-то помнится –
не могу сказать.
Мне бы было легче
это показать.

Кажется – схватила!
Кажется – вот-вот!
Вперепрыжку лужу –
чтобы не в обход!

Кажется, сегодня
что-то я пойму,
где-то перепрыгну,
куда-то добегу.

А потом постигну,
что снова в смуту, вспять!
И путаницу эту
так и не унять.

ДОРОЖНАЯ ЗАРИСОВКА

Я ехала в метро и смотрела
на все отображенья в стекле.
Вот женщина сидит в изнеможеньи.
Вот мальчик улыбается мне.

Вот девушка читает газету.
Какой у ней величественный вид!
Не будет у ней бездны униженья.
Такая за себя постоит.

Вот юноша усталый. Не сводит
с прекрасной этой девушки взгляд.
Ну прямо с ума его сводит
над «Правдой» нависшая прядь.

Вот дяденька расселся по-свойски –
не грех ведь в метро подремать.
Заботливый сосед в беспокойстве –
во время* его растолкать.

Взбуйнилась бабка, бранится,
не может расстройства снести:
–Таких бы давить! Что милиция!
Напьются, а бабам крутись!

Вот скромный работник ответственный.
Простой – и не скажешь на вид.

* Простореч.

А видно – ну прямо он бедствует –
так тело за дело болит!

Вот мальчик стоит. Что-то думает.
Не в силах он думу снести.
Все что-то приходит на ум ему,
а все ж до конца догрести!

Он верит, что станция сбудется,
куда-то все ж поезд придет.
Все думается. Все думается.
А поезд везет и везет.

* * *

Когда-нибудь, в каком-нибудь рождении
вот так же горько будет литься дождь.
Я посмотрю на ту себя. Я с удивлением
увижу – что меня тогда бросало в дрожь.

Я вспомню, как я плакала, а дождь все будет литься,
как я не поняла тогда – какое зло творится.

Потом все были лица. И лица были в масках.
И задано сгуститься на масках было краскам.
И начали кружиться те маски в карнавале.
Но вырваться из круга могла тогда едва ли.

А потом я ехала просто на трамвае.
Помню, был сочельник и была одна я.
Я смотрела просто юности, что ли, в спину
и притом не корчила никакую мину.

Целями благими прошлое, что ли, вымостила
или не имеющими яви, что ли, вымыслами?
Нравилось мне слово дня того – сочельник.
Где-то отмечали молчанием, что ли, пением...

* * *

Лес. Ночь. Темным-темно.
Хоть глаз выколи.
Давным-давно
уже все звезды на небо выпали.
И только тонкий свет от стволов берез.
И перешептываются они со звездами
совсем всерьез.

Ночные заговорщики-деревья
со звездами шептались обвенчаться.
По небу каждое раскрылось веером.
И каждый веер начал излучаться.

Обиделась краса-луна.
Надулась.
Откуда вызнали они,
что отраженным светом
светила она в них
и до рассвета
обманывала их лучом-ответом?

А звездочка на веере качалась
и нежным-нежным светом излучалась.

* * *

Все взвешиваю – за и против.
И просыпаюсь среди ночи.
И вспоминаю все до самого утра.

Из крана
капает вода на кухне.
А раньше – напротив –
я напролет спала все ночи.

Из воспоминаний Юрия Глазова

В КРАЮ ОТЦОВ*

Перелом: 24 февраля 1968

<...> До сих пор не могу понять, что мною двигало в то утро. В принципе я человек очень осторожный. Я часто оказывался в детстве в рискованных, опасных ситуациях, но, кажется, на рожон никогда не лез. Наоборот, я с трепетом наблюдал, какому риску подвергал себя мой старший брат Гарик. И чрезмерным тщеславием я тоже как будто не отличаюсь, хотя, как и любой грешный человек, люблю, когда меня похваляют. Ведь я не был слишком близок к Павлу [Литвинову] – мы знакомы всего несколько недель. Мне жалко было Петра Якира, но я не готов был за него совать свою голову в петлю. Больше всего на свете я любил и люблю свою Мариночку, своих детей. Что, что именно подмывало меня в то утро? Право, это останется для меня тайной и мистикой на всю жизнь. И никогда я не забуду, как вела себя в этот день моя Марина, и на всю жизнь буду ей благодарен.

Я набрал номер квартиры Петра на Автозаводской. К телефону подошел сам Якир. «Здравствуйте, Петя». «Здравствуйте, Юра. Конечно, я вас хорошо помню. Мы вас тут вспоминали. Спасибо, Юра, за ваши слова. Да какое тут уважение и за что? Приезжайте, если хотите. Будем очень рады. Павел? Да, он тут. Хотите с ним поговорить? Пожалуйста. До свидания, Юра».

К телефону подошел Павел. Такой приятный, обаятельный голос. Слава Богу, здоров. Ничего с ним не делается. «Юра, здравствуй. Да, все хорошо. Да, давно не виделись. Приезжай, если хочешь, сюда сегодня. Будем очень рады. Очень рад был с тобой

* Эту главу очень любил Феликс Светов, и каждый раз, перечитывая ее, мы вспоминаем о наших с ним встречах, оборвавшихся в сентябре 2002 года.

поговорить, Юрий. Звони. Привет Марине. Если надумаешь, приезжай. До свидания, Юра. Всего доброго».

Я повесил трубку, и все во мне заиграло. И Петр, и Павел зовут меня на Автозаводскую, в эту самую их квартирку, почти булгаковскую. Я действительно был рад, что Павел в порядке. Смотри, полтора месяца после своего обращения гуляет на свободе, и хоть бы хны. Свобода! «Сегодня ходишь в бороде, а завтра ты в НКВДе. Свобода ведь, свобода!» Зовут меня в гости. Ну что я туда попрусь? Я человек семейный, многодетный... А Марина, занятая своими делами, говорит: «Поезжай, раз тебе хочется и раз они тебя зовут». Нет, мне не хочется ехать сегодня... Я очень рад, что они там все в полном порядке, у меня масса дел. Мне нужно работать над моей книгой по морфонологии, переводить гимны индийскому богу Вишну. «Да и какое дело мне, офицеру, да еще с подорожной, до каких-то контрабандистов?»

Нет, ехать мне точно не хочется. А хочется сидеть дома. Но почему душа моя «скорбит смертельно»? Мне надо к ним поехать. Я все время о них думаю, об этих ребятах. И что плохого может со мной случиться? Ну, засекут в этой квартирке. Но они и так про меня знают. А повидаться хорошо. Тем более что Павлу не так уж много осталось ходить на воле. Да и кто знает, что случится с Петром? И почему они должны свою голову класть на плаху, а мы, чистенькие и интеллигентные, отсиживаться в тепле и попивать свой коньячок? Вот и Марина говорит: поезжай! И правда, поеду. Позвонил еще раз Петру и сказал ему, что буду в течение часа. Он буркнул в телефон что-то приятное.

Я оделся в свой обычный костюм. Надел галстук. Только что не надушился. Поцеловал детей, Мариночку и поехал. Автобус, метро. Пересадка. Выход на «Автозаводской». Иду по улице. Люди как люди. Спешат себе по своим делам. По-моему, чихать им на Якира, на Павла и на всех нас. Какие-то мрачные лица... А вот и дом номер пять, лифт. Никого нет. А я уж думал, что тут взвод автоматчиков и пять машин с оперативниками от КГБ. Никого, милый, нет. Никого и ничего, кроме твоих страхов. А вот и твой этаж. Нет, вышел на этаж раньше. Можно подняться по лестнице.

Хороший дом у Якира. Это ему и маме его, как семье расстрелянного командарма, подарок... Самое странное – ни разу не мелькнуло мысли плюнуть на все и вернуться домой, к жене и детям. Сесть у окна и смотреть, как по Внуковскому шоссе проезжают машины. Нет, иду себе. У меня дело к этим ребятам. Какое?

А вот и квартира семьдесят пять. Квартира как квартира. И тут все мне очень рады. Тут полно народу. Встречает Петр. Обнимает по-дружески. Тут же жена его Валя. С ней мы тоже обнимаемся. Милая, милая. Она кладет голову мне на плечо. А вот и друг мой Павел. Привет! Улыбается. Выглядит хорошо, возбужденно, небрит. Говорит, что Наташу Горбаневскую только что выписали из больницы. Да, это правда хорошо. А Вольпин? Все там же. Ба, тут весь синклит. Тут и Илюшенька Габай, милый человек. Как будто бы не очень он мне рад сегодня. Тут и Красин. Здравствуйте, Виктор! Здесь, конечно, и Юлик Ким, зять Петра. На кухне вижу маму Якира, здороваюсь с нею. Бедная женщина, сколько же она выдержала в своей жизни! Петр вводит меня в большую комнату, перегороденную ширмой. Там сидят две молодые девушки, наверное, подруги Иры, дочери Якира.

Не успел я войти, как Петр протянул мне письмо, которое еще только собираются отправить. И я могу с ним ознакомиться. Интересно. Я сел за стол возле двери, лицом к выходу. Направо от меня – те две молчаливые девушки. Совсем как у Достоевского, сидят там, в углу, и смотрят. Налево и немного позади – другой большой стол. Павел сидит за ним и с возбужденными, но счастливыми глазами говорит по телефону с Наташей Горбаневской, которая теперь у себя дома. А мое внимание уже приковано к письму.

ПРЕЗИДИУМУ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В БУДАПЕШТЕ

В последние годы в нашей стране проведен ряд политических процессов. Суть этих процессов в том, что людей в нарушение основных гражданских прав судили за убеждения. Именно поэтому процессы проходили с грубыми нарушениями законности, главное из которых – отсутствие гласности.

Общественность больше не желает мириться с подобным беззаконием, и это вызвало возмущение и протесты, нарастающие от процесса к процессу. В различные судебные, правительственные и партийные органы, вплоть до ЦК КПСС, было отправлено множество индивидуальных и коллективных писем. Письма остались без ответа. Ответом тем, кто наиболее активно протестовал, были увольнения с работы, вызовы в КГБ с угрозой ареста и, наконец, самая возмутительная форма расправы – насильственное заключение в психиатрическую больницу. Эти незаконные и антигуманные действия не могут принести никаких положительных результатов – они, наоборот, нагнетают напряженность и порождают новое возмущение.

Мы считаем своим долгом указать на то, что в лагерях и тюрьмах находятся несколько тысяч политзаключенных, о которых почти никто не знает. Они содержатся в бесчеловечных условиях принудительного труда, на полуголодном пайке, отданные на произвол администрации. Отбыв срок, они подвергаются внесудебным, а часто и противозаконным преследованиям: ограничениям в выборе места жительства, административному надзору, который ставит свободного человека в положение ссыльного.

Обращаем ваше внимание также на факты дискриминации малых наций и политическое преследование людей, борющихся за национальное равноправие, особенно ярко проявившееся в вопросе о крымских татарах.

Мы знаем, что многие коммунисты зарубежных стран и нашей страны неоднократно выражали свое неодобрение политическим репрессиям последних лет. Мы просим участников консультативной встречи взвесить ту опасность, которую порождает попрание прав человека в нашей стране.

Обращение подписали:

1. Алексей Костерин, писатель, Москва, М. Грузинская, 31, кв. 70.
2. Лариса Богораз, филолог, Москва, В-261, Ленинский проспект, 85, кв. 3.
3. Павел Литвинов, физик, Москва, К-1, ул. Алексея Толстого, 8, кв. 7.
4. Замфира Асанова, врач, Янги-Курган, Ферганская область.
5. Пётр Якир, историк, Москва, Ж-280, Автозаводская, 5, кв. 75.
6. Виктор Красин, экономист, Москва, Беломорская ул., 24, кв. 25.
7. Илья Габай, учитель, Москва, А-55, Новая Лесная ул., 18, кв. 2.
8. Борис Шрагин, философ, Москва, Г-117, Погодинка, 2/3, кв. 91.

9. Анатолий Левитин-Краснов, церковный писатель, Москва, Д-377, 3-я Новокузьминская, 23.
10. Юлий Ким, учитель, Москва Ж-377, Рязанский проспект, 73, кв. 90.

Я прочитал это письмо раз, потом второй. В груди моей разлилось радостное и небывалое чувство – почти что счастье. Кто мог написать письмо, в котором огненными буквами было начертано все, о чем я думал все эти годы, и особенно последние недели? Никто мне не говорил ни слова, и я не помню, смотрел ли кто-либо на меня в эти минуты со стороны. Наверное, смотрели. Письмо это я тоже могу подписать, хотя никто мне не предлагал этого. Но зачем бы мне тогда дали его читать? И, вероятно, поэтому Павел и Пётр приглашали меня приехать именно сегодня. Десять человек уже подписали до меня. Я почти всех их знал или, во всяком случае, слышал о них. Быть в одном ряду с Ларой Богораз – это великая честь. С Павлом Литвиновым и Петром Якиром! Так разве же ты не обсуждал этот вопрос с Мариной и разве ты не получил от нее карт-бланш на поддержку Павла, пусть только один раз, один-единственный раз в жизни? Я вспомнил Плевако, знаменитого русского адвоката, защищавшего убийцу-священника и говорившего суду об его единственном грехе в жизни, который нужно простить. Я не священник и как будто бы не убийца, но могу я один раз в жизни позволить себе поступок, для которого я жил и которым всегда буду гордиться?

А в большой комнате в разных углах по-прежнему продолжался разговор. Света в комнате было не так уж много. Наверху горела одна лампа под абажуром, и на столах стояли настольные лампы. Я мог спокойно отсечь в сторону, к окну – там я нашел стул, на котором устроился в одиночестве, никем не тревожимый, и задумался. Я не могу вспомнить, сколько времени я сидел так: быть может, минут десять–пятнадцать, а может, больше. Я не видел и не слышал в этот момент ничего вокруг себя.

В голове пронеслось множество мыслей, и к некоторым я все время возвращался. В этом письме сказано все, о чем ты так много думал и чем переболел. Тебе не давали покоя миллионы погибших в лагерях. Вот тебе шанс сказать об этом гласно. В этом письме ска-

зано о том, что произошло в стране недавно. Люди опять сидят по лагерям: Синявский, Даниэль, Буковский – письмо о них. И ты можешь не подписать его? Ты должен подписать, ибо пришел твой час, твой одиннадцатый час. Твоя подпись будет одиннадцатой. Ты жил для этого момента, годами готовился к нему. До сих пор Бог давал тебе все. Дал веру, пусть даже немного веры. Дал образование, дал прекрасную семью, работу, быть может, какие-то успехи в твоём деле. И это всесильный всевидящий Бог, Сам Иисус Христос дает тебе возможность сказать свое слово вместе с прекрасными людьми, которые, если что, не дадут тебя в обиду и не дадут сгинуть в неизвестности. Тебе надо сделать это маленькое, совсем маленькое дело, и совесть твоя хотя бы на несколько недель освободится от угрызений за молчание о лагерях и сталинском произволе. <...>

<...> Самое удивительное в эти минуты размышлений было одно: не возникало и тени сомнения, что я должен это сделать.

Я снова сел за стол, на котором лежало письмо, и взял ручку. Оказалось, письмо было в нескольких экземплярах. Одно шло в Будапешт, другое – в ЦК КПСС, третье – вероятно, корреспондентам. Но какая разница, три экземпляра или четыре? Не могу сказать, чтобы моя рука слишком уверенно держала перо, когда я подписывал первый экземпляр. Но и не дрожала. Лишь бы душа была тверда, тут страх не советчик. Но вот беда. Не успел я подписать первый экземпляр, как к столу подсел Илюша Габай. Он внимательно взглянул на меня и сказал просто:

– Юра, я вижу, вы подписываете письмо. Это может быть очень опасно для вас.

Подошёл и Петя. Он был нескрываяемо доволен тем, что нашелся еще один доброволец.

– Ладно, Илья, оставь! – сказал он в ответ на увещевание Габая. – У каждого своя голова на плечах.

Я продолжал подписывать остальные экземпляры письма. Меж тем Павел уехал, зато пришел генерал Петр Григоренко. Его я видел впервые. Когда он подписывал письмо, а подписывать он начал сразу и без размышлений, Илюша и его предупредил, что это может оказаться рискованным. Но генерал даже бровью не повёл.

Илюша побежал отправлять письмо по разным адресам. Нужно было спешить: почта с минуты на минуту могла закрыться.

С приходом генерала стало веселее и уютнее. Петр быстро спроворил на стол. Появилась бутылочка «Столичной», селедка и еще какая-то закуска. К столу подсели Виктор Красин, Юлик Ким, и мы выпили за успех. Как-никак, мы теперь породнились.

На генерала было приятно смотреть. Он был лысый, статный, крупный, с добрыми живыми татарскими глазами. Он явно любил жизнь. В нем чувствовалась привычка повелевать, но уже давно он трансформировал ее в духовную силу. К этому времени он столько наподписывал этих документов, что еще один на судьбу его никак не мог повлиять. За последние семь лет он прошел непростой путь: его разжаловали из генералов в солдаты, лишили пенсии, держали в психиатрической лечебнице. Но вопреки всему от генерала исходило душевное здоровье. Я, по своему обыкновению, начал его расспрашивать о прошлом, о его видении мира. Как и можно было ожидать, генерал подтвердил, что он придерживается марксистского мировоззрения. Я пытался понять, почему он так твердо держался своей позиции, а он нисколько не порицал меня за то, что я отрицал марксизм. Незадолго до нашей встречи мне передали слова генерала, когда в ответ на упрек в пристрастии к марксизму он довольно безобидно заметил:

– Кого я только не вижу в своем окружении и кого только не терплю! И христиан, и мусульман, и адвентистов седьмого дня, и буддистов, и конфуцианцев – со всеми люблю говорить. И только вы не можете переварить моего марксизма. <...>

<...> На столе появилась еще одна бутылка водки, и Петр Григорьевич поспешил уйти. Юлик Ким продолжал петь. Якир прикладывался к бутылочке, но всех буйнее оказался Виктор Красин. С уходом Петра Григорьевича он распалился. Снял с себя пиджак, начал плясать. Парень он был веселый, хотя в пьяной его веселости сквозило что-то едкое и неприятное. Я сидел за столом и с изумлением смотрел на представление моих братьев по духу. Виктор ерничал и пару раз задел меня каким-то словом. Я видел, что чем-то его раздражаю. Белой ли своей рубашкой, галстуком

ли? Здорово набравшись, он крутился вокруг меня, посматривая острыми глазами зека. В конце концов я спросил, чего он ко мне пристаёт.

– Хочу сломать тебе целку! – ответил он.

Только драки ещё здесь не хватает. Конечно, нужно было дать ему пощечину. Но я не дал. Я задумался. Ведь это были люди, с кем я готов был идти чуть ли не на плаху. Нужно было сдержаться, простить его, пьяного. Ведь Гриша Померанц говорил мне кое-что нелестное об этих людях, а я не верил ему или считал это несущественным. Но не Красин же является главной фигурой в этом деле. Не ради него я подписал письмо. А Виктор все более расхотелся, и даже Петр не мог его унять. Петр смущался, что моя инициация проходила в более мрачных тонах, чем полагалось. Юлик тоже был крепко навеселе. Пел теперь уже Виктор и аккомпанировал себе, барабанивая пальцами рук по столу. Насупившись, стояла и смотрела на него Валя. Две девахи все так же молча взирали на происходящее: им было любопытно. А старый лагерный волк пел песню, которая сразу же ложилась на память:

Отец мой – Ленин.

Мать – Надежда Крупская.

А дядя мой – Калинин Михаил.

Мы жили весело в Москве на Красной площади.

Из всей семьи остался вором я один.

Песня произвела на меня впечатление. Виктор пел про себя самого. У Красина и Якира лагерная жизнь началась довольно рано. Когда-то и я примерял на себя такой вариант... Илюша Габай был смущен, Петр тоже, Юлик Ким – ни капельки. Красин паясничал в угаре. Отправка письма в Будапешт была большим событием, и можно было праздновать и дальше. Семь бед, один ответ.

А у меня было горько на душе. Что же ты? – говорил я себе. – Ты сделал шаг, который решит твою судьбу. Но с какими людьми ты связал ее? Ты пришел сюда, чтобы сохранить свою индивидуальность, а циничные слова Красина означали, что тебя хотят лишить не только гражданской девственности, но и твоей независимости,

твоей самостоятельности. Ты думал, что про тебя нельзя сказать ничего дурного: семейный человек, занимается наукой, не пьяница и не совсем сумасшедший. А теперь что ты скажешь своим друзьям? Сможешь ли ты повторить слова, которые бросил тебе в лицо поддатый Красин? Но чего еще можно ожидать от человека, который в двадцать лет загремел в лагерь и чья жизнь пошла кувырком?

Я попрощался со всеми и поехал домой. Все та же улица, те же люди, то же метро. Только я другой, и будущее мое теперь другое. Бедная моя Мариночка! Какой ждет ее подарок! Но, что ни говори, сегодня был большой день, настоящий брачный пир, на который званные не пожаловали, и потому рабы царя, «вышедши на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими» (Мф 22.10). И, вспомнив это место из Евангелия, я как-то успокоился. Нечего болтать, достаточно прекрасных людей подписали это письмо, и теперь надо встретить будущее так, как судил Господь.

Марина сидела на кухне с моим другом, эстонцем Халяндом Удамом. Пили они спокойно чай, и ни о чем не ведала ее душа. Нет, не могла не ведать. Часто потом мы вспоминали этот день. Они обсуждали с Халяндом насущный вопрос о различии между субъективным и объективным в философии. Не сразу я вник в содержание их беседы, но тему запомнил: она по-своему отражала суть того памятного дня.

Халянд ушел. Я рассказал Марине, что со мной произошло. Описать чувства молодой женщины я не берусь. Горько посетовала она на судьбу, связавшую ее со мной. Несколько беспокойных ночей провели мы после этого дня. И в одну из них сквозь сон я услышал вдруг ее горький плач и слова, раздиравшие мне сердце:

– Юрочка! Что ты наделал? Ты оставил сиротами наших детей!

А весть о письме уже расходилась по Москве, да и само письмо пришло к нам по самиздату чуть ли не на второй день. Через три дня оно было напечатано в ведущих зарубежных газетах, включая «Нью-Йорк Таймс» и лондонскую «Таймс». В последний день февраля все западные радиостанции торжественно передавали по-

русски полный текст нашего письма со всеми нашими именами и профессиями. Жизнь моя явно входила в иной поток.

...

ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ

Сделанное было сделано, и путь назад отрезан. В четверг утром я сидел за своим столом в библиотеке института, как вдруг ко мне наклонилась голова Илюши Габая. Он внешне спокойно, но с внутренним ликованием сообщил мне, что вчера вечером по основным радиостанциям Запада несколько раз передали наше письмо. Мы пожали друг другу руки и пожелали всего доброго. Илюша был готов к новым испытаниям. Был ли готов я?

Марина немного пришла в себя. Правда, ей все время снились кошмары, будто меня убивают. Я показал Марине копию нашего письма, которое стали называть «письмом двенадцати». К моему великому удивлению, Марина, прочитав его, успокоилась. Письмо ей показалось дельным и фактически верным. После первого вечера страхов и упреков, после первых дней неизвестности и тяжелых ночных видений Марина раз и навсегда встала вместе со мной за нашим письмом. Конечно, были другие горести и тревоги, но ни разу, ни разу не попрекнула она меня за то, на что я решился, как будто бы не посоветовавшись с нею еще раз. <...>

...

А с моими друзьями по церкви я больше не виделся. Отец Александр дал им совет держаться в стороне от подписантской кампании. Как-то по-своему понимали многие из них христианство, считая диссидентство делом нечистым.

Два момента из тех дней врезались мне в память. Еще до встречи со Шрагиным я сидел у себя дома воскресным вечером и играл на полу с моими маленькими детьми. Марина куда-то вышла. Полугодовалый Яшенька катал мячик по ковру, а Гриша, как обычно, возводил небольшое зданье из своего конструктора. В доме стояла тишина. Мертвая тишина. Телефон молчал. Тот самый телефон, который еще совсем недавно трещал почти непрерывно.

Яшенька разрезвился. Круглое смеющееся личико ничего не подозревающего ребенка. Сосредоточенное выражение нашего чудесного Гришеньки. И вдруг страх пронзил меня. Я начал упрекать себя в безрассудстве. Марина и я рано остались без отцов. Какое право имел я на мой отчаянный поступок, зная, в какой стране живу? Многие мои знакомые, даже очень осторожные, чуть ли не в открытую говорят: «Проклятая Богом страна!» И я почти уверен был в тот миг, что на свободе мне осталось ходить считанные дни. Бедная Марина! Бедная моя дочка!

Впрочем, когда Марина шутливо попросила Бориса [Шрагина] подлечить ее паранойю, он, взглядевшись в нее, изрек:

– Какая у тебя, Мариночка, паранойя? Ты же кремневая баба!

СОВЕТСКАЯ НЕМЕЗИДА

(О событиях в Чехословакии)

В день вторжения советских войск в Прагу мы, ничего ещё не ведая, сидели на берегу залива (это был наш предпоследний приезд в литовскую Первалку), коптили угрей, и Валя [Турчин] страстно доказывал мне, что никогда советские войска в Чехословакию не войдут. Поздно вечером мы вернулись домой и включили приёмник. Новость нас ошеломила. Марина горько заплакала. Казалось, что всё кончено. Валя попросил настроить приёмник на советскую волну, откуда фальшиво-официозный голос вещал о братской помощи, оказанной народу Чехословакии*.

Лагерь казался неотвратимым. <...> До советского вторжения в Прагу ещё можно было питать надежды. Но после того, как на глазах у всего мира в красивую и счастливую страну ворвались танки, когда били в кровь чехословацких лидеров, с которыми

* 25 августа мы еще были в Литве, и это изменило судьбу отца, потому что в этот день он не вышел на площадь в знак протеста.

Далее см. <http://newtimes.ru/articles/detail/56843/>: «25 августа, 1968. Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг

Брежнев некогда дружил и был на «ты», на что можно было надеяться? Ночь сгустилась не только над Прагой. Горькая тьма вошла и в мою душу. Я решился на свой поступок в минувшем феврале, чтобы избавиться от страха, но последний свил себе неплохое гнёздышко в моей душе. Мой жизненный оптимизм, казалось, потерпел крушение. <...>

Как-то незаметно подкралась болезнь: поднималась температура, по ночам меня трепала лихорадка. Врачи никак не могли поставить диагноз. Так прошло несколько недель. В один из дней зашла к нам Вера, жена Мелика Агурского. Она работала нашим районным врачом. Осмотрев меня, Вера решительно заявила, что у меня сепсис на почве моих больных гланд. <...> Нервное напряжение прошедших месяцев также дало себя знать. Вероятно, я сильно устал. В тяжёлом состоянии я попал в академическую больницу, из списков которой меня ещё не успели вычеркнуть. <...>

устроили акцию на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию. Участники были осуждены на разные сроки ссылки и лагерей, а Наталья Горбаневская определена в спецпсихбольницу». – *Прим. сост.*

III. СЛОВО НАДЕЖДЫ (1968–1970)

СЛОВА СБЫВАЮТСЯ

Как страшно говорить слова –
они сбываются.

И как ни заклинять себя –
они срываются.

И вот непоправимо все –
и все ломается.

И вот – как чудом, говорят –
все вдруг спасается.

* * *

о. Станиславу Добровольскису

Благодарю Тебя
за этот день,
когда в часы отчаянного лета
я увидала
это.

Огромные старинные деревья
обдали меня холодом.
Мои смятенья
им были чужды.
Мрачно усмехнулись облака.

Им было нужно
промчаться мимо.
Да и зачем я им нужна?
Непоправимо.

Внизу ручей.
Так далеко, что я не слышу.
Ни я не слышу никого,
никто меня не слышит.

Вдруг
у ручья все изменилось!
Я увидала вас!
От вас лучилось!
Все вздрогнуло! Все задрожало!
Тяжелая, тянущая рука
меня разжала
и отпустила.
Радость разлилась!
Прекрасный старый парк в лучах!
Залито светом!
О Боже мой!
Как хорошо на свете этом!

Литва, Пабярже, 1969

* * *

Убегу я обратно в детство.
Только это возможно бегство.
«Только детские книги читать».
Только Маленьких Принцев встречать.

«Только детские думы лелеать».
Только детства былое отсеять.
На качелях его откачать.
Обо всем остальном отмолчать.

На песке старый замок построить.
И как будто все в сказке устроить.
И все слезки на нитку надеть.
И стараться ее не задеть.

ВТОРОЙ ЗАЧАТЬЕВСКИЙ

*Моим братикам и сестричке – Виталию,
Виктору, Людочке*

*Как по левой руке – пустырь,
А по правой руке – монастырь...*

А. Ахматова, Третий Зачатьевский

Мой милый монастырский двор.
И длинный черный коридор.
И комната, что раньше
обителью монашкам
была. Две печки.
И вечерами – свечки.

Моя Остоженка!
Родное детство!
– О Боже! Боженька!
Какое бедство! –
вдыхал старик напротив по соседству.

– О, Господи! Что ж деемся на свете!
А в мячик на полу играли дети.
И бабки с семечками в полусвете.
И наш Пушок пушистый на буфете.

У дома палисадники
и золотистые шары,
сарай, голубятники –
теперь – как голубиные дары!

Зимой – дрова.
Мы греемся у печки.
Со мной родной
ушедший человечек.

И вечерами чай
и вкусный монастырский воздух.
– Все примечай! –
шептал мне ночью голос поздний.

И монастырская стена нас охраняла.
Я ничего тогда не понимала.

ЧЕЛОВЕК ЗЕМНОЙ СТРАННЫЙ

По улице
шел странный человек.
Венера. Марс. Созвездье Водолея.
Наверное, там странных нет.
Наверное, там все не так.
Там все вернее.

Там земля неземная.
Там никто не рыдает.
Там не шепчут стихов.
На Земле жил Иов.
На Земле жили люди.
На Земле все так будет.

Не как там –
просто и ясно,
четко-прекрасно,
в переливе красок,
неземлисто-немглисто,
лазорево-золотисто.

Человек земной странный,
идуций по лужам,
со своими стихами
ты –
Земле своей сужен.

ВЕЧЕРАМИ

Я люблю оставаться одна.
Не вообще, а одна вечерами.
Лечь ничком в темноте,
закрывая глаза,
слушать музыку
и поплыть с голосами.

Нанизаться на космоса ось.
Распластаться в самую неизвестность.
Как летать по вселенной – во сне
мне уж с самого детства известно.

Затаиться, затихнуть, замлеть.
Вместе с космоса пульсом забиться,
Млечный Путь переплыть, умереть
и обратно на Землю спуститься.

ССОРА

Все слова – тьфу.
Кроме первого
и последнего.
Все слова растаяли
в мокрые бредни.

В кулаке зажаты –
утекли сквозь пальцы.

Ни за чем* слова –
можно так расстаться.

СЛЕЗКИ КАПАЮТ, ПЕРЕЛИВАЮТСЯ

Как хорошо, как весело, как радостно вокруг!
Слезки капают, переливаются
всеми цветиками, всеми радужками
по закону по тому – по физическому –
красненький с зелененьким,
голубой с оранжевым,
желтый с фиолетовым –
чтобы цвет был беленьким,
чтобы цвет был чистеньким!
Как радостно, как весело, как хорошо вокруг!

БРЕДУ КАК В БРЕДУ...

Бреду как в бреду.
В водоросли хочу.
В тину.
В слякоть хочу.
В мокрый снег.
В число нечетное.

От слякоти.
От снега мокрого.
В белый туман.
В дождь.
В луч косой,
где душа –
пылинка.

* Простореч.

* * *

Юре

В страшную больничную ночь 30 октября 1968 года

Когда часы окутываются разговорами
и листья догоняют ветер,
безжалостно полосками дождя
знак одиночества извечного отмечен.

Работа скульптора приблизилась к концу.
Твои черты – в искусстве первобытном.
И хлещет дождь по мокрому лицу.
И ветку треплет ветер ненасытный.

Как падающий мелкий дождь,
уходит серый день,
набрасывая сетку на прохожих,
в другой, такой же, неизвестный всем,
но для тебя – до странности похожий!

Ты в сетке с ними! В неизвестном дне!
В серебряных лучах дождя
тебя найду я!
В твоих до странности простых словах.
Я мокрое твое лицо целую.

* * *

Как не думалось – все обошлось.
Ты увидела нежное слово
у заснеженного покрова.
Оно было написано льдинками,
словно бисерными росинками.
И растаяло днем на солнце.
И расплакалось. И на донце

твоего зрачка пробралось
и обрадовалось там до слез.

ПЕРЕД МОИМ ОКНОМ

В тот день шел мокрый снег.
Он покрывал овраг
перед моим окном
и выросший за месяц дом
перед моим окном.

Большими хлопьями выплакивалось небо
в овраг, в дорогу, в скаты крыш...
– Услышь, услышь, «ухо имеющий...»

Вот
семь светильников!
Семь маяков, сверкающих в стеклянном море!
В волнах, ласкающих и бьющих берег,
вот
смытые следы...

И не нужны растаявшие хлопья скатам крыш...
– Услышь, услышь...

НОЧЬ

Ночь. Начинаются сны.
Ночью мне стали ясны
смыслы дневного сна –
ночь непробудного дня.

Тихо лечу во сне
над жизнью своей, как над картой.
Дороги мои как реки.
А вон – и совсем бездорожье.

Все, что привидится мне,
все, что лукавый накаркал,
что суждено навеки,
медленно переживу
и днем буду осторожно
все видеть как наяву.

КАК НА ЯСНОМ ПЛАНЕ

Я изучала
изречения Конфуция
на самом вэнь-яне.

Мне сначала
разложилось все по полочкам
напутственно,
как на ясном плане.

Полагал Конфуций,
что добры все люди по природе,
лишь иные –
позже прозревают вроде.

Что же?
Так и не подозревая, бродят
по дорогам низости и лести
и, не ведая, так рвутся к мести,
месят грязь со злобой у порога,
где проходит праведных дорога?

РАВНОМЕРНОСТЬ

В каждом шаге твоём – равномерность.
Будто вылита ты на примерность.
Будто знаешь все – как доплыть
и с какими людьми – не быть.

Ты считаешь – не те все люди
окружают тебя, во блуде
и пороках они погрязли.
Будто все мы в том не повязаны.

ТИШИНА

В предельной, безусловной тишине
Твой ветерок притронулся к деревьям.
Ничто не шелохнулось, и нигде
не раздалось небесной птицы пенья.

Стояла неподвижной тишина,
бездонностью молчанья обнимая.
Не стало и препятствий без числа.
И недоступное не показалось раем.

ВРЕМЯ – КАК МОЛЧИТ ОНО

*Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.*

К. Прутков

Звуки! Я хочу вас слышать!
Может, мне и не дано
слышать осень вечных сосен,
время – как шумит оно.

Иногда мне все равно,
что проносится оно.

Может быть, мне, может быть,
иногда так трудно жить.

Иногда мне, может быть,
ту беду не пережить
и захочется вслепую
тот момент остановить.

Иногда мне вдруг смешно.
И, возможно, все такое
сумасшествием грешно.

Льется дождь. И вянут листья.
За окошком снег идет.
Что-то снова вдруг приблизится.
И нагрянет. И пройдет.

И опять мне станет грустно,
горько, страшно и смешно.
Но однажды я почувствую
Время – как молчит оно.

СРЕДИ МАСЛИН

В бледном свете луны они шли
по саду среди маслин.
Каждый звук из ночной тишины
в слух врезался, как острый клин.
И еще не слышно шума толпы.
И в саду все еще темно.
И глаза слипаются. И необорим
сон. И все кончено. Он один.
«...Пронеси... но не чего хочу...»
И прорезались фонари.

Заплясали факелы. Отблески огня.
– Друг, кого ты ищешь? Это Я!

ПОГОДА

Сегодня небо почерком особым расписано.
И всякий раз так – каждый день – свое.
Сегодня вдруг как уголками губ и век твоих оттиснуто.
Как будто высветилось в нем лицо твое.

То вдруг нахмурилось, то засмеялось.
То загадалось вдруг – не разгадать.
Все, как в тебе, внезапно вдруг менялось –
то дождь, то снег, то солнца благодать.

То вдруг ты друг мне, то опять вдруг недруг.
То ясный день, то – грозная гроза.
Но, что бы ни было, не изменяли мне
загадочно-лучистые глаза.*



** Дивное стихотворение. Одно из лучших.*

Т. И. Сильман

* * *

*Царице моя преблагая... помози ми
яко немоощна... окорми мя яко странна...
обиду мою веси...*

Царице моя преблагая!
Беда у меня глухая.
Хоть если померить мою с Твоей –
нету беды моей.

Царице моя преблагая!
Зриши мою беду!
Конечно, она не такая,
как пришлось на Твоем веку.

Но услыши мя, яко немощну,
и узриши мя, яко странну!
Понимаю я, когда на Всенощной,
что рана моя – не рана.

А на ранней – я снова плачу.
Зриши же мою скорбь!
Ты, всех скорбящих радость,
сердцу – верни любовь!

Ты обидимых покровительница –
веси же обиду мою!
Сердцу – пошли, утешительница,
радость нечаянную!



*Здесь возникает конкретность, – скорее языковая, чем образная. Вторая половина – найдите какую-нибудь метафору к **весу** обиды, но не меняйте интонации причитания: так, чтобы причитание снимало яркость метафоры.*

И. Бродский

Из воспоминаний Юрия Глазова

В КРАЮ ОТЦОВ

Советская Немезида

<...> Теперь я стал никто. В моих услугах ни в академическом институте, ни в университете больше не нуждались. Всем плевать было на то, что моя специальность достаточно редкая. Я оказался изгоем. Меня постоянно жгла острая боль. Я только не мог показать рукой, где именно она сосредоточена.

Я оказался в той же самой ситуации, в которой год назад видел отца Глеба Якунина. Он сказал свое слово. Сам Патриарх и многие другие церковные иерархи подтвердили: «Все – правда!», но невозможно взирали на то, что человек, сказавший эту правду, был изгнан из Церкви и вычеркнут из жизни. Теперь я испытал на себе действие того же неумолимого закона советской жизни. Все потихоньку возмущаются, негодуют, изрекают в своем кругу глубокие истины об обществе, в котором живут, и прячут фигу в кармане. Тех немногих, что выступают с открытым забралом, выслушивают вполуха, а потом подвергают безжалостному остракизму. Правда повисает в воздухе. Ее воспринимает сравнительно небольшое число людей, в то время как многие посмеиваются и выражают показную жалость к человеку, попавшему в беду. Плетью обуха не перешибешь. Стену лбом не проломишь. А вот как ты теперь будешь заниматься наукой, мой милый, и как будешь кормить семью, это вопрос другой. Надо было думать головой!

Мне стало тяжело оставаться наедине с собой. В дом, в голову и в сердце вползал страх. Тот самый страх, который охватывал Мандельштама, говорившего, что он к смерти готов. То самое чувство, о котором писала Ахматова: «Страх, во тьме перебирая вещи, / Лунный луч наводит на топор». Щупальца этого отвратительного

чувства охватывали тебя, и гадкая паутина его проникала внутрь. Острая боль внутри росла. Этот страх ты читал на лицах кое-кого из друзей, которые заходили к тебе, как бы совершая похвальный, мужественный поступок. Единственное, что помогало, – это молитва. Я начинал молиться Богу, и почти сразу же становилось легче. Паутина исчезала, таял внутренний лед, и в душу входило тепло. То было сладостное и благодатное чувство. Но его нужно было бережно хранить в течение дня, не делать лишних движений, в особенности внутренних. Это было целое искусство, мне еще вовсе не знакомое. <...>

Дом мой опустел и обнищал. Нужно было экономить на всем, включая еду и, конечно, фрукты для наших детей. Одна Марина оставалась моим верным и незаменимым другом. Что испытала она в эти месяцы, когда муж ее был оставлен, покинут, едва ли не каждую неделю происходили новые разрывы с друзьями и каждый день грозил превратить ее в каторжанку или вдову, трудно описать. Но мы были живы. У наших сыновей и у Леночки оставался отец, и слава Богу. <...>

Встречи с друзьями происходили, разумеется, не каждый день. Но то были часы, наполненные мыслью и взаимной любовью. Мы согревали друг друга в дни арестов и суда над нашими друзьями, тяжелых новостей из-за рубежа. Да и в самих этих встречах был некий трагизм. Иногда казалось, что мы одни, совсем одни. Мы отчетливо сознавали свое положение: наша жизнь не давала возможности забыть его.

IV. СЛОВО ВОЗДУХА (1970–1971)

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

И вдруг щемящей тихостью все стало.
Я даже и не подозревала,
что есть такая тихость на земле.

Все обмирало. В воздухе дрожало
в том возрасте, когда все не престало,
когда совсем не знаешь про себя
и вдруг из полымя да в полымя.

Пока не вспыхнул и не переплавился твой дух,
все – белый, теплый тополиный пух.*



* *Вот!!!*

Н. Трауберг

ЧУЮЩИЙ ЛЕС

И две в лесу скрестившихся тропинки...

А. Ахматова

*Two roads diverged in a yellow wood
and sorry I could not travel both...**

R. Frost

В лесу было тихо и сыро,
и мокрой была листва,

* *В пожелтевшем лесу разделились дороги, / И нельзя было выбрать их обе...* Р. Фрост. – Перевод М.Г.

и запахом грустным сквозило
сквозь чующий лес неспроста.

Тропинки ползли в неизвестность,
и звали, и путали нас,
и, видно, в чужую окрестность
сводили как напоказ.

И дух, и дыханье, и ветер
в синонимы вдруг слились.
А над нависшим небом –
тревогу бьющая высь.

ДАЮЩАЯ РУКА

*Bonum diffusivum est sui.**

Фома Аквинский

Дающая рука не оскудеет.
Et bonum sui diffusivum est.

Край облака внезапно розовеет –
плывущего даянья благовест.

Пусть левая твоя рука не знает.
Опять цветут веселые луга.

Дающая рука – ты не пустая.
В тебе улыбка, солнце, облака.

* * *

И только зарево его молитв над островом.
И в небе, глубоко зеленом, россыпь звезд.
На этом опаленном острове так повелось.

А где-то – золотистый осенний сад!
И где-то ад!

* Добро распространяется (лат.).

И где-то нетрехмерное пространство!
И водяные брызги в солнечных лучах!
И, может, нет непостоянства
в таинственных рассыпанных мирах.

Планеты, может, негостеприимны.
Им, может, много довелось.
На этом опаленном острове
он только гость.

МОРЕ

Море северное, стальное,
суровое и непростое!
Плещутся волны твои.
Рассказывают мне они...

Я раньше не понимала.
Оно мне было чужое.
Хотела я голубое,
теплое – не стальное.

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ

Птицы небесные
не сеют, не жнут,
но Отец их питает.
А когда умирают, –
такие песни поют,
что как будто
весь мир
угасает.

ДОЖДЬ

Трава вся в изумрудах! Чистота!
Щебечут птицы! Небо голубое!
Такая радость в небе разлита!
Все бьется! Задевает за живое!

Все думали – как долго будет дождь,
как превратит дорогу в грязь и в слякоть,
как на грибной – на летний не похож,
как в сон склонит, в котором будут плакать.

Он хлынул враз! Обрушился врасплох!
Схлестнул весь сон и смысл все предсказанья!
Все выплеснул из неба и оглох
от собственного грома, и нечаянно
весь кончился.

Все дышит, все живет,
заглатывая воздух полной грудью!
Покрылся радугою небосвод,
обманываясь, будто радости
конца не будет.

ПРИКОСНОВЕНЬЕ БЛАГОДАТИ

Прикосновение благодати!
Все даром! Как благодарить?
И вся земля в весеннем платье!
И все воскресно! Все – как пить
сок из березы.
И вот уже грозятся грозы
и насылают вновь на землю облака,
которую отмыла наконец весна.
И выскочила из земли трава.

И клейкая зеленая листва
выглядывает из почек.
И радуется сама весна
от своего тепла.
И вышел прочерк
у холода и зла.
И кончилась зима.

РОЗЫ

Вчера
все розы на ее кусте
заполыхали.
А сегодня
весь куст
поник в печали.
Все ветки опустились.
Он сник и умер.
Я позвонила,
и мне сказали, что все –
что с ночи ожидали
и что сегодня утром
отпевали.

Я раньше думала,
что для метафор брали
сравненья
из явлений природных.

МАГИЯ

Это все магия.
Магия – пляска.
Мир – околдованный
ловким клоуном.

Это все цирк
и вовсе не сказка.
А позади
все же будет присказка
жизни беспечной
и, может быть, вечной
смерти.

Смеемся
и не вдаемся
в дело Артиста другого –
истинного.

КОСМОС И ХАОС

*Леночке**

А истина что есть?
Пилатова усмешка.
Дороже нам спокойствие свое.
И страшно потерять свое преобладанье.

Офелия в молитвенном молчанье.
Гертруда в проклятом слепом незнание.
И Клавдий, обделенный покаяньем
и все снимающим молитвенным молчаньем.

Иона прочь бежит от Ниневии.
А Гамлет мучится все: быть или не быть?
Обуздан сам пророк морской стихией,
чтоб космос-истину от хаоса отмыть.

* Это стихотворение, как и посвящение, мне очень памятно. Прочитав одну из статей Л. С. Выгодского о «Гамлете», я сообщила Марине, что хочу писать именно как он. После нашего обсуждения Марина написала это стихотворение и мне его посвятила, угадав, так мне кажется, мою будущую профессию, потому что впоследствии я, действительно, стала заниматься литературной критикой и Шекспиром. – *Прим. сост.*

ТАЕТ СНЕГ

*В день столетнего юбилея**

Сегодня снова тает снег.
И снегу таять помогают.
Раскидывать согнали всех –
столетний отгреметь успех.
И снег еще быстрее тает.

Опять весна. Еще одна.
Еще на год мне стало больше.
И вместо радости без дна –
как отпевается весна –
еще на год мне стало горше.

Мне хочется смеяться в смех!
Как в детстве – прыгать с крыши в снег –
кто дальше и кто выше –
и победить мальчишек!

И залепить в окно снежком!
Засыпаться в снегу!
Скататься в белый снежный ком
от счастья наяву!
Свалиться в малу-кучу –
как заболеть падучей!

И пусть меня ругают,
но только б снег не таял!

* * *

Снег был мокрый. Но тонкий, влажный,
лишь местами белый, покров

* Столетний юбилей В. И. Ленина: 22 апреля 1870 – 22 апреля 1970. – *Прим. сост.*

охранял долину. Неважно
было все, кроме самых основ.

Небо сыпалось хлопьями тихо,
мягко, ласково, непрерывно.
И тревожно было, пустынно,
настороженно – над долиной.

Бледно-серое небо нависло.
В теплых хлопьях все растворяясь,
очищаясь и постепенно
в сине-серое превращаясь,
оно тихо спускалось с повинной
ко своей земной половине.

Длинно-черные тени деревьев.
Звезды. Ночь. Откровение сказки.
Мягкий блеск. Голубое свечение.
Только горестной была ласка.

ВОДЫ ВЕШНИЕ

Безутешные воды вешние.
Безутешная сама капель.
Плачет, плачет, а ведь безгрешная.
Что оплакивает? Поди проверь!

Поменялися вёсны-осени.
А то и впрямь – на одно лицо.
Непогодятся – и не вдосталь им
неухоженное крыльцо.

Безутешное, опустевшее.
Дверь поскрипывает на ветру.

Видно, плачут те воды вешние,
что никто нейдет ко двору.

* * *

Пошли дожди вперемешку со снегом.
Потом холода держались.
И были желанны зима и лето.
И все времена продвигались.

Вращались колеса историй и былей.
И брезжило утро. И ночи,
измучившись осенью мраком постылым,
вновь становились короче.

И невезение как осеннее,
не проходя, моросило.
Но беспорядочно сердце весеннее
снова надежду било.

И снова в снега одевалась земля.
И ночью волшебнo-хрустальной
сияла елка. И хрусталем
надежда светилась радостно.

И вот уже Рождество отходило
и в прошлое, и в будущее.
Солнцеворотом себя обратило
время. Не прямо – а круговищем.

И умирали, выпав из времени.
И время тогда шло мимо.
И очищались алхимией древние.
И все становилось старинным.

ОКРАИНА

Тут города окраина.
Как будто неприкаянна
я в городе. А здесь
мне все как будто есть.

Но впремежку с кранами,
как будто бы придавлены,
дома настрожились,
как будто провинились.

Вы не дома – домишки.
Вы покосились слишком.
Все скоро будет скрыто,
как будто бы убито.

Но все еще пока
разрыв в цивилизации,
из моего окна
видны ваши акации.
И даже фонари
как будто им сродни.

А самое, что очень –
собаки лают с ночи,
а утром петухи
горланят, что есть мочи,
и тут офонареть –
так запросто и впрочем.

Но града разрастание
не терпит пререкания.
Болотце превратилось
в бассейн. В нем засветилась
изменница-луна.
Как будто бы вольна

быть в выборе. Лягушки
как будто бы подружки
убитым соловьям.

Они в едином хоре
оплакивают горе.

ГЛОТОК ВОЗДУХА

Времена. Расстояния.
Душепагубные обстоятельства...

Опять стороной оборотной.
Как будто из-под воротни
черной кошкой метнулось,
глазом зеленым сверкнулось.

Надежд несостоявшихся трагедия
и перевалы времен.
Мы в пропасть скатываемся,
а не куда-то едем
и, тем более,
не взбираемся на небосклон.

И твердость принятого решения.
И оплакивание его ночью.
И глоток воздуха при пробуждении
становится вдруг спасительным.
Очень.

ЭТО БЫЛО В АПРЕЛЕ...

Твои осенние волосы
и голос весенний...
И все смотрели на нас,
и смотрели
ели...

И все не смели
нас задевать...
Это было в апреле...

ВЫБОР

Когда щебетали птицы,
ты твердил, сам себе не веря:
– Лучше в руке синица,
чем журавль в небе!

И продолжал гордиться,
что выдержал и не снится
больше тебе журавль,
как в облаке ты с ним плавал.

Плачет твоя синица.
Крылышками приникла.
Не весело ей, не спится.
А ты – журавлиным кликом.

И в тайну давно проникла
вся стая, увидев, как сник он.
Отбился от стаи и тает
и жалости не допускает.

Из воспоминаний Юрия Глазова

В КРАЮ ОТЦОВ

Последняя зима

<...> В декабре 1971 года власти предрержащие наконец сообразили, какую опасность представляет для них Галич, чьи песни распевала и цитировала интеллигенция страны и даже такие люди, как Вадим Солнцев. Правда, пример Вадима Солнцева как раз доказывает, что какая-то часть советской интеллигенции слушала эти взрывоопасные песни для щекотания нервов и без всякого ущерба для системы.

Расправа с Галичем была короткой и суровой. Его вышвырнули из Союза писателей, из Союза кинематографистов и даже из Литфонда. Все это проделали в течение не более чем двух недель. Печально было то, что случилось это под Новый год, иными словами, под праздник, с которым люди связывают свои надежды на лучшее будущее.

Образованные москвичи любили Галича, быть может, более, чем кого-либо другого. Он держался просто, в нем отсутствовала гордыня. Его талант ценили и жили им. Но теперь, когда его отовсюду выбросили, меня потрясло, что никто не сказал ни слова в его защиту. Знакомые пожимали плечами, как бы спрашивая: «Что можно сделать против этой напасти?» А когда я упрекнул в бездействии своих друзей-диссидентов, жена моего друга швырнула мне в лицо гневное: «Крови жаждешь?» Правда, она тут же извинилась, а я понимал, что меня уже занесло. Меня упрекали за то, что я собирался «катапультироваться» за рубеж и мне уже нечего терять. Это было правдой. Любое подписанное мною письмо или акция протеста с моей стороны могли либо спровоцировать мою посадку в тюрьму, либо облегчить мне выезд за границу.

Я часто навещал Сашу Галича на его аэропортовской квартире. В ту пору я написал в защиту Галича письмо «Слово друзей». Через некоторое время оно попало в «Нью-Йорк Таймс». Письмо это подписали несколько человек, но, к моему глубокому сожалению, намного меньше, чем я мог предположить. Наше письмо кончалось словами самого Галича: «Вот как просто попасть в палачи, промолчи, промолчи, промолчи!»

Саша Галич оказал на меня в свое время громадное влияние своими песнями. С его женой Ангелиной Николаевной, или, как ее часто называли в кругу близких, Нюшей, у меня со временем установились дружественные отношения. Я был счастлив, что Нюшенька от всего сердца полюбила Марину. Она была необычная женщина и обладала большим и острым умом. Нюша предвидела напасти и беды, навалившиеся на ее мужа. Галич не совсем был готов к испытаниям, выпавшим на его долю. Без боли нельзя было в то время смотреть на него. С ним случился очередной сердечный приступ. При своей необыкновенной общительности и при всеобщей любви, которой он был окружен еще несколько месяцев назад, Галич никак не мог привыкнуть к остракизму, никак не ожидал, что число друзей, готовых выступить в его защиту в самый горький час его жизни, будет столь мизерно. И ведь он, а никто другой пел: «Уходят друзья... одни в никуда, а другие – в князья». И все-таки кто мог предвосхитить это молчание, это малодушие, это безразличие? Даже для меня, прошедшего сквозь горький опыт, малодушная реакция интеллигенции на гонения против её любимца была нестерпимо оскорбительной и садняще-разочаровывающей. Среди моих знакомых многие говорили: «Подумаешь, исключили из Союза писателей! Из этой бандитской организации. Ну и что? Можно только радоваться этому!» Но писателя лишили куска хлеба. Его обрекали на голод, на нищету. Что было мне сказать, когда, придя к ним домой, я видел, как он, лежа на диване, внимательно и напряженно ловил радиоголоса, пытаясь что-то услышать о себе? Но напрасно крутил он ручку настройки. Голоса молчали. Я это в свое время познал на собственном опыте. Скажут раз-два и замолчат, считая, что иначе они причинят большой вред уже и так пострадавшему человеку. И, обращаясь ко

мне, он почти умолял: «Юра, сделайте, чтоб сказали несколько слов. Хоть что-нибудь!» Горько и мучительно было слушать это.

Он продолжал болеть и в последующие месяцы, но духовно приходил в себя после первого шока. Мы говорили с ним о многом. Это были удивительные и прекрасные разговоры с человеком тонкой и большой культуры. Нас многое роднило. Галич принял крещение в Православной Церкви и с гордостью говорил о крестившем его отце Александре Мене. Он тоже знал и любил «тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо». А я думал о моих отношениях с пастырями, которые вводят в мир веры. Я чувствовал, что отошел довольно далеко от них. В доме Галича я несколько раз видел Ольгу Всеволодовну Ивинскую, подругу Бориса Леонидовича Пастернака. Она была по-прежнему красива, мила, нежна. Мы о многом с ней говорили. Все связывалось в один узел, и живые тени прошлого снова вставали и помогали жить. А Галич грозно предупреждал гонителей Пастернака: «Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку!» <...>

<...> Как это так случилось, что в описываемое мною время, когда я ждал от властей решения своей судьбы, нас с Мариной и Леночкой окружали удивительные, невероятно интересные люди? Мы наслаждались общением с ними. Как человек, приговоренный к смерти, наслаждается каждой минутой, отпущенной ему до рокового мгновения, так я жадно вбирал в себя чувства и мысли моих друзей и знакомых, многие из которых оказались совершенно новыми для меня, хотя я и слышал о них ранее.

По утрам прибегал к нам наш сосед Эмочка Коржавин, как всегда, возбужденный, с новым письмом властям, которое он, скорее всего, положит под сукно, или с новым стихотворением. Полный, добрый, близорукий и при всем своем уме нелепый и нескладный, он начинал задыхаться в обществе, где ему не хватало воздуха:

В царстве лжи и греха
Я б восстал, я сказал бы: «Поспорим!»
Но мои потроха
Протестуют... А я им – покорен.

...Я мешок потрохов,
Но тоскую, тоскую...

Больно было слушать этого талантливое человека, чьи стихи я очень любил и люблю. Эма оказался в заколдованном круге. Он сам же говорил об этом: «Я тут погибну, но и там умру!» Он ходил по комнате, нервно ломая пальцы, и напряженно думал свою думу. В те дни он написал много прекрасных строк, но некоторые из них особенно запомнились:

Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?..

Собрался в дорогу Гриша Свирский. Мне была очень дорога его семья. Мне нравился его сын Фима, я обожал напряженное спокойствие и высокое достоинство Полины, жены Гриши – женщины поистине изумительной, правдивой и, вероятно, святой. С лица Гриши, хорошего и умного русского парня, прошедшего войну, не сходило выражение тревоги. Возможно, это были озабоченность будущим, сомнение в правильности решения уехать из страны его родного языка, его любимой литературы. До сих пор я слышу его характерное: «Послушай, старик...»

Приходил мой шафер Владимир Кормер. Он тоже готовился к отъезду, но не слишком торопился. Сначала он хотел закончить очень важную для него работу. Владимир приглядывался к обстановке вокруг нас. Я не читал еще его последнего романа о диссидентах. Вероятно, он что-нибудь язвительное написал и обо мне. А может, и нет. Мы любили друг друга, и он говаривал: «Ты, Глазов, уедешь на Запад и расцветешь там. Только смотри, не скандаль!»

Мой лучший друг последних лет Боря Шрагин переживал трудное время. В те дни я видел его задумчивым, язвительным, часто слегка под градусом. Он выискивал блох в моих эссе и читал, читал вслух не понравившиеся ему строки. Раньше я не замечал в нем этой черты. Я упрекал его в неспособности оценить обстановку и в склонности все к тому же марксизму.

– Ты делаешь ошибку, Глазов, – повторял он. – Выражаясь твоими же образами, ты влюбил в себя женщину, но не удовлетворил ее ожиданий. Ты бежишь от нее в момент, когда она готова была тебе отдаться. И куда ты уезжаешь от такой любви людей к себе? Ты все ищешь гармонии в себе и в обществе. А жизнь полна трагизма. И самое главное, надо отбросить надежды, жить без иллюзий. Лучше не будет, и нужно видеть жизнь такой, какая она есть.

Наташа молчала. Она смотрела на меня своими грустными красивыми глазами, в которых было что-то от ягненка, отдаваемого на заклятие:

– Нет, Борька, ты неправ. Юрка должен уехать. Ему там будет лучше. Нас все предали. И если мы выжили в эти годы, то только чудом.

ПИСЬМО Ю.В. АНДРОПОВА*

СССР

Комитет Государственной безопасности

при Совете министров СССР

«19» февраля 1971 г.

№ 449 – А/ов

гор. Москва

Особой важности

Рассекречено

ЦК КПСС

В дополнение к нашему № 368-А/ов от 12 февраля с.г. сообщаем, что круг группирующихся вокруг академика САХАРОВА А. лиц, известных своими враждебными убеждениями, расширяется.

В последнее время с ним установил контакт, стремится сблизиться и оказывать на него определенное влияние ГЛАЗОВ Юрий Яковлевич, 1929 года рождения, русский, беспартийный, кандидат филологических наук, бывший младший научный сотрудник Института народов Азии Академии Наук СССР, исповедует православную религию.

В 1968 году ГЛАЗОВ вместе с П. ЯКИРОМ, Л. БОГОРАЗ, П. ЛИТВИНОВЫМ и другими (всего 12 человек) подписал письмо в Президиум Консультативного совещания коммунистических и рабочих партий в Будапеште, в котором с антисоветских позиций описывалась действительность в СССР и ход судебного процесса над ГИНЗБУРГОМ, ГАЛАНСКОВЫМ и другими. Администрация института пыталась, в связи с этим поступком ГЛАЗОВА, оказать на него положительное воздействие, однако он заявил Ученому Совету института, что за свои убеждения готов идти «хоть на костер» и считает судебные процессы над СИНЯВСКИМ, ДАНИЭЛЕМ, ГИНЗБУРГОМ, ГАЛАНСКОВЫМ и др. репрессиями властей по отношению к «инакомыслящим» в Советском Союзе. По решению Ученого Совета института он был уволен с работы за действия, недостойные звания советского ученого. В настоящее время ГЛАЗОВ нигде не работает, занимается переводами по договорам.

* Письмо найдено в Архиве ЦК по делу А. Д. Сахарова и опубликовано нами с любезного разрешения Е. Г. Боннер («Звезда», 1997, № 8, с. 214-215). Содержание письма указывает на то, что Ю. Андропов готовил моему отцу процесс с обвинениями в терроризме и шпионаже. – *Прим. сост.*

В одной из бесед с САХАРОВЫМ, состоявшейся вскоре после их знакомства, ГЛАЗОВ прямо высказывал САХАРОВУ восхищение его «политической» деятельностью, давал ей высокую оценку, называл САХАРОВА «совестью современной мыслящей советской интеллигенции».

С целью возвеличивания роли САХАРОВА в жизни современного советского общества, ГЛАЗОВ уверяет его, что освобождение Н. С. Хрущева от занимаемых постов произошло якобы благодаря написанной САХАРОВЫМ в ЦК КПСС записке о взаимоотношениях ХРУЩЕВА с учеными.

Используя намеренную лесть, ГЛАЗОВ вместе с тем дает понять САХАРОВУ, что пора перейти от выражения своего несогласия с отдельными мероприятиями партии и государства в области внутренней и внешней политики к их глубокому анализу и выработке на его основе некой «доктрины», направленной на «исправление положения в нашей стране». При этом ГЛАЗОВ высказывает твердое убеждение, что благодаря известности и заслугам САХАРОВА активизация его «политической» деятельности не повлечет за собой в отношении него каких-либо репрессивных мер со стороны соответствующих органов. Говоря о формировании указанной «доктрины», ГЛАЗОВ в осторожной форме проводит аналогию между советской действительностью и обстановкой в России в 70-х годах прошлого века. С этой целью он вспоминает террористов-народников и осторожно прощупывает отношение САХАРОВА к их методам. Встретив со стороны САХАРОВА неодобрение террора, как средства политической борьбы, Глазов пытается внушить ему мысль, что сейчас якобы настало время и для таких действий.

Обращает на себя внимание факт, что ГЛАЗОВ обсуждал аналогичные вопросы с другими антисоветски настроенными лицами, выражая уверенность, что выстрелы ИЛЬИНА в Кремле будут повторены современной молодежью.

Большое внимание ГЛАЗОВ уделяет выяснению у САХАРОВА характеристик и личных качеств руководителей КПСС и Советского правительства, с которыми САХАРОВ встречался ранее по служебным делам.

С неменьшей скрупулезностью ГЛАЗОВ ставит вопросы об истории создания ядерного и термоядерного оружия в нашей стране, о личном вкладе САХАРОВА в это дело, о степени его осведомленности в области ядерных исследований в настоящее время. Наряду с этим он навязывает САХАРОВУ мысль о том, что сейчас САХАРОВ свободен от ограничений режима секретности и может выезжать за границу, встречаться с иностранцами в Советском Союзе.

Анализ бесед САХАРОВА с ГЛАЗОВЫМ показывает, что последний ведет себя по отношению к САХАРОВУ провокационно и подстрекательно, по существу толкая его на активизацию антиобщественной деятельности. Не разделяя рассуждений ГЛАЗОВА о терроре и его мистицизм, САХАРОВ соглашается с необходимостью выработки «доктрины» – политической платформы, объединяющей разные направления «инакомыслия» советской интеллигенции, и подчеркивает, что эта «доктрина» должна быть сформулирована в виде коллективно подготовленного документа.

Комитетом госбезопасности принимаются меры к выяснению причин интереса ГЛАЗОВА к государственным секретам с учетом того, что он поддерживает письменные связи с рядом американцев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
АНДРОПОВ

V. СЛОВО РАССТАВАНИЯ (1971–1972)

* * *

Помню, как в тот вечер
зеркало разбилось.
То ли по привычке –
я перекрестилась.

А как вышла из дому –
у ворот
пробежал таинственно
черный кот.

Думала:
– Все это есть, конечно, да,
и в опыте народном
неспроста.

Я себе сказала:
– Не боюсь!
Чтобы ни случилось –
ну и пусть!

Я уже три раза
в жизни умирала,
а потом, наверно, чудом
воскресала.

* * *

Я помню – осень наступила.
Стоял сентябрь. И где-нибудь
уж солнце щедро золотило
холмы, благословляло в путь.

Но здесь был край глуши озерной.
Холмы, сбегавшие к воде,
хотели солнца, воздух горный,
а быть должно было беде.

Над озером висели тучи,
и освещались тускло кручи.

Вдруг
налетевший ветер в клочья
порвал беду,
и солнца свет
снопом ворвался непорочным
у всех ненастий на виду.

* * *

Листья жаловались, падая.
Листья с веток отряхали
и, взмолившись в небо ветками,
ничего не понимали
одинокие деревья.

И шуршали листья: «Брошены...»
И шумело что-то в ветках...
И волненье было общее.
И недоуменье ветхое.

И глазели, проплывая,
облака на ветки голые.

И друг друга обвиняли
листья с ветками за многое.

* * *

Краны, дома из панелей –
спичечные коробки.
Разных сооружений
езде понастроили.

Эйфелевой башней
из моего окна
вытянулись по небу
вышка и провода.

Облачный гусь все тянет,
тянет шею свою
и за окно уплывает
навытяжку
и, может, в беду
в следующем перерожденье,
а может, вдруг в ускоренье
кармы на сем веку.

Небо – то голубое,
то закручинится враз.
Окутается пеленою,
как будто стесняется нас.

Вот уж опять рисуется
картинками, голубится.
А по ночам, как людям некоторым,
и ему не спится.

И ночью, бывает,
рассердится.

Выстынет в лунном сиянье.
Вдруг в бархатное растеплится.
И все – на каком расстоянье
глядишь на него – зависит
от широты – от выси.

Есть у Парижа башня.
Для кого-то она – всегдашняя.
Для кого-то, должно, вчерашняя.
Для кого-то – все никогдашняя.

Есть у меня своя –
за дорогой – напротив окна,
вместе с моей судьбою.
Небо – ты надо мною.

* * *

На вокзале я вдруг поняла,
что была я тогда неправа.
Захотелось вдруг – не быть правой!
Только б это был – не лукавый!
Не сулил бы, что это так!
Не тянул бы опять впросак!

Все толкаются. Щас отходит!
И как мозг мой – все хороводит.
Вот минута – и опоздаю.
Все бегут и не отступают.
Запихнулась в тисках с толпой.
Еду, еду – ну впрямь – с тобой!

Еду, еду по белу свету!
Ни конца и ни краю нету!
Ах какая жуть-благодать –
никаких краев не видать!

Ты как будто со мной застигнут.
Сдавлен в давку и в пьяном дыханье.
В перебранку. Ах! Щас все выстынет!
Расставание! Расставанье!

* * *

Аховая была у меня эта осень.
Да и потом – весна.
А у вас появилась за это время проседь.
Говорят, что вся жизнь такова.

Только вечнозеленые сосны
не страдают, что снова осень,
что в невинного камень бросить
можно запросто, вслед – другой.
Не шелохнется лес. Покой.

Смысл неведомого им, видно, ясен.
В основном они просто спокойны.
Просто видят, как мир прекрасен.
Мы их, видимо, недостойны.

Может, кто-то и есть сопричастен
тайне вечности и покою.
И, конечно же, мир прекрасен,
и невидимый, и все такое...

Мне на зависть их вид бесстрастный.
Правда, зависть – плохое чувство.
А еще мне нравится ясен
и когда на душе не пусто.

* * *

Все было мне зеркальным отражением.
Зеркальным отражением и тенью.
К кому-то я была с пренебрежением,
и мне такое же откликнулось со временем.

Приставка раз- нашла -очарование,
а откровение – что что-то было ложью.
Мне было свойственно непонимание
совсем простых вещей – куда уж сложных!

Я вся вопьюсь в свое очарование,
сойду с ума иль выйду в полоумье.
Но мне мешает вас распознавание
и горький плод холодного раздумья.

* * *

В комнате трещало от ламп дневного света.
В голове – от высказанных слов.
Я давно предчувствовала это.
Получила, в общем, свой улов.

И стою, и бью ногой по снегу.
Бью, стихийно высверлив дыру*.
Разбивая душу на потеху
и распутывая сложную игру.

И конем, как говорится, не объехать
прорубь леденящую судьбы,
хоть трещит от собственного смеха
половина добрая беды.

Но, нащупав что-то осторожно,
я прошу склониться надо мной

и, конечно, если только можно,
вывести куда-то по кривой!



* И стою, и бью ногой по снегу.
Бью, стихийно высверлив дыру.

*Это мне очень нравится, и этого простого
бешенства ни у кого нет... Эти две строчки очень
хороши, но запятую следует, по-моему,
поставить после «стихийно».*

Но, нащупав что-то осторожно,
я прошу склониться надо мной
и, конечно, если только можно,
вывести куда-то по кривой!

Плохо

И. Бродский (Из письма 1974 года)

* * *

Летели хлопья наяву.
Под светом фонарей кружилось.
И по твоим словам – в вину
мне происшедшее вменилось.

Летели хлопья. Снег поскрипывал.
Луна пугалась быть свидетелем.*
Столбы фонарные запрыгали:
ты превратился в Вы при свете их.**



* Во 2-й 4-й строках рифмы следует переменить
на мужские. Попробуйте это сделать: жаль
терять последнюю строку: она сильна.

И. Бродский (1974)



** Стихотворение мне очень близко.

Л. Лосев

ТЫ ЦЕЛУЙ МЕНЯ ПОСЛЕДНИМ ЦЕЛОВАНИЕМ

Ты целуй меня последним целованием!
На себя смотрю со стороны.
Отпевай твоим мужским рыданием,
как уснувшие, мои черты.

Я прозрела вдруг. Я вижу, что ты думаешь.
Слышу, что неслышно говорят.
Нежным-нежным прикасаюсь поцелуем я.
Слышишь? Нет. Не слышишь. Если в ад

я теперь, тогда – прощай надолго!
Ты совсем в другое отлетишь.
Лишь сейчас я увидала многое.
Что имеешь, правда, не хранишь.

Ты целуй меня последним целованием!
Ты прости за то, что в жизни не сумела!
Ты прости меня перед прощанием!
Ты прости, пока не отлетела!

* * *

Будут люди отходить, как отходили.
Одиночество сожмет в кулак.
Посреди зимы
встревожатся озимые,
испугаются: «Опять не так!

Не покрыты снегом! Все растаяло!
Заморозит! Грянут холода!
Что нам делать? Что-то не раскаяно?»
Вместо снега падает беда.

* * *

От чьей-то смерти где-то что-то возникало.
Хрипело небо, разорвавшись. Ветер выл.
И кто-то вновь убитый горем был.
И где-то что-то слезно умоляло.

И горе было так нескрываемо.
И отличалось оно от горя Каина.

От чьей-то смерти где-то что-то возникало
и, ошалев от счастья, ликовало.
Оно не ведало – оно не знало.
Жизнь шла вперед. Она не разбирала.

* * *

Остановились
все песочные часы.
Как будто все
Господним Временем
забилось.

Стеклись все слезы
реками земли.
И сердце мира
в море
превратилось.

Стеклись все слезы,
реки, времена.
Еще минута до начала
потопом
хлынувшего*
Суда.

И бьются лодки
у Причала.



** Здесь усечение стопы производит
ослабляющий эффект. Надо бы
подумать. Стихотворение очень
хорошее, лучшее у Вас.*

И. Бродский (1974)

БЕГУТ ЗА ДНЯМИ ДНИ

Я проводы вверяю проводам...

М. Цветаева

Бегут за днями дни.
То медленно, то быстро.
Попробуй сохрани!
Ах, все равно все выстынет!

Мелькают, как всегда,
и столбики, и птицы.
Одни лишь провода
стремятся удлиниться.

Бегут за днями дни.
Я движусь вместе с ними.
И мне они совсем
становятся родными.

Мелькают судьбы, лица.
Торопятся года.
И за беду беда
стремится уцепиться.

И плачут журавли.
Я плачу вместе с ними.

И мне они совсем
становятся родными.

МОЛИТВА

Где-то красное смещение.
Не могущую вместить,
упаси меня от мщения!
Помоги мне просто жить!

Помоги мне не отчаяться!
Помоги переползти!
И когда-нибудь покаяться
и суметь сказать: «Прости!»*



* Да!!!

А. Галич

ПРОЩАНИЕ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ СКОРБЬ

*So let us melt, and make no noise,
No teare-floods, nor sigh-tempests move...*

John Donne, A Valediction:
Forbidding Mourning*

Я плачу
морем слез
в бурлящий океан.
Во мне самой
все бьется.
Швыряет камни взбешенный титан.
Над океаном он хохочет. Он смеется.

* Так будем таять мы, не пророня ни звука, / Не будет слезных рек, ни вздохов грозowych... Дж. Донн. Прощание, запрещающее скорбь. – Перевод М.Г.

Озлоблен его смех. Раздуты ноздри.
Кипит его слюна, и страшен взгляд.
Неистово вколачивает гвозди,
и Ты –
опять –
опять –
опять распят.

Я плачу.
Господи! Благодарю...

Благодарю!
За что?
Сама не знаю!

За то, что больно мне,
когда смотрю,
как бьют Тебя,
как проклинаят.

Я плачу.
Плачет все во мне.
Мне больно руки.
За ливнем моих слез –
Твое лицо, застывшее от муки.

Мне страшно.
Все мои слова – банальны.
Мне только больно,
и я только плачу.
Я не умею стать лицом к лицу,
и никогда я не рассчитываю сдачу.
Я – жалкий хлюпик и слезливые стишки
способна только нацарапать.
Наверно, надо стать как море-океан
и перед ними

никогда
не плакать.

Я не умею.
Господи! Прости!..

* * *

А я шел на шесть двадцать пять...

Б. Пастернак

Перебираю карточки с отчаянья.
Прочла у Пушкина: «...отцовские гробы...»
Петушьё восклицанье только тайной
нам предсказует линии судьбы.

И замолкает, не окончив фразы.
Последняя нам остается ночь.
Нельзя повременить, послушаться приказа –
ко всем чертям чтоб убирались прочь!

Нельзя перерешить. Уже ведь брошен камень.
Рассвет уж близок. Всё. И каждая деталь
цепляется за сердце. Так веками
заплаканные очи смотрят вдаль.

В глазах опять – до слез знакомый город.
Но все бегут дорожные столбы.
И надо прыгнуть всей судьбою в омут,
порвав все обращения на ты.

Что нам сулит петушьё восклицанье?
И руки невозможно удержать.
А поездов – все то же расписание.
И можно выйти на шесть двадцать пять.

*Апрель 1972
Шереметьево*

Из воспоминаний Натальи Трауберг

САМА ЖИЗНЬ

Пярвалка

Помню, Юра много говорил о Сахарове, теперь солью земли был он; ну, это хоть правда. Солью были и церковные люди, что правда далеко не всегда; но недалек был час, когда тот же Юра гремел, завидев неопитов: «На капустке спасаетесь?!» Кажется, мы еще не прозвали его Иеремией*, но случилось это очень скоро.

На Яшкино трехлетие мы были уже в Москве (я – на побывке, еще не знала, что скоро вернусь совсем), и крик за столом стоял такой, что треснешь. Смысл его сводился к дихотомии: «Тот, кто едет, предатель»; «Тот, кто не едет, коллаборационист». Но это другой рассказ.

Мы не знали, что лето 1969-го будет для меня там – последним, для других – предпоследним. Уже к концу 1970-го Глазовы жили отъездом, а весной 1972-го, в конце апреля, уехали.

Последняя картинка: что-то забарахлило, они все не летят, сидят за стеклянной стеной, а мы стоим внизу. И мы, и они всячески показываем, что не в отчаянии, но вряд ли нам это удастся.

В одном из первых писем Марина прислала стихи: «И вспоминаю тот залив, / И Пярвалку, и дюны, / И на тропинках Натали, / Дум грустных грустный улей». Мама восклицает: «Ну конечно! Чего от тебя еще дождешься?» Женечка Левитин возмущается рифмой «дюны» – «улей» и не верит, что «у» и «ю» годятся для ассонанса. Другие читают и плачут. Мы много плакали тогда, все-таки становилось легче.

* Как уже указывалось выше, Иеремией назвал папу Наум Коржавин. – *Прим. сост.*

Из воспоминаний Юрия Глазова

В КРАЮ ОТЦОВ

Последние часы на родной земле

В нашей квартире, которая уже не наша, стоит неслыханный гул. Шумят и пируют запорожские казаки. Они уже отписали свои письма турецкому султану, восседающему за кремлевской стеной, или готовят новые. Среди них крутятся и мои сыновья: Гришенька и Яшенька. Вырастут – добрые будут казаки. А поворотись-ка, сынку! Господи, как случилось, что мне надо увозить их с Родины? Запомнят ли они этот вечер? Бедная моя Мариночка! Моя жизнь-ночка – с такими нежными руками, с такими хрупкими плечами!

И все-таки, несмотря на мучительную боль расставания, ты не можешь не знать, что сиротами наши дети теперь не станут. А вот и моя дочка! Она тоже окружена друзьями и знакомыми. Но и она страдает: в России остаются ее жених и мать. У Миши – великие планы религиозного обновления России с помощью его православных гавриков. Я не верю им, не верю и ему. Но Бог с ними. Быть может, я не прав. О, как бы я хотел оказаться неправым!

Сегодня мы веселимся, гуляем и пьем. Черт возьми, ведь заслужили же мы хоть бы один час настоящего веселья. Да к тому же и пора произносить тосты. Кому удастся, втискиваются в комнату Леночки, что напротив моего кабинета, который по ночам служил нашей с Мариной спальней. И мне, идиоту, только в самые последние недели пришла мысль, что они подслушивали нас с Мариной в сугубо «аполитичные» минуты нашей жизни. И если бы я не решил уехать по политическим соображениям, то одного только этого подслушивания и подглядывания через замочную скважину было вполне достаточно, чтобы решиться на перемену координат.

Вокруг столов, расставленных вдоль комнаты, сгрудились мои друзья и мои духовные братья. Вот неумолкающий Эмка Коржа-

вин, всеобщий любимец. Рядом с ним – красивая и величественная Любаня. Она все выдерживает, даже частые полугневные-полушутливые выкрики мужа: «Любаня – сука!» В Любане удивительно много достоинства, но еще больше, пожалуй, любви к Эмке. Они уже, кажется, тоже собрались в дорогу. В Эмкином «здесь погибну и там помру», по всей видимости, начинает перевешивать «там помру», иными словами, тяга к естественному умиранию, а не к насильственной гибели. После отъезда наших общих друзей Сани Авербуха и Гриши Свирского, Панина и Иссы, после крутых разговоров в Союзе писателей, где Наум не отрекся от Солженицына, он тоже решил «намыливаться». Ужасное слово, но во всем виноват мальчик Володя, которого разбудили декабристы и Герцен. Как писал Коржавин в том же стихотворении, «нельзя в России никого будить».

Тут, конечно, и наша Натали: все еще красивая, умная, бесстрашная. Не все мои друзья решились прийти на сегодняшние проводы: боялись, что засекут. Мне будет очень сильно не хватать тебя, Натали. Спасибо тебе за дружбу, за науку, за Пярвалку, за любовь к Марине и ко мне, к Леночке и мальчикам нашим. Я никогда не забуду этого твоего взгляда, быстрого, полного энергии и ума. Я буду скучать по твоему нетерпеливому: «Юра, ты такой глупый!», ибо поистине в твоих устах и хула – похвала.

Загрустила Наташа Садомская. Сжала губы, опускает глаза, чтобы не разреветься. Она в эту минуту, кажется, не замечает, что Алька, как она называет Александра Есенина-Вольпина, трогательно касается ее руки в порыве дружеской нежности. Мы любим с тобой друг друга, моя сестричка Наташа. Мы с тобой так много вместе прошли. Ты слишком часто бывала в этом доме, чтобы не думать сейчас о том, что послезавтра – мои «аэропохороны» и вам с Борькой незачем будет ездить сюда, в Беляево-Богородское, разве что поплакать под окнами опустелого дома. Мы слишком за это время сроднились, чтоб наш отъезд не задел глубоких струн души. Через два месяца ты напишешь мне в Рим, что уверовала в Бога. А пока ты думаешь о том, что ждет твоего Борьку тут. Прости за наш отъезд. Поклоном земным благодарю тебя за твою чистую

светящуюся любовь к Маринке, как ты ее всегда называла. Без вас с Борькой, без твоих лучистых, грустных и немножко лукавых глаз, полных такой неземной доброты и мудрости, без этого вечного Борькиного возмущенного: «Ну, что ты, Глазов, такое говоришь?» – мы бы не выжили с Мариной в эти годы. <...>

Кому же все-таки произносить первый тост? Как кому? «Отцу русской демократии», сыну великого русского поэта, проронившего в конце своей жизни: «В своей стране я словно иностранец». Алик тоже собрался в дорогу и представил необходимые анкеты в ОВИР. В глазах его сияет надежда: наконец-то он вырвется из края, где столько раз его бросали в психушки, где ему постоянно мешали заниматься научной работой. Его жена не собирается ехать с ним. Это для него печально, но свобода важнее. Для меня, по моей глупости и близорукости, самое главное – уехать. А Алик, перебирая пальцами перед глазами, рассуждает о необходимости отстаивать право на возвращение. А пока у нас такого права нет, надо просто уезжать. Правда, доехав до Рима на поезде, он вдруг осознает, что в Израиль ему никак нельзя, ибо там установились такие порядки, против которых он всю жизнь боролся здесь.

Алик Вольпин, наполнив свой стакан – а об этом он ни при каких условиях не забудет, – провозглашает тост. Он лаконичен и даже тут придерживается строгого юридического языка:

– За право передвижения в этой стране! Мы боролись за него и будем отстаивать это право. Равно как и наше право возвращаться назад. А коль скоро можно будет свободно выезжать и возвращаться, то отпадет и необходимость в эмиграции!

<...>

Перед отъездом из дому молимся. Натали и Миша тоже здесь. Они молятся с нами, потом помолятся еще. Спасибо им. Тут же и Володя Кормер. Рассказывает, что вчера беседовал с Маршаллом Шульманом, директором Русского института при Колумбийском университете. Маршалл обещает, что работа будет. У меня есть приглашение в Лондон. Но сейчас я об этом не думаю. «Если мы победим, у нас будет много прекрасных коней». Кажется, так сказал Спартак перед решающим сражением.

Прощайте, стены нашего последнего московского пристанища! Прощай, моя берлога, прощай, западня! Мариночка, моя родная! Неужели это правда, что мы с тобою уезжаем из этого прекрасного мира в другой – неизвестный, но все-таки свободный? Неужели же это правда? Прощай, родное гнездо! Гнездо бандитов, как сказал великий человек. Не успели мне все-таки свернуть голову. Не успели, не смогли, не захотели, неловко им было это делать на виду у всех. «А и правда, мне отдохнуть не грех». Прощайте, милый Саша Галич! До свидания, Андрей Дмитриевич! Жаль, что мы не повидались перед отъездом, но я буду часто говорить с Вами из Бостона. До свидания, мой милый отец Василий! Прости и ты меня, мой милостивый батюшка! Спасибо за твой привет, за доброту в ненастный час, за то, что согревал душу мою! Нет, не радость у меня в душе. До свидания, милая Мария Андреевна. Спасибо Вам за многое. Не судите меня, что увожу Вашу дочь и внуков в далекие края. Но что мне делать? Не принимает меня власть. А у меня с нею никаких расхождений, кроме как по земельному вопросу. Она хочет, чтобы я в земле лежал. А я хочу, чтобы – она.

Прощай, наш дом. Прощай, наша кухонька. Прощайте, наш двор и соседи. Прощайте, Тоня и Гора. Спасибо вам, спасибо вашей маме. Спасибо, милая Елена Марковна – через Вас шла помощь от любящих меня людей из Петербурга. Прощайте, друзья детей наших. Пишите, пишите. Мы пришлем свой адрес – если вам не страшно будет писать нам. Прощайте все, кто высыпал в этот утренний час во двор проводить нас. Мы усаживаемся в несколько машин. С нами едет множество друзей. Некоторые соседки плачут. Ни одна не сказала дурного слова, не посмотрела зло. Спасибо за это. Земной поклон вам, русские люди, в этот весенний день 1972 года. Не поминайте лихом! Я сделал что мог. А остальное – и многое – будет сделано другими людьми. «Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь, но поражение от победы ты сам не должен отличать». Поражение ли это? Мы не обещали выиграть битву, но не хотели и не имели права гибнуть молча. <...>

Прощай еще раз, наш последний крупнопанельный дом и наши окна на втором этаже. Прощайте, окрестные холмы, лесок, где я

бродил и молился. Неужели же все это не сон? Как мог произойти этот кошмар в нашей жизни? Иль «я убийца и злодей»? Марина ни жива ни мертва: последние часы с мамой. Прости меня, Боже, и за этот мой грех. В глазах Марии Андреевны я вижу ужас разлуки, но и глубоко спрятанную радость за дочь, за внуков, в которой она не захочет даже себе признаться.

Вот и аэродром «Шереметьево». Сколько раз я провожал здесь своих друзей. Теперь меня провожают. Опять громадная толпа друзей. Среди них и те, кто не был у нас на прощальном вечере. Приехал Вячеслав Всеволодович Иванов, мой наставник, мой спаситель. Благодаря ему гладко прошла защита моей диссертации. Благодаря ему не пошло в самиздат мое выступление на большом учёном совете, на котором меня выгнали из института. Он сказал: «Повремените немного!» Благодаря ему спасли мне жизнь в больнице.

Спасибо вам всем, милые друзья! Мне стыдно, что я уезжаю. Мне жутко стыдно. Неужели же ни один из вас не упрекнет меня в том, что я не имею права уезжать? Я покидаю корабль, вместо того чтобы оставаться на нем до конца. До свидания, мой милый братик Слава! Привет маме и брату. Поцелуй их и скажи, что я их люблю. До свидания, мои друзья-единомышленники. Не знаю, увидимся ли вновь. Мне еще невдомек, что с большинством из них я встречусь через два-три года, только далеко от Москвы. Последние объятия. Поцелуй. До свидания, мой дорогой друг Вадим! Спасибо тебе за сердечное тепло и мудрость. До свидания, моя крестница Неллечка. Дай мне дотянуться до тебя и поцеловать тебя. Спасибо, родные! Не обессудьте! Прощай, Эмочка! Не плачь! До свидания, Леночка [Семека]! Ведь мы еще увидимся, да? Привет всем нашим друзьям и спасибо тебе за все. Не забудь опустить открытки Гафурову и Солнцеву.

Мы проходим заветную черту. Все. Мы уже там, куда не дотянется советская власть. Нас уже прошмонали. Ничего не нашли. Да и что мне брать с собой – только грех один!

И вот вся моя семья на втором этаже. В последний раз мы смотрим через громадное стекло на наших друзей. Мои мальчишки ма-

шут всем. Леночка плачет. Марина не может оторвать глаз от рыдающей и улыбающейся мамы. Прощайте, через несколько минут мы должны подняться по трапу самолета. Да, все-таки по трапу самолета, Владимир Емельянович [Максимов], как и предсказано. Я показываю всем внизу знак рукой: виктория, победа. Все заулыбались. А и правда, победа! Я не умер, не сгнил в лагере. Все-таки если мы и не выжгли этому Полифему последнего глаза, то обозлили его насмерть.

Ба! Непредвиденная задержка! Забастовка компании «Алита-лиа». Рейс задерживается – на час? полтора? на три часа? Вот, не мутил бы воду, летел бы на самолете «Аэрофлота» – отправился бы вовремя. Советские не бастуют. У меня уже нет сил. Я больше не могу смотреть на друзей со второго этажа через это громадное стекло. Мне хочется передохнуть. Но Марина, Леночка и мальчишки не могут оторваться от этого стекла-витрины.

Никто из наших друзей не уходит. Все ждут, когда буржуазная авиакомпания возобновит свои полеты. Приходит новость. Итальянская забастовка окончена. Всего минут сорок они бастовали. Я опять подхожу к стеклу. Прощайте, мои дорогие. Спасибо вам за все, за все! Я шлю им всем поцелуи. Теперь многие из них показывают мне знаками: victory, победа!

Мы поднимаемся по трапу, входим в иностранный самолет – впервые в жизни. В окошке – в последний раз Шереметьево. Не всё они переназвали именами своих коммунистов. Граф Шереметев продолжает жить. Самолет отрывается от земли. Мы летим. В самолете тишина и дисциплина. Как в анекдоте, пролетаем над свободным Киевом. Привет. Пролетаем над свободным Будапештом. Привет. В самолете все очень тихо и смирно. И вдруг все вскакивают с мест, хлопают, раскупоривают бутылки с шампанским, достают фотоаппараты и щелкают камерами. Что за необыкновенная перемена? А это мы пролетаем над Веной, и Рабинович шлет телеграмму, что он наконец свободен. Свободный Рабинович! Мы приземляемся в Риме. Еще ничего не ясно. Новая незнакомая жизнь. Друзья встречают нас. Наш первый пансионат. Первая ночь. Я бегу с утра в собор святого Петра. Я не могу поверить своим глазам

при виде этой громады. Прости меня, Боже, за мои грехи! И благодарю за свободу. Свобода, свобода! Я брожу по улицам Вечного Города. Нет, не брожу и не хожу. Я летаю, я чуть не прыгаю от радости. Свобода! Я почти тот джинн, что вылетел из бутылки с возгласом: «Свободен! Свободен!» Какое прекрасное, ни с чем не сравнимое ощущение. Я пьян этим чувством. Все мои болезни как рукой снимает. И я по-настоящему в первый раз в жизни радостно и возбужденно пьян – от доброго итальянского вина. Я звоню в Москву своим друзьям. Да, да! Мы долетели. Но все мои речи сводятся к полупьяному и ликующему повторению одних и тех же слов: «Свободен, свободен!»

Книга вторая
Эмиграция (1972–2012)

Веками пел
незащищенный голос

Елена Глазова, Юрий Глазов

ЕДЕМ, ЕДЕМ ПО БЕЛУ СВЕТУ

Вместо предисловия

Совсем недавно я наткнулась на рассуждения Дмитрия Быкова о возможности уехать из России: «Меня заставит переехать только вселенская катастрофа. Переезд – ужаснейшая психологическая травма, тем более в другой город или, не дай бог, страну».

Что к этому можно добавить нам, прожившим на Западе уже 40 лет? «Аховая была у меня эта осень», – писала Марина перед отъездом. Аховое время, увы, продолжалось и потом, на Западе. Вокруг нас и в нашем внутреннем мире соединялись разрозненные аспекты мироощущений, культур и способов выживания – начинался обмен информацией между частями мира, давно друг от друга отошедшими, и, казалось бы, не было смысла этим мирам заново срачиваться. Но даже клетка тела, не передающая информации, отмирает. Без мостов между разрозненными мирами, между конфликтными моделями мышления вся жизнь постепенно становится зоной, концлагерем – закупоренной системой, где коррупция, зверство и бандитский ухмыляющийся цинизм со временем заглатывают все. Не только на остающихся, но и на уезжающих накладывается сложнейшая ответственность: оставаться «живыми и только» в эпицентре информационных конфликтов.

В те первые годы эмиграции (да и сейчас) мы очень тяжело воспринимали то, как искажается информация при ее передаче из одного мира в другой. Побороть эту деформацию смыслов казалось почти невозможным. В неопубликованной рукописи папы «На чужой сторонке» есть незабываемая сцена, когда во время наших первых месяцев в Италии представитель НТС (Народно-трудо-

го союза)*, приехавший из Мюнхена, пригласил новоприбывших диссидентов на совещание:

Нас пригласили на совещание в небольшое кафе в центре Рима. Почти как у Зоценко: «Приходи по срочному делу в пивную!». Никакого приказа, конечно, не было, но было дружеское приглашение собраться за общим столом, за бутылочкой вина, за чашкой чая и обсудить насущные проблемы.

В нестерпимо жаркий день мы собрались в ресторанчике и начали как будто бы совсем невинный разговор. <...> Приехавший гость был настроен весьма благодушно, <но в разговоре> перед всеми нами встал очень неожиданный вопрос:

– Нужно ли и правильно ли сообщать нашим друзьям в России, что здесь, на Западе, люди не особенно интересуются нашими делами в России, не оказывают серьезной поддержки нашему демократическому движению?

Вопрос был поставлен, как говорится, ребром. Началось обсуждение. <...> Мысль, что не надо писать в Россию о том, что мы увидели здесь, упиралась в следующее: ежели писать правду, то даже те, кто там слабо протестует против властей, отстаивая правду и свободу, махнут на все рукой и погрузятся в апатию.

Я не мог поверить своим ушам. Значит, надо лгать. Надо говорить, что тут все прекрасно, что весь мир рукоплещет защитникам свободы и справедливости в советской России. Восхищается ими. Пусть они там идут на новые и новые жертвы. И пусть сюда не спешат. Их настоящее дело пребывает там.

В Америке напряжение продолжалось и во многом даже усугублялось очень четко сформулированной позицией отца, не разрешавшего укрыться в какой-то маленькой, нам близкой среде единомышленников. По его словам, мы были обязаны стать двое-рукими, научиться жить в двух мирах:

* НТС – политическая организация русской эмиграции (Народно-трудовой союз российских солидаристов), основанная в 1930-е годы, издавала журналы «Посев» и «Грани», сыгравшие определенную роль в развитии оппозиционного движения в шестидесятые годы.

Я выехал на Запад с намерением сохранить в себе русское, но и с тем, чтобы по возможности стать западным человеком. Мне претит всякая замкнутость, равно как любое гетто, в какие бы национальные одежды оно ни рядилось. В краю, где дозволяется лишь одна культура, где признается одна-единственная религия, мне не выжить. Я задыхаюсь, умираю. Так случилось в стране марксизма-ленинизма. Но и в стране одного лишь православия, равно как и в стране, где насаждается один лишь католицизм, мне не выжить. Немного позже, когда я приехал в Израиль на несколько недель, я столкнулся с аналогичной ситуацией, хотя там можно видеть разнообразие культур и религий.

Но эта четко сформулированная позиция не спасала в тот тяжелый период начала новой жизни. Опять же нашла у папы в рукописях:

В первый день школы в Наяке Гриша пришел домой с кровоподтеками, избитый. Под глазами синяки. Так встречаются здесь новичков: происходит инициация. Марина в ужасе. Но как будто бы на второй и третий день нового избиения уже не произошло. После школы мальчики мои не могут оторваться от телевизора. Наш хозяин, хороший, но несколько туповатый баптист, называет телевизор «ящиком для идиотов». Хорошо ему говорить, а для нас это источник образования и изучения языка, для Яшеньки и Гришеньки – неисчерпаемый резервуар радости и возбуждения. Тут и мои любимые ковбои. <...> А мальчики в восторге от супермена. Да и миллионнодолларовый человек тоже не хуже. Ах, нам бы лазерный его глаз, и им бы пронзить хотя бы некоторых из наших гадов! Я и сам не могу оторваться от телевизора – сижу вместе со своими ребятами, и мы вместе смотрим на трех дуралеев – трех оболдуев. <...>

По вечерам Марина с Леной, а вместе с ними часто и я не могли оторваться от страшных фильмов. Марина засиживалась перед телевизором дольше всех. Насмотревшись умопомрачительных фильмов и все еще испытывая жуткий страх, она шла спать, часто в темноте держа перед собой крестик. А вдруг где-то в доме спрятался Дракула! Слава Богу, во многих трудных случаях Марину спасал юмор.

Проблему эмиграции из России забыть было нельзя, и она была мучительна. Многие наши друзья в Москве собирались в дорогу. Это удивило нас. О своем намерении уезжать писал Эдик Зильберман,

Лена Семека тоже твердо решила ехать. Наум Коржавин уже давно собирался, и это казалось невероятным. О своем решении ехать написал Толя Примаков, наш сосед и врач, человек исключительного благородства и скромности. Жена его Нина рассматривала это намерение как очередную блажь мужа, но его довольно крепко зацепили в КГБ: один наш общий знакомый продал его. Однако самым поразительным для меня оказалось то, что Борис Шрагин и Наташа Садомская тоже решили ехать. <...> Что же с ними такое случилось? Поразительно, что в дорогу собирались люди, которые год назад относились к этой идее сугубо отрицательно и почти с полным презрением.

Это проливалось чуть ли не бальзам на наши раны, во всяком случае, на мои. Сколько я ни пытался уверить себя, что у меня не было иного выхода, как уходить из страны, сколько ни объяснял я себе, что моим детям и Марине пришлось бы очень солоно в том случае, если бы я остался, как ни видел я со всей очевидностью, что здоровье мое было никудышное, до той поры, пока я не пересек границу, что-то в самом воздухе моей родной страны не давало мне свободно дышать, и горькое-прегорькое чувство сжимало горло, в особенности на людях. Когда я оставался один, я начинал спокойно или напряженно размышлять, и все опять выходило, как на картах у цыганки: дорога, чужбина, долгая жизнь.

В то же самое время в Москве резко менялось состояние общества. Менялась Москва. Созревали решения. Готовя к печати цикл стихотворений Марины «Привет тебе, культурный шок» и просматривая архивы (ее и папы), я не могла не отобрать несколько писем, наиболее ярко отражающих обстановку в Москве среди наших друзей. Действительно, «аховая» тогда была осень, а потом и весна. (...) Но были и письма о Марининых стихах....

ИЗ ПИСЕМ

Леонид Ефимович Пинский

Москва 25. VI. 1974

Милая, родная Марина!

Я только что приехал с Шереметьевского аэродрома, провожал отбывавшего от нас А. Галича. По дороге думал о Вас, хорошее только («Только любовь», как называется одна книга стихов Бальмонта), и мне захотелось еще раз Вам написать. <...>

Милый друг! Я еще раз («для вдохновения») перечитал Ваше письмо – такое хорошее! – и мне хочется сказать и Вам, и Юре, что я часто о вас думаю, люблю, что то пустое, из-за чего в последний раз мы с Юрой повздорили и перестали видеться, – давно, давно забыто, развеялось, и вспоминается только хорошее, личное, неповторимо единственное в каждом из вас – вот как Ваша, Марина, улыбка, смех – ведь только в этом «личность»! Только это незаметно в каждом из нас – для наших друзей.

М. п. я читаю теперь в одном доме – в совершенно приватном порядке и как ряд импровизаций – цикл лекций на тему «Личность и индивид». Мне кажется, что эта пара синонимов, если в ней разобраться, – хороший ключ в наше время ко всем «последним вопросам». Слушают меня друзья, знакомые и незнакомые – в возрасте от 18 до 60 лет, «отцы и дети» (чаще, конечно, матери и дочери) тургеневские, хотя тема-то скорее Достоевская – короче, повторяется ситуация «русских мальчиков», с поправкой, однако, на 100-летний опыт. <...>

О Юриных работах (печатных) я слышал, но до меня они, к сожалению, не дошли. Как Вы живете, работаете, дышите? Хитренькая Вы, Мариночка! Надо же-ж умудриться написать две страницы и ни словечком не обмолвиться о своем житье-бытье, для нас,

тутошных, не совсем обнакновенном! А посему жду досконально реляции о быте, о себе, Юре и детях, о работе, студентах etc. Как-никак, не в Тамбов же Вы переехали.

Возвращаясь к Вашему письму, к автокритической и персональной его части. Воистину – сродство душ, *Wahlverwandschaften* – и только! (по-нашему, «каково аукнется...»). Ибо, душой клянусь, сколько раз я собирался на ЮЗ*, зайти к Вам, поговорить («по-исповедаться») по-настоящему, т.е. когда тет-а-тет (тогда и кёр-а-кёр, там, где царство Божье, ибо евангельское «Где двое, там я между вами» я всегда понимал как максимум, а не минимум). Т.е. «общнуться» с Вами хоть раз, чтобы воочию, «восердечию», а не только в смехе (хотя в нем и характер) увидеть Вас. И, конечно, «идиот»! – пользуясь Вашим же словом, все это осталось благи-ми порывами, ими же вымощен и ад, и дороги к нему. Но давайте видеть в этом знамение и перст свыше. Итак, мы потому не попрощались перед отъездом, чтобы теперь – расстояние в XX веке значения не имеет! – подготовить будущее прощание: вначале «по-общаться», сблизиться письменно, но по-настоящему – а потом и встретимся и «попростимся» (может быть, навсегда!). Идет?

Буду ждать от Вас ответа. А не будет и на этот раз – значит, как говорится, не судьба... Пишите!!

Наталья Трауберг

17/VIII-72

Мариночка, моя милая и любимая подруга! Мы – в деревне под Палангой. Тут все маленькое и нежное, как для детей, как будто тишина пришла, и мир (который во зле) – призречен, а Божий мир, Его сад – по-детски реален. Помнишь, как ты меня спасала четыре года назад? Мы ходили и говорили про Франциска, и песок, сосенки, дорога оживали, очень медленно наполнялись смыслом. Я осталась здесь, уже совсем как бы и ногу не ставя – некуда. Только вверх дается – на остаток жизни; а тяжесть, нечистота очень это

* Юго-Запад Москвы. – *Прим. сост.*

замедляют. Вы были единственные здесь (кроме Жака – мамы), кому есть дело и забота и жалость ко мне – не нужда во мне и не любовь ко мне, они бывают, а дело до меня. Это большая честь и большой мне вызов, что меня (на какое-то время?!) оставили без вас. Господи! Пусть бы дошло это письмо!

15 августа 1974

Мариночка, моя дорогая! Не успела (вернее – успела) я послать тебе открытку, как пришла вся в розах открытка от тебя. Не говоря уже о том, что розы я люблю особенно, а вьющиеся – еще больше, это – Кэйп-Код, о котором, как известно, сказал поэт: «Я еду на косу К.-К./ и оставляю огород, / который спсиху завела/ и вовремя не полила». Пишу, естественно, наизусть, это красота какие строчки. Однако, в отличие от большинства поэтов, он не утратил того зверства ума, которое так веселит и утруждает меня (мое зверство; его – только веселит.) Как это верно насчет «кто Бердяев... а кто св. Петр!». Писала ли я тебе, что моя нянечка и крестная мать Лукерья Яковлевна делила человечество двояко: на «тихих» и «бойких» или на «тихих» и «важных»? Не скажу, что Иеремия (Ю.Г.) наш тих, но он никак не боек (хотя казалось бы...) и уж никак не важен. Может быть, у нее он и вышел бы тихий. Спросим там...

17/XII, 1974

Дорогие мои Мариночка, Юра, Гриша, Яша, Лена. Поздравляю всех с Рождеством и с Новым Годом, а Юру с Гришей – соответственно.* Мариночка, получила я твое письмо и умилилась. О стихах же, почти так и было: я оставила себе, у себя, те, которые мне понравились, а часть у мамы, потому что я не читаю их. Понравились же мне именно самые дурацкие – и здешние еще, про «по закону по тому, по физическому», и тамошние – «соберу свою капустку», «... дум грустных грустный улей», «... надену платье из батиста» и в этом же духе...

* 25 декабря – день рождения Гриши, 26 декабря – день рождения папы. – *Прим. сост.*

10.VIII-75.

Мариночка, моя дорогая! ... Я стала понемногу показывать твои стихи, и вот что пока выходит: друзья в восторге, а <...> суперснобам показывать пока не решаюсь. А вот отцу (Александру Меню. – Е. Г.) отвезу... Это же Бог знает что, так заговорить, как будто никто тебе не указ, хочу как Пастернак – пожалуйста! – «всей дрожью жилок» и мн. др.

Томас Венцлова даже предложил это выдавать за неизд<анного> П<астерна>ка), хочу – как баба ревет – и это можно. Про «студ. прямой пробор» или «bull frog» или негритёнка – это дар речи и письма... Спасибо тебе...

* * *

Мариночка, моя любимая! Я написала большую простыню Еремии, а тебе пишу любовную записку с умной мыслью. Мысль такая: как смешны пути Господни! Как правильно и смешно, чтобы именно ты стала поэтом, и таким хорошим. Как будто английские стихи читаешь – т.е. я читаю, а ты, может, что-то от них взяла, начитавшись, а может, сама так выдумала. Смешно и другое: что это именно стихи, как будто тебе естественно жить и плавать внутри этого странного океана. А спросили бы, я бы сказала, что твой океан – зверская проза, не то Waugh, не то Зощенко, не то Ионеско. Ан нет...

Томас Венцлова

<...> мне нравится то, что написано без оглядки на литературу, «по-обериутски» или даже чуть «по-лебядкински» (скажем, «Я еду на косу Кейп-Код», «Привет тебе, культурный шок»).

Наталья Садомская

Осень 1972

Дорогие мои, любимые друзья и родные!

Юрочка, получила твою «эйфорическую» открытку с самолета из Европы в Америку. Рада и рада за тебя. Значит, можно, значит, можно быть радостным и правдивым одновременно <...>

Внешние дела, пожалуй, хуже, чем раньше, но настроение у всех спокойнее. Пожалуй, это можно охарактеризовать как притупление реактивности. Спячка, или уход в себя, или в мыслительную, или в духовную работу. Внешняя жизнь очень невыразительна. Все много читают или стараются много читать, скажем так.

<...> Не могу себе представить, что не увижу вас никогда. Уж так или иначе, но мы должны встретиться. Вы часть моей жизни, согласна я с вами или несогласна по каким-либо вопросам. ...Писала я вам или нет, неважно. Я свою жизнь корректировала на вас. Видишь, Юрка, твои семечки не пропали даром!..

Получили массу открыточек от вас, и все – радость. Неужели мальчишки в «нас» играют? Кто – я, а кто – Боря? Боюсь, забудут они нас скоро. Какие они станут хорошие! Леночка, ты, наверное, похорошела отчаянно, если это еще возможно. Да, Маришка, вы обе были такие красивые тогда за стеклом. Для меня вообще эта аэродромная разлука такая еще живая и открытая рана. И вообще я все время думаю о проблеме обратимости и необратимости. Неужели есть ситуации, которые невозможно обратить назад? Неужели есть «всегда» и «никогда»? Сознанием понимаю, чувство бунтует отчаянно...

* * *

Здравствуй, друг мой Санчо (Марина. – Е. Г.), Юрочка, Леночка и вы, шпанята!

Ну и письмо я сейчас раскачу. 14 пунктов наметила. Во-первых, радость какая-то молодая бьет от вас, от ваших фотографий, от твоего раскованного юмора, Маринка. Я зарядилась, как от аккумулятора. И твоя ностальгия такая чистая, добрая, и любовь к друзьям, очистившаяся от обид и такая деятельная. И все это вам дал отъезд из этой тоски, серости, лицемерия, скуки. Сейчас я тебя буду лечить от ностальгии, дорогая.

Серые переулочки Остоженки и Арбата разрушают со страшной силой. Москва исчезает, центр застраивают безобразными коробками для цекушников.

Люди, добрые друзья, все с опущенными руками. Трудно жить, невесело, не смеются в компаниях, не танцуют. Какие-то трудные

обидчивые отношения. Все придавлены. Везде какие-то тусклые люди берут верх. Издали «Памятники латинской литературы» и «Византийские легенды». Участников таскают в дирекцию, про-рабатывают за пропаганду христианства. Из рукописей вырубают всё, касающееся религии и т. д. Вчера я была в парикмахерской и слышала передачу по трансляции. Лови московские передачи, Маринка. Живо вылечишься – тупость, дебилство какое-то.

<...> Поручения твои, Маринка, все выполняю. Все разложила на кучки и завтра приступаю к раздаче. Отчет напишу. Сейчас пишу спонтанный ответ.

Дела у Габаев*. Неважные. Дело в том, что у Илюши не вполне четкая позиция. Он вступал с ними в разговоры, и они его долго поэтому терзали и терзают. С ними вообще не надо говорить, это всегда поражение. Результат: Галя подписала на себя показание.

Теперь Эмка**. Он подал заявление в ССП на характеристику и на отъезд. Поводом был вызов на допрос, на котором его толком ни о чем и не спрашивали, а просто прощупывали, т.к. нашли его стихи на обыске. Но он пришел в такое ужасное состояние от попраения чувства его достоинства, от негарантированности прав, от хамства. У него ведь все время ожидание ареста, и теперь это усилилось, и он подал, но еще не в ОВИР. Не знаю, доведет ли до конца. Мое мнение, ему надо ехать.

У Ларисы Богораз родился мальчик. Паша. Я ему подарила бело-красную кофточку с капюшоном.

Паша Литвинов и его жена очень болеют. У Пашки желудок, у Майки – нервы.

<...>

В общем, так, Маринка. Я не только рада за вас, я рада за себя, что вам хорошо. И хватит слюней. Надо решительно действовать. Выдирай меня. Что касается меня, помогу во всем и напишу. Я уже в форме. ...За эти дни мое настроение изменилось в сторону того, что я хочу ехать, даже если мне и не будет лучше там. ...Теперь психологически,

* Илья Габай покончил с собой в Москве 20 октября 1973 года.

** Наум Коржавин.

знаешь, мы все время живем в атмосфере покровительства. У меня на работе так прямо все время помнят о моей крамольности. Боря очень чисто держится и отказывается от всяких двусмысленных заработков, пишет свое, умное, но сколько это может продолжаться?..

20/II, 1973

Мариночка, милая, пишу в день твоего рождения. Завтра попытаюсь еще раз дозвониться...

Господи, я тоже была как помешанная после телефонного разговора. А на твой вопрос, увидимся ли? – ответила сразу, что почувствовала. Как, что, в какой форме, понятия не имею, но чувствую – да! Или вы, или мы, или... откуда я знаю.

<...>

Настроение? У всех глаза как-то внутрь обращены. Тут я была на дне рождения Октябрины (Волковой; востоковед–санскритолог. – Е. Г.). Эти ребята не в лучшей форме. А вот народ вокруг о<тца> А<лександра> мне нравится, и я начинаю понимать эволюции и ипостаси Юры. Но в общем все стали созерцателями, а ведь должны быть строителями, не так ли? Как вам в этом отношении статья о Софии Аверинцева в «Древнерусском искусстве», и, кстати, почему ничего не пишете, получили ли мои подарки к Рождеству?

Что касается реалистической стороны жизни, то, конечно, нет денег, конечно, нет работы, конечно, не печатают и т.д., но я стараюсь на это дело плевать и строить пока свой дом внутри, а если построим, то и все будет не страшно. Очень приятные вести о Иеремии ты пишешь, а я и не сомневалась в нем никогда. Я всегда верю (или стараюсь) первым впечатлениям о людях, а оно было «значительным», и таково будет заключение о тебе, кстати, первое мое впечатление было «красота». Потом я об этом забывала из-за близости, но сейчас очень вспоминаю. Люблю очень и жду письмо. Целую всех. Наташа

Март, 1973

Здравствуйте, мои милые, милые!.. У нас все по-прежнему. Боря без работы, а я завалена работой сверх головы. ...Те, кто ставил на внешнее, в ужасном состоянии. Мы пока держимся, но это требует

громадной выдержки и работы над собой. Самое тяжелое – это, конечно, полная перетасовка среды. Принцип иерархический терпит полное поражение...

Очень рада за тебя, Юрка. И вообще до меня доходят теплые волны того хорошего, что с вами. Скоро будет год, как я плакала у вас на кухне. Для меня он пролетел как месяц. Такой насыщенный, такой решающий в моей жизни...

Москва сильно терроризована следствием над Якиром и Красным. Но никто их показаний не подтверждает. Поэтому постановлением Верх. Совета следствие продлено еще на полгода. Людей довольно здорово таскают и шантажируют, требуя подтверждения фантастических конструкций этой парочки. Замечательно, что, несмотря на прямую опасность и полную разобщенность, никто не подтверждает их домыслов...

Что я думаю об обстановке? Интеллектуальная, легальная жизнь сворачивается. Обстановка в издательствах ужасная. Я это вижу по изд. «Наука». Травля. Идеологич. закрутка. Кромсание рукописей. Антирелигиозная борьба, вплоть до снятия иллюстраций с храмами, крестами, раздела о католичестве (у меня) и т.д. Но жизнь между людьми есть. Между кошками тоже есть и очень бурная, ведь март. Вот напротив меня сидит мой кот – Эшли, похожий на пингвина, и воет от истомы. Это удивительное существо, ласковое, податливое, но все делающее по-своему: истый византиец. Кстати, прочтите во 2-м номере «Вопр. литературы» статью Аверинцева. Она в чем-то программная и выражает настроение тех, кто имеет надежду. Но, не исключено, что это его последняя статья. Так, во всяком случае, он сам думает.

<...> Кончаю письмо, т.к. тороплюсь отдать. Люблю вас очень. Думаю, что в конце концов нас вытолкнет. Посмотрим. Каждому надо выпить свою чашу. Да. Но как бы алкоголиком не стать. Вы мне роднее многих родных. Не верю, что не увидимся. А уж место и время Бог придумает. Целую крепко. Наташа

10/ IX-1973

Милые, милые мои, спешу написать письмо и отправить. Дорогие мои(включая и Альку <Вольпина>), у нас с Борькой такие

дела. Ехать твердо решили, и не пугай нас, Юрка, ради Бога. У нас выбора уже нет...

<...>

Хочу широкополую черную шляпу со страусовым пером, и бахромой, и вуалью. Целую. Наташа

20/ II-74

ПОЗДРАВЛЕНИЕ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ты помнишь, Марина,
Дороги Беяева,
Панель сероватую наших домов,
Квартиры, квартиры, а где же хозяева?
Их клетки уютят чужих городов!

Была Америка пустыней,
Культуры не было у ней,
Явился Глазов, и отныне
Взалкал духовности плебей.

Елена, кухню ты венчала
Своей нездешнею красой,
Толпу поклонников порой
Ты забываться заставляла.
Таков закон любви простой.

Зимою, летом и весною
Мы думаем всегда о вас,
И заграничной новизною
Скучайте, милые, за нас.

* * *

Соки апельсиновы пия.
Братцы, не забудьте н и ч е г о.

Наташа Садомская, Таня Турчина, Валя Турчин + за Борю.

Татьяна и Валентин Турчины

13/VIII–1972

Милые Мариночка, Юра, Леночка, Гришенька и Яшенька!

Во-первых, поздравляю Яшеньку с днем рождения. Надеюсь, что это письмо придет к этому дню. Хочется, чтобы 19 авг. 1972 года был для вас очень радостным днем. Я вспоминаю, как мы (Турчины) впервые праздновали Яшин день в Пярвалке, как Юра нас повел в дюны, как ты, Мариночка, читала нам стихи Пастернака («Август») и Мандельштама. Все это в моей памяти так свежо и не забыто, что даже сердце сжимается от воспоминаний. И все-таки это был прекрасный месяц, который мы провели вместе, несмотря на множество печальных событий, которые произошли тогда. В моей памяти остались наши прогулки к морю и в лесу, наши «семинары», наши вечерние кофепития и чаепития... И утри, которых Юра так мастерски коптил. И много-много другого прекрасного, и смешного, и печального...

У нас все по-прежнему. Валя в отпуске до сентября. Петька наш очень вырос и стал больше меня ростом. По-моему, он превращается в красивого юношу. А Митя все такой же непоседа, хотя Петя говорит, что он «стал на тропу очеловечивания». Целую вас всех крепко. Очень хочу, чтобы письмо дошло до вас.

Таня

17 сент. 73

Дорогие Глазовы! Я как раз собирался вам писать, когда вы позвонили. Сегодня у меня будет (надеюсь) возможность передать письмо тем окольным путем, который, как было известно еще Чичикову, больше напрямик. Вот и произошло выявление отщепенца. Последнее время я, как вы знаете, вел себя довольно скромно, надеясь издать здесь свой «Феномен науки». После трехгодичных мытарств дело, вроде, пошло было на лад. В конце сентября должна была быть верстка. *И вот* – немного я не успел проскочить со своим «Феноменом». Теперь издание книги практически невероятно. Во всяком случае, я не могу на это рас-

считывать. Кроме того, надо что-то делать; принимать всю эту мерзость спокойно больше невозможно. Ситуация описывается одним словом: маразм. После письма сорока академиков и всей этой кампании не могу без тошноты смотреть на своих «порядочных» ученых коллег.

...После моего заявления было высказано два мнения о моей дальн<ейшей> судьбе. Одно, сверху (апп. ЦК) – уволить и нигде не принимать на работу в течение не менее года (это называется «профилактировать»). Другое – снизу – снять с зав. лабораторией, но оставить ст<аршим> н<аучным> сотрудником. Что думает директор, неясно. 10-го было общее собрание сотрудников, человек 300, если не больше. Многие стояли. Директор обязал меня прийти. Осуждали Сахарова, Солженицына и меня. Я выступил и кратко повторил свою позицию. Вернее, подтвердил, ибо директор, к моему удивлению, зачитал полный текст моего заявления. (Кстати, о собрании мне объявили за 10 минут до начала). Выступавший народ требовал – кто смещения (не может руководить), кто – изгнания (позорит коллектив, недостойн быть его членом). Дир. и зам. дир. высказались все же в духе первого. Парт. деятель назвал меня перерожденцем, а зам. дир. патетически воскликнул: «И этот человек называется ученым! Чему он может учить? Анти-советизму?» Резолюция с моим осуждением была принята единогласно, без воздержавшихся (кроме меня самого). Такие дела, как говорит Курт Воннегут...

Спасибо за звонок. Интересно, это не очень дорого? Я теперь отщепенец из отщепенцев. Но я (то есть мы) с нетерпением особым ждем подробного письма...

...Часто общаемся с Меликом. С Эмкой тоже. Шрагины... Боже мой! Все собираются уезжать... С Роем (Медведевым – Е. Г.), конечно, тоже. О нем месяц назад на ответственном собрании пропагандистов было сказано: он будет вышвырнут из страны, как и его брат.

Кончаю. Пора отдавать письмо. Все мы крепко вас обнимаем. Спасибо за теплые слова. Напишите и о бытовой стороне, кстати.

ВТурчин <Валя Турчин>

Март, 1974.

Милые Мариночка, Юра, Леночка и ребятки!

Так давно вам не писала, что даже не знаю, с чего начать. Во-первых, испытала безумную радость, когда услышала ваши голоса по телефону. Сразу все вспыхнулось, вспомнилось. Так много хорошего, что вместе испытали и пережили. От вас издали исходит какое-то тепло, которое все время чувствуется. Ни от кого из уехавших мы этого так не ощущаем. Мы часто вспоминаем вас и говорим со всеми: и с Наташей, и с Леночкой, и с Меликом. И вообще, Юрочка, ты теперь в Москве считаешься известной личностью, и о тебе много говорят. С Наташей мы сейчас очень близки. Она очень любовно относится и к вам, и к нам. Сейчас это еще усугубляется ее близким отъездом. Я теперь очень хорошо понимаю, как надо беречь друзей и любить их. Ведь вот уехали вы, и мы, может быть, никогда не увидимся. И хотя есть телефон и можно услышать ваши родные голоса, но так много хочется сказать, что не скажешь ни по телефону, ни в письме (да я и не мастер писать). Каждый отъезд теперь воспринимается все болезненней и болезненней. Теперь уже понимаешь, что люди уезжают навсегда. Это самое страшное. С большим горем проводили Тошу <Якобсона>*. Он теперь в Израиле, лечит своего сына. Очень тяжелые проводы были у Эмки <Коржавина>. Он плакал, да и все тоже ревели. Эмочка сейчас в Италии (но вы о нем больше знаете). Он сюда несколько раз звонил своей Леночке. Мариночка, через два дня после его отъезда у него умер отец. Эмочка еще об этом не знает. Ему решили не говорить пока об этом. Я вам пишу, потому что вы должны знать, ему сейчас потребуется дружеская поддержка, когда он очутится там, у вас. Не представляю, как он воспримет эту тяжелую новость. Все последнее время перед отъездом он места себе не находил. Настроение у него было очень тяжелое (ты помнишь Эмку, как он носится из угла в угол и хрустит пальцами). Ему это давалось очень тяжело. Да и кому легко. Наташка сейчас тоже в таком же состоянии, хотя

* Анатолий Якобсон покончил с собой 28 сентября 1978 г. в Иерусалиме. – Прим. сост.

и держится она молодцом и только говорит: «Ребята, не жалейте меня, а то зареву!». Леночка <Семека> с Мишей <Панкратовым>... Знаете, что у них был обыск. К Мише придрались с какой-то уголовщиной и потом у них устраивали шмон. Забрали очень много хороших книг.

Вообще этот год оказался таким тяжелым, что просто невозможно. Начиная с августа события идут сплошняком, перекрывая одно другое. У Вали все кончилось относительно благополучно. Его перевели в ст. н. сотр. И у него теперь работает одна (1!) сотрудница. Лабораторию ликвидировали. На общем собрании института выступавшие говорили: «Не место таким в нашем институте», «Разве можно доверять таким руководителям воспитание молодежи?» и т.д...

...Зиночка (Миркина. – Е. Г.) очень долго болела да и сейчас не выздоровела... Она передавала привет и просит объяснить, почему они долго не писали. Валя их навестил. У Гриши (Померанца. – Е. Г.) гипертония, Зина в постели – безрадостно.

А.Д. (Андрея Дмитриевича Сахарова. – Е. Г.) видим довольно часто. Он бодр, не теряет чувства юмора и даже работает (научно). Недавно он сделал научный обзор работ физиков. Сделал такие выводы, которые по уровню значит. превышают уровень тех работ, кот. он обзревал. У них в ин-те тоже было собрание, целью которого было получить подписи сотр. под письмом, осуждающим ак. Сахарова. Сначала выступали с осужд. его и говорили, что вместо того, чтобы заниматься наукой, он занимается черт-те чем. Выступил рабочий и говорит: «Так что же такое ак. Сахаров? Если он не работает, за что же его дёржать в ин-те и плотят деньги?» Тут встал один физик, докт. Ф. Н. Рухадзе, и говорит: «Ак. Сахаров сделал такое научное открытие, результатами которого будем пользоваться не только мы и наши дети, но и наши внуки. И вообще в научном отношении он представляет такой монолит, что я в него даже маленький камешек никогда не кину!» После такого выступления настроение собрания резко изменилось и письмо сорвалось. (Вот Валя поправляет: под письмом собрали 400 подп. Но весь теор. отдел – полностью не подписал.)

...Очень много грустного и печального у нас. ...Мелику отключили телефон (больше месяца) и никак не включают. Он также бодр и весел. Изучает англ. и немецк. языки...

...Мариночка, очень хочется, чтобы ты прислала фотографии вас всех, в разных местах и за разными занятиями... Пришли снимок дома (вашего), и вообще не сердитесь на нас, что подолгу молчим. А письма, которые идут через нашу почту, никак не могу писать. Да и все здесь иногда бывает так трудно (в душ<евном> отношении). Столько произошло распадов между друзьями, что и не скажешь в 2-х словах! Целую тебя, милый Юрочка! Леночка – тебя тоже. Гришеньку и Сясеньку. Так хочется видеть! Целую вас всех, дорогие и родные.

Таня

Елена Глазова

ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА

Немало написано об эмиграции, но мне хотелось бы сказать на эту тему всего несколько слов.

После нашего отъезда в апреле 1972 года, и особенно в первые три года нашей новой жизни в Америке, ощущение несчастья следовало за нами как будто по пятам, но при этом нам было необходимо привыкать к новой жизни. Абсурд ситуаций, возникавших почти на каждом шагу, лучше было иной раз встречать со смехом и юмором.

Следующий цикл стихов Марины во многом отражает это состояние глубокой внутренней переориентации.

I. ПРИВЕТ ТЕБЕ, КУЛЬТУРНЫЙ ШОК! (1972 –1975)

* * *

Трость ли, ветром колеблемая?
Ты ли?
Плачет душа раболепная.
Пылью теплой укрылись следы.
«Судеб твоих бездну кто исследит?»

Плачешь, вестью колеблемая?
Сон ли?
Только судьба вдруг потребовала.
Явью холодной смыты следы.

Где ты?

* * *

Белый снег и черные следы,
потому что лег он тонким слоем.
Уходили от кого-то вы.
Уловили: пахнет здесь разбоем.

А когда следы оборвались –
вы исчезли. Снегом завалило?
Белый-белый снег. И синь. И высь...
И неведомого цвета Сила.

* * *

*И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.*

И. Бродский

Запах первого снега.
Запах хлева.
Запахавшейся талой весны
и наивных ручьев ее бега.
Моря. Прелой листвы. И сосны.

Запах хлеба и плесени.
Глупых сплетен. Рождественских
елок. Кудесников.
И насмешек ровесников.

Шишек. Шепота. Хвои. Жары.
Слез березовой белой коры.

И волхвов. И тебя неизвестного.
И цветных моих стеклышек треснувших.

Чердака. Чая. Дыма. И горечи.
И дождя. И отчаянной полночи.

* * *

В Россию – моим друзьям – с любовью

На зеленой траве, на зеленой,
в тех местах, где стригут газоны,
еще мокрой от слез траве,
как болею по синеве
тех небес...

Тех небес, где причина грусти –
терпеливая, легкая мысль,
обретая свое очертанье,
с губ рвалась,
в срочном слове ввысь
устремлялась –
успеть замолвить...

Стебельком прорастала, травой...

К не имеющим места под солнцем
дивной ласточкой золотой
прилетала и песню пела,
утешала, звала с собой...

То воробушком серым по снегу
вдруг являлась, по Архипелагу –
к бессловесным – любовью великой,
пронесенной с камеры первой,
к тем, кто плыл по рекам кровавым,
никакого следа не оставил...

Златоустовым словом являлась
там, где меньше всего ожидали,
так, как меньше всего ожидали.

В расставанье с причиной звука,
хотя сам звук еще оставался
и звенел в дорогом пространстве,
в запрещенном воздухе синем.

Каждый день с дорогой частичкой
бытия навсегда прощалась...

На траве, на зеленой траве
почему я тоскую по горю,

разделенному с синим морем,
и по запаху слез смолистых
сосен, срубленных речью неистойой?

На траве, на зеленой траве
почему я тоскую о сене
и о запахе невесеннем?..

То ли это роса, то ли дождик,
то ли впрямь оттого, что скошена...

На зеленой траве, на газоне
не сплести венка амазонке.

ЧАЯНИЕ ЧАЯ

Мы пили чай и слушали пластинки.
И там, в чаю, несчастные чаинки
пытались всплыть и не пойти на дно.
С одной особенно была я заодно.

А дух давно носился над водою!
Чаинки бились, жаждая спастись.
Я дула к краю, будто бы прибором
чаинку к берегу на счастье прибить.

Мне «параллельный случай» вспоминался.
Хотелось быть не в жизни, а в кино.
А чай неслышно в небо воспарялся,
мечтая осушить чаинкам дно.

* * *

Вас не было, а письма ваши были.
Они все продолжали приходить.

И пароходы, их везя, спокойно плыли.
Играла музыка. Хотелось пить.

Луна светила. Пели звезды в хоре.
Вода была соленой здесь и там.
В бассейне на борту. Конечно, в море.
В каком-нибудь растворе. По щекам

стекала каплями или лилась ручьями.
Зависело от степени беды.
И утирались смятыми платками,
сморкались и отчаивались мы.

* * *

Ничего! И не такое было!
Как-нибудь! Перенесем!

Да! Зачем я здесь? Опять забыла!
Было что-то важное! При сем

поднялась специально для чего-то...
Не могу найти того блокнота.

И не помню, на какой странице
и в какой связи. Как будто снится

все. И после – вот – как наяву –
все пытаюсь отгадать – к чему

совершила круг опять сюда я!
В зеркало смотрю: что я – седая?

О! Так это сон опять – из памяти!
Разговариваю с собой я, стало быть!

Презанятные бывают диалоги.
И особенно, когда без логики.

В глупой жажде завтрашнего дня
забываю я про черного коня.

Шлепаю, смотрю, совсем босая
и уже, как прежде, не летаю.

До возвышенно-серьезных не берусь.
Гуси-лебеди летают пусть!

Удираю от «пророков», от «порядочных».
Вспоминаю анекдоты про «парадочных».

И права я больше не качаю.
Неправа – одна напьюсь я чаю!

И не чаю дотянуться. И увы!
Тот, кто прав, достоин похвалы!

МЫСЛИ

Лезут, лезут в голову.
Всякие. Плохие.
Отбиваюсь я от них.
И прошу другие.

Вы идете на обед.
Вы несете сэндвичи.
У вас тоже много бед.
Только вы их прячете.

Что тщета – то суета.
По какому кругу?

Много мыслей, говорят,
не к добру –
к недугу.

* * *

Во время длинных, умных разговоров
смотрел сметливо черный пес. А я,
я их не слушала, свой приговор
заслуживая, а он по-песьему жалел меня.

Он вздернул бровь. Он, глазом не мигая,
молчаньем выражал, что понимает.
Он свесил челку, чуя все насквозь,
пока не появился новый гость.

И так печально гость заговорил.
И черный пес так нежно загрустил.
И так растерянно он замигал.
Он не уверен был, что понимал.

* * *

Этот прохожий
был просто похожий.
Так же беспомощна грудь.
Снова на сходствах
вас ловит та улица.
Снова перчатки напутать.

Листья опавшие
просто увядшие.
Светит на небе звезда.
Ящик сгораемый.
Недосягаемо.
И поезда.
Поезда.

* * *

В окно глядится куст сирени –
и вызывает он мигрени.

Знакомый мне принес таблетку –
хотел загнать мне душу в клетку.

Я отказалась снять волнение –
хоть это вредное стремление.

Я вспоминаю, чуть дыша! –
А есть у ландыша – душа?

А вдруг и роза фарисейка,
поскольку родом не плебейка?

Вокруг все делают газоны –
трава не будет беспризорной.

ДУШ И ДУША

Всегда, когда волнуюсь,
лезу в ванну –
под душ –
чтоб успокоить душу.

Поскольку ж я волнуюсь постоянно,
то вечно занята бывает ванная.

И в душевую
вскочила я в другой квартире так же.
Там целый вечер я проплакала однажды.

Мотала головой. И фартук
менялся обликом, что приобрел на фабрике.

Мне в дверь стучали: – Где ты? Все остыло!
А мне постыло все, постыло все, постыло*.



** Не меняйте последнюю строку: она сильна.*

И. Бродский

* * *

Я еду на косу Кейп-Код*
и оставляю огород,
который спсиху завела
и вовремя не полила.

Потом я с той косы вернусь
и снова очень удивлюсь.
И буду охать и рыдать,
слезами грядки поливать.

И научусь водить машину.
И параллельно парковать.
И сравнивать вождение с жизнью.
И огород свой поливать.

И запаркуюсь неудачно.
И – Didn't make it!** – прокричит
несущийся мне мимо мальчик.
– Как вы – не говорят! – ворчит
какой-нибудь культурный русский.
– Такого в русском, ма́дам, нет!

Я соберу свою капустку!
Сварганю щички на обед!



«Я еду на косу Кейп-Код... / и вовремя не полила» – ...это красота какие строчки!

Н. Трауберг

* Кейп-Код – (букв.) Тресковый Мыс.

** Не получилось! (англ.)

КЕЙП-КОД. ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

– Мне кажется, Санчо, ты очень напуган.
– Да, очень, – признался Санчо. – А почему
Ваша Милость только сейчас это заметила?
– Потому что от тебя никогда так не пахло,
как сейчас, и притом весьма не амброй, – отве-
тил Дон Кихот.

М. де Сервантес.
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

Вчерашний день был важный для меня.
Я в первый раз проехала по свету
не днем, а ночью сидя за рулем,
прекрасно понимая Санчо Пансу
и все его волнения на дорогах.

И, воплощая Санчо с Дон Кихотом
в одном моем немужеском лице,
вернулась без эффекта Санчо Пансы,
сразившись с мельницей своей. В тревогах

ждала меня вьетнамочка. Она
прелестная и глупая была,
и психологию преподавала в школе,
и рассуждала о душе и воле.

Мы очень мило с ней потолковали.
Мне пригодился мой восточный интерес.
Затем постели мы распаковали
и сбегали по очереди в лес*.

Вернулась наша первая соседка.
Мы погасили свет и погрузились крепко
в свое означенное – каждая в свое.
Внезапно я разбужена была.

Прелестная вьетнамочка храпела.
Я вспомнила соседа-моряка,
как написал он свой роман про море
и отношения командира с медсестрой.
Он так храпел, что это было горем
его жены и нас всех за стеной.

Другая тихо и недвижно так лежала.
Возможно, с Небом что-то обсуждала.
Она и днем с Ним вечно говорит.
На зависть мне душа ее горит
каким-то неземным, возможно, светом.
Но и она задвигалась при этом.
И так они запели в унисон,
прервав не только мой – и птичий сон.

Встревоженные птички зазвенели.
Позвали утро раньше птичьи трели.
И выкатился солнца шар ни в чем
с разящим озеро пылающим мечом**.

И звезды в озере под утро все пропали.
И не ловить мне тех, что по рукам стекали.
И по ночному небу мне не плыть.
На воду и на воздух разделить
решил виденье горизонт логично,
чтоб было все нормально и прилично.

Вот мистер Стюарт в поисках ключей.
Он забывает их обычно в туалете.
Иван Ильич совсем не спал ночей,
когда усек, что человечек смертен.

 *и** Удачно.

И. Бродский

 ** Great!!!

Д. Лафферьер

ЗАЛИВ

*Пярвалке (Литва, Куршская коса) и
Натали Трауберг – подруге по Раю*

Живу в древесном домике
на берегу озерном.
Смотрю, как звезды-комики
устраивают дозор нам.

Не знаю, как перевести,
но по-английски – bullfrog.*
Всё криком может извести,
переводя на свой толк.

И вспоминаю тот залив,
и Пярвалку, и дюны,
и на тропинках Натали –
дум грустных грустный улей.**

«За то, что я руки твои не сумел удержать...» –
прочла и замолчала.
Застыли в небе облака
и лодки у причала.

✉ ** *Вера Николаевна (мама Натали Трауберг)
сказала дочери о строчках «Натали –
дум грустных грустный улей»:
– Ну конечно! Чего от тебя еще
ждишься?*

* Bullfrog – лягушка-бык, лягушка-вол (англ.).

РАСТЕРЯННОСТЬ

В глупой жажде завтрашнего дня,
на день точку в жизни приближая,
наблюдала за закатом я,
все ненужное приняв, не искажая.

И, естественно, потом настала ночь.
Время спать. Восстановить все силы.
Я ворочалась, не в силах превозмочь
все горчайшее, что за день приключилось.

Окунулась. Снова сны. Во снах
снова вы. Мне некуда деваться.
Близится рассвет, и где-то в семь
надо на работу просыпаться.

Нет. Оказывается – не семь.
Где я? Где? Все та ж вода из крана...
Те же стены и обои те...
Вот сейчас пойду – мне очень надо
не забыть, что там стена! Стена!
В прошлый раз – неделю была шишка!

Комната – все та же, что была!
И за окнами – все та же вышка!

* * *

Всем известно изначально,
что трагедия печальна,
удушающе-молчальна.
Звук один.

Я ж кастрюлю отчищала
и от лука причитала.
Слезы те предпочитала
всем другим.

Рядом плакала девица,
что не хочет он жениться.
Ей хотелось поделиться
все одним.

Мой же плач был в пользу лука.
Сердце билось очень глухо.
Мимо пролетела муха.
Звук един.

* * *

*It was 75 dollars and 56 cents!**

Сосед по креслу очень волновался
во время исполнения песен Брамса
про вечную любовь, секрет и дождь.

Проблема была в том, что у соседа
исчез внезапно из кармана кошелек.
Сосед, бедняжка, так дышал,
как будто астма
его душила –
так он занемог.

Жена ему шептала, что не мог,
никто не мог в таком приличном сборе
взять кошелек.

– Не может здесь быть вора!
Послушай лучше! Дома все найдешь!

Он шепотом подсчитывал потерю,
включая мелочь и жене не веря*.



* ... может быть, немного вырываются в набоковский жанр «Сосед по креслу очень волновался...» и «Они мне объясняли все подряд и...» (см. с. 176 – Е. Г.)

Л. Лосев

* Там было 75 долларов и 56 центов! (англ.)

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

Привет тебе, культурный шок!
Меня сотрешь ты в порошок!
Ты небо спутал мне с землей.
Душевный стронул мой покой.

Уйду в культуру с головой.
Ты на пути моем не стой!
И положу свой пирожок
я в целлофановый мешок.

Я у камина с кочергой
имею сходный вид с каргой.
Поет мне утром петушок,
как отрастил он гребешок.

Шепчу в пространство: «Боже мой!
Ты все засыпано золой...»

ЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ ПРОИДЯ ДО СЕРЕДИНЫ

Раечке Суворовой

Nel mezzo del cammin di nostra vita...

Dante Alighieri

Рука дрожит по нескольким причинам.
Я несколько уроков получила,
«земную жизнь пройдя до середины»
и ожидая солнечной долины.

Ни в рай, ни в ад – на это много чести.
Я в «данном моменте»* живу в предместье.

* Пародирование языка русских эмигрантов (Е. Г.).

Я не желаю нехорошей вести.
Но рай и ад играют как-то вместе.

Не дай мне Бог пройти тропой Иова –
я к этому, конечно, не готова.
Одна надежда – не гожусь я к *test'у*.
Клянусь – довольна я ничейным местом.

* * *

*We are always joking, you know...**

Они мне объясняли все подряд и
синонимами, массой их. К тому же
они предполагали, что навряд ли
я знаю их язык. И даже хуже –
они считали, что я не пойму, и
пытались объяснить мне свои шутки.
И все соединяли, что к чему, и
играли плюс на дудочке – на дудке.

Она все объясняла всем подряд, и
вошел один на самом горьком месте.
Она предполагала продолжать и
старалась удержать все слезы, если
они, не удержавшись, потекут, и
придется ей играть на той же дудке.

И вот вошедший вышел, и почти все
смеялись и дивились его шутке.

(См. комментарий Л. Лосева на с. 174. – Е. Г.)

* *Вы знаете, мы вечно шутим... (англ.)*

* * *

Люблю читать заметки на полях
и изучать друзей или знакомых
и сам предмет, другой на него взгляд,
люблю бродить и находить подковы.

Люблю сидеть одна на берегу,
уставившись в себя, в песок иль в воду,
и, зачерпнув горячего песку,
струить его через горячий воздух.

Бежит, торопится куда-то муравей.
Он мне навеял тыщу параллелей.
Своя там Сольвейг есть, свой соловей.
Но петушинный крик здесь трижды злее.

Люблю на солнце закрывать глаза
и в памяти перебирать все вещи.
Страшусь открыть их, если подползла
ко мне беда и раскроила клещи.

* * *

*I received the award 'cause
I was very intelligent!**

– Я получил *award!* –
сказал мне черный мальчик.
Любили все его.
Играли все с ним в мячик.

Он крепость на песке
любил всегда построить
и жизнь на волоске
там жителям устроить.

* Я получил приз, потому что был очень умным! (англ.)

Он наливал воды
в прорытые каналы.
Он преграждал ходы.
Устраивал обвалы.

Он сад там насадил,
украсив жизнь мечтою.
На скверики разбил,
чтоб не было пустое
пространство на песке.

И он построил башню.
Туда на волоске
забрался принц, чтоб шашни
с принцессой завести
и жизнь ее спасти.

Принцесса там страдала
и косы расплетала.

Конец был превосходным.
Все кончилось добром.
Им мальчик подал сходни
и одарил конем.

* * *

*Она сидела на полу
И грудку писем разбирала...*

Ф. Тютчев

И я сидела на полу*
и грудку писем разбирала.
Какие превратить в золу –
какие уберечь – гадала.

А вот над этою строкою
проплакала я много лет,
хотя казалось мне порою,
что это все – красивый бред.

Я умные отдельной пачкой
для «интеллекту» сберегу.
А те, что по сердцу, запачкать
боюсь и кинуть не могу.

И не могу перечитать их –
все та же речка унесла.
И не могу пересчитать их
в системе правда–ложь. Одна,

как все другие, в одиночку,
когда-нибудь и где-нибудь
я буду проходить ту точку...
О чем я вспомню? Кто задуть

дрожащую над камнем память
осмелится?.. Тот жнец с косою?
Не миновать однажды впадины,
и в ней застрянет колесо.



* Одно из лучших...

Р. Якобсон

* * *

*You are so unhappy, tat...**

Не плачьте обо мне,
а плачьте о себе!

* *Вы так несчастны, сударыня... (англ.)*

Сама я разберусь,
когда на нож наткнусь.

В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ

Я борюсь с графоманией
и еще с одной манией...

Человеческим оком на мир
я смотрю через стекла витрин.
Там на елке Пьеро и Мальвины –
те, которые Коломбины.

И солдатик там есть оловянный.
И на острове замок стеклянный.
Среди веток там пряничный домик.
И цветочек. И птица. И гномик.

Монолог я готовила.
Я себе прекословила.
Диалог оказался злословием.

Напоролась в потоке сознания.

Я еще размышляла про Данию,
про еврейский вопрос и страдание,
и как только одни датчане
нацепили те звезды – отчаянные.

И про русский вопрос – про татарский.
В каждом русском – татарские глазки?

Русско-польско-еврейские гены –
сто процентов – обгадят гигиеной!

И соринки в потоке, и бревнышки.
Все в глазу – то бишь в оке – не в солнышке.

Галилей получил замечание.
Шарик вертится – сам уж в отчаянье.
И соринка взяла – не отчала.

Ой, сориночка ты, сориночка!
Ой, пылать тебе, хворостиночка!

И под нежным рождественским солнышком
ой, пылать тебе, сухо бревнышко!

* * *

Вцепляюсь в эти дни,
в минуты эти.
Пугаюсь, вдруг они –
без дырок сети.

Картинки снов перевожу
водицей с ваткой.
И красочками подвожу,
где неполадки.

Сижу на тучке и гляжу.
Машу я ножкой.
Ой! Надо было бы бежать
вон той дорожкой!

А эта дурочка идет –
ой! ой! – по краю!
О как ее, о как ее
я понимаю!

Глаза мне солнышко слепит.
Необратимо.
И тучка-самолет парит
кругом и мимо.

* * *

Зубрю слова и выраженья.
Шепчу мозгами.
Хочу понять Преображение.
Все вверх ногами.

В моем зеркальном отражение
моя природа
наткнулась на преобразование
другого рода.

Во вторник я иду к дантисту –
врачу зубному.
Надену платье из батиста.
Все будет новым.

В зубодуховном обновенье
всей дрожью жилок...
Я прогрессивному стремленью
смотрю в затылок.

* * *

Не летают облака.
Не плывут. Не убегают.
И не тают. И не тают.

И поникшее лицо
направленья не меняет.

И снежинка на ходу
превращается в слезу.
И стекает. И стекает.

Шлет на Землю свет звезда.
Освещает поезда.
Освещает. Освещает.

И заветное кольцо
обладателя теряет.

Ветерок приносит весть,
что разлука может съесть.
Убивает.

Голос шепчет над водой:
– Не ходи туда! Постой!
Не пускает. Не пускает.

Горе на сердце слагает.
И слагает. И слагает.

* * *

Образ с ладони исчез.
С линией тень не плутает.
Стрелка секундная без
стрелки другой не витает.

Звук не срывается с губ.
Слух не живет в напряженье.
Все исчезает вокруг,
что предназначено зренью.

* * *

*To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower..*

W. Blake*

Я иду босая по песку.
Останавливаюсь не глядя.

* Вселенную видеть в песчинке /И небо в цветке полевом... У. Блейк. – Перевод М. Г.

И, направив волосы к виску,
с ветром и с собою как-то сладив,
я уже не плачу, сбыв тоску.
А вода и соль их бьют и гладят –
камни, что лежат на берегу.

В маленькой песчинке целый мир.
В крыльях стрекозы их скрытый трепет.
Сам Садовник в лепестках сокрыл
сокрушающе-могучий лепет.

Тяжесть нежности в размахе быстрых крыл.
Руки собирают легкий пепел.
Убирают скляночку чернил.

* * *

– Не бойся ничего!

Гарик Восков

Я боюсь победы.
С нею ходят беды.
С нею поражение
ходит отраженьем.

Глубоко в колодце
блещут небеса.
Над травой вьется
острая коса.

И трава слезами
создает узор:
– Ведь в такой победе
затаен позор!

* * *

Сматываю удочки
я опять!
Мне по этим улочкам
не гулять!

Заметаю веничком
я следы!
Шлю местоименьечко:
...(точки)... Вы!
Вопрошаю времечко:
– Вы куда?

Отвечают часики: тик-тик-тик...
Ну и поздорову я: прыг-прыг-прыг...

Приглашу на провода
все флажки
и куплю по поводу
пирожки.

И слезу горючую
оброню
всем на грудь могучую,
на броню.

Тикают кузнечики: тик-тик-тик...
И я – восвоясеньки: чик-чик-чик...

* * *

Разлучаюсь, разлучаюсь –
тренируюсь –
как в посылку в один день
упакуюсь.

Как – куда – меня пошлют?
Неизвестно.

Вдруг завижу там кого?
Интересно.

Побрататься меж собой
очень сложно.
Да и Лазаря заслать
невозможно.

Повернусь вокруг оси –
осмотрюсь я –
и вернуться вновь «на земь»
попрошусь я.

Утаю билет Творца,
если можно.
Несмотря на море слез,
осторожно

проберусь опять назад
назло зверю
и воскликну в небеса:
«Верю! Верю!»

Разлучаюсь, разлучаюсь –
тренируюсь.
Ой, грешки мои, грешки,
как волнуюсь!

* * *

Незаменимых людей нет.
И заменимых друзей тоже.
Я вам любовь посылаю вслед.
Или, сама уходя, все же
на память шлю вам свою любовь,
не собирая осколков чаши.
Вместе разбили. А склеить вновь –
от «установки» зависит нашей.

II. В ПРОЩАЛЬНОМ ПОКЛОНЕ (1975–1986)

Елена Глазова

VITA NUOVA

В 1975 году мы переехали в город Галифакс, красивый канадский город на берегу Атлантического океана. В университете Дальхаузи папе предложили постоянное место заведующего русской кафедрой. Шутя, он сравнивал Галифакс с Геттингеном, то есть с Геттингеном, описанным Генрихом Гейне: «Протекающий здесь ручей именуется “Лейна” и служит летом для купанья; вода в нем очень холодна, и местами он столь широк, что Людеру в самом деле пришлось сильно разбежаться, когда он перепрыгнул через ручей». Действительно, город этот казался нам совсем-совсем маленьким – изгнанием в новую жизнь, в глубокую провинцию. К тому времени поток уезжающих из России разрастался. Леонид Ефимович Пинский, который назвал поездку в Шереметьево на проводы уезжающих в эмиграцию аэропохоронами, писал моим родителям:

Теперь проводы на Тот свет уже вошли в повседневный быт наших москвичей. На аэродроме мы бываем теперь чаще, чем по ту сторону каменной стены Донского монастыря. Также на поминках, предшествующих похоронам и, как положено, обычно пышных, с большим выпивом, по-русски, но очень странного лада: смесь бурного мажора с собачье-тоскливым минором. Очень своеобразная поп-музыка наших дней. (8. X. 1974, Москва)

А в нашем дружеском кругу уже на Западе шли тяжелые процессы. Начались невосполнимые потери, и, чтобы восстановить

контекст многих отношений (и контекст стихов, написанных Мариной о наших друзьях после переезда в Галифакс), я приведу отрывки из воспоминаний отца о встрече с Юрой Титовым и Леной Строевой в Париже.

О Титовых, о загубленных чиновниками КГБ картинах Юры, об общей трагедии семьи читаем у Леонида Петрова в ПОКОЛЕНИИ ИЗГНАНИЯ:

Как правозащитников Юрия и его жену Елену несколько раз помещали в психиатрические лечебницы, а в начале 1970-х, вызвав в КГБ, дали понять, что им лучше покинуть страну. В противном случае стражи государственной безопасности гарантировать свободу Титовым не могли. В 1972 г. Юрий Васильевич, воспользовавшись израильским приглашением и получив благословение на отъезд у своего духовника, известного священника и писателя Александра Меня (1935-1990), решился на отъезд. Однако на таможне, в московском аэропорту Шереметьево, его картины были облиты кислотой и до места назначения попросту не доехали, развалившись на части по дороге.

После краткой остановки в Риме семья Титовых прибыла на постоянное жительство в Париж и поселилась в самом центре, неподалеку от Собора Парижской Богоматери. Трудности эмигрантского существования, отсутствие артистического признания и разочарование западным обществом в целом в конце концов взяли верх. Вскоре супруга Юрия покончила с собой, а сам художник сначала попал в психиатрический диспансер, а затем некоторое время проживал в православном скиту под Парижем. В 1988 году его прютил знаменитый Монжеронский замок – место общежития эмигрантов из СССР. В нем он провел почти десять лет, но затем его снова ожидали бессонница, недоедание, блуждание по Парижу и психиатрическая лечебница.

Лишь в 1999 году на помощь художнику пришли такие же изгнанники из России, как и он сам – певец Алексей Хвостенко и музыкант Камиль Чалаев. Они забрали Титова из психбольницы в Нёйи-на-Марне и устроили его в «Земгор» – пансионат для престарелых, принадлежащий русскому Красному Кресту в Кормей-Паризи.

Из воспоминаний Юрия Глазова

НА ЧУЖОЙ СТОРОНКЕ

Отрывки из рукописи

В Париже тоже ожидали меня встречи. В голове моей засела мысль, что с Титовыми неблагоприятно. Кто-то еще в Нью-Йорке сказал об этом, а в Лондоне подтвердилось. Дошла до нас новость, будто Титовы собрались назад в Россию. От такого сообщения становилось не по себе. Прошло лишь несколько месяцев с того дня, как Титовы уехали в Париж из Рима, и вот, на тебе, стряслась такая беда!

У меня хранился в записной книжке телефон мадам Жанетты Фрашон, столь любезно и великодушно согласившейся приютить у себя в доме Елену Строеву, Юру и их дочь Леночку. С Жанеттой я не был знаком, но в Риме слышал, что она была русского происхождения и из благородных. По приезде в Париж, устроившись в недорогой гостинице и навестив кое-кого по делам, я позвонил мадам Фрашон. Она очень по-доброму со мной поговорила и тут же пригласила к себе домой, благо дело было к вечеру.

Добравшись по нужному адресу, я очутился в великолепной квартире – просторной, многокомнатной, с удобнейшей мебелью красного дерева, с высокими потолками, со стенами, увешанными картинами. Все было элегантно, утонченно, радовало глаз. Жанетта, молодая очаровательная дама, одинаково хорошо говорившая по-английски, по-французски и по-русски, приветливо и гостеприимно меня встретила, усадила в кресло, предложила что-то выпить и сказала, что очень скоро проводит меня в ту квартиру на их же лестнице, где жили Титовы.

Жанетта мне очень понравилась. Лицо ее, выразительное и красивое, привлекало той русскостью, о которой мы уже давно за-

были. Все в ней поражало и привлекало естественностью, простотой и вместе с тем каким-то своеобразным сочетанием светскости и наивности. Она спросила меня, как мы устроились в Америке, и подтвердила, что Титовы действительно переживают весьма трудный период.

Пришел вскоре ее муж Шарль. Крупный, представительный, дельный француз. Один из богатых и энергичных парижан. Свои деньги он вкладывал в промышленность: его заводы производили стекло и цемент. Он был влиятелен и известен в мире бизнеса. У них было трое прелестных и еще совсем маленьких детей: Натали, Джимми и Ирина.

Мне, разумеется, не терпелось повидать Лену и Юру, но Жанетта собиралась пригласить всех за стол и послала за моими друзьями. Через несколько минут вошел в квартиру Юра Титов, которого я не видел со времени их отъезда в Париж из Рима. Мы бросились навстречу друг другу и обнялись. В нем я не увидел никаких больших перемен: все так же неказисто одет, такое же внешне спокойное, безмятежное лицо, седая борода и добрые глаза. И все же от лица и глаз исходило какое-то неосязаемое беспокойство. Жизнь как будто бы потрепала их за эти несколько месяцев. А Лена вместе с ним не пришла, но передала, что будет ждать меня в своей комнате, двумя этажами выше. Я не решался сесть за стол, поскольку главным для меня было увидеть Лену, поговорить с ней. Мне принесли бокал вина, небольшую закуску. Я все время ловил на себе внимательный взгляд мадам Фрашон и взоры ее мужа, сидевшего в кресле напротив меня. Мне показалось, что они пытались понять, что я за птица. Такой же человек, как и их постояльцы, или что-то другое?

Когда я стал рассказывать им о том, что для меня приискывается место в университете, что дети постепенно устраиваются, а Марина, хотя и сильно болеет в разлуке с мамой и с Россией, как будто бы исподволь привыкает к иной жизни, я заметил, что Шарль и Жанетта переглянулись друг с другом. А у меня в голове вертелся вопрос, какой леший завел моих друзей сюда, в этот богатый дом, в круг делового и исключительно занятого человека, который на-

верняка не мог понять, как можно с утра до вечера бить баклуши, предаваться тоске.

Конечно, казалось странным, что Лена не сошла вниз. И Юра сообщил мне, что дочка их Леночка с ними не живет, а, устроившись работать, снимает себе комнатку неподалеку от них. Я продолжал разговаривать с Жанеттой и Шарлем, но уже готовился к тому, что через несколько минут увижу Лену. И передо мной встали грустные картинки недавнего прошлого. И наше знакомство с Титовыми. И их пребывание в психушке после демонстрации с требованием разрешить им уехать из Совдепии, как любила выражаться Лена. И наши разговоры в их большой комнате на улице Горького. И лики Христа, нарисованные Юрой. Огненные, пронизывающие душу взгляды Спасителя. И стоны Лениной матери, причитавшей, что совсем им не надо ехать за границу, что ничего хорошего они там не увидят. Что Леночке, их дочери, придется идти на панель. И поджатые, искусанные губы Лены Строевой, глаза, в которых решимость смягчалась то ли страхом, то ли колебанием. И нашу встречу в Риме, когда мы шли по улицам Вечного Города, говорили друг с другом о том, что происходило в Москве, а Лена Строева, потрясенная архитектурой римских церквей и старинных домов, поминутно нам говорила: «Ну, вы, дураки! Ну, смотрите на эту красоту вокруг! Юрка, неужели ты не видишь? Ты же архитектор!» И перед глазами вставали облитые серной кислотой иконы, созданные Титовым, которые он мечтал показать на выставках в Европе. И испуганный, хотя и вместе с тем отсутствующий взгляд Лены, вззирающей на эти загубленные картины. И слова Титова на пресс-конференции, посвященной драме с картинами и иконами, часть которых все-таки была выставлена в Германии. И в душе моей промелькнули опасения, которые я ощущал, не мог не чувствовать за Лену и Юру. В те первые недели нашей жизни в Риме разве не пришел я к мысли, что им будет трудно, очень трудно на Западе?

Эти воспоминания проносились у меня в голове, когда вместе с Юрой мы поднимались в их квартиру. Нет, квартира их помещалась не в мансарде. Где-то на четвертом этаже их большого дома.

Поднимаясь по лестнице, я пытался вывести у Юры, правду ли говорят, что они вознамерились ехать назад, в Москву. Я не решился спросить, да и не было времени на то, а правду ли говорили о них, что они уже протоптали дорогу в советское посольство и там им что-то посулили. Даже тут Титов оказался невозмутим, как истый русский старец. Нет, Юра ничего не отрицал, но философски заметил, что Запад они посмотрели, тут-де никто ни хрена не понимает о России, а потому лучше возвращаться назад. Мы вошли в их квартирку – отнюдь не бедную, не убогую, но, Боже, как все в ней отличалось от квартиры, из которой мы только что вышли! Тут было меньше мебели, здесь стены не были увешаны дорогими картинами. Да и не было у меня времени разглядывать, что было в этой двухкомнатной квартирке. Я увидел на фоне противоположной от двери стены, в кресле, с лицом, почти обращенном ко мне, Лену Строеву, и все во мне подкосилось. Не часто в жизни со мной случалось подобное!

В моих глазах вдруг померкло. Память перечеркнула почти все, что помнилось за несколько мгновений до этого. Осталось что-то главное: Москва с ее улицей Горького, теперь уже Тверской, Нью-Йорк, куда была заброшена моя семья, наши друзья, сидевшие по тюрьмам и в ссылках. Нет, Марину я не забывал ни на минуту. И в то же время я видел перед собой Лену Строеву – она уехала на Запад, преодолев внутренние муки, вопреки увещаниям многих друзей и родных, но не вопреки моему совету, не вопреки моему предчувствию. Передо мной сидела и слегка, почти насилуя себя, жалко улыбалась мне Лена Строева, с которой мы провели столько времени в Москве и Риме. Мы обнялись. Она снова села в кресло. И тут со мной стряслось почти небывалое. Увидев перед собой потемневшую от горя молодую женщину, ее черные, почти не просвечиваемые глаза, серое ее лицо, напряженное и, я уверен, еще минуту назад уставившееся вдаль, в темноту, в вечерний мрак улицы, я вдруг зримо, ощутимо увидел перед собой осязаемое, очевидное, не могущее быть излеченным и исцеленным – большое человеческое несчастье! И я горько заплакал, обняв Лену, обливая ее шею и плечи своими слезами, в то время как и она сама начала

рыдать. Мы плакали, обнявшись, и чем больше мы обнимали друг друга – дружески, бесплотно, девственно, – тем обильнее лились наши слезы, во всяком случае, мои. Признаться, случалось мне всплакнуть иногда на исповедях, когда я каялся в грехах, но это были другие слезы. Да и не мог я не чувствовать в те минуты, что вот, способен я не только на грех, но и на искреннее раскаяние, со слезами, о которых писал Гоголь. Покойная моя мама часто вспоминала, что в детстве я много плакал. «Сколько Юрка плакал!» Но, подросши, я уже не помню, чтобы когда-нибудь плакал на людях, в дружеском кругу. Слезы иногда навертываются у меня на глаза, когда я смотрю трогательный фильм, и мне хочется убрать, утереть эти слезы прежде, чем заметят их мои близкие. Но тут мы плакали вместе с Леной какое-то время, показавшееся вечностью. Не могу сказать, сколь долго длился этот горький плач. Слезы, обильные слезы лились, как поток дождя, и мне до сих пор неясно, откуда они лились в таком множестве. И не помню, где находился в этот момент Юра. Последующий разговор с Леной, мне помнится, был у нас с глазу на глаз.

Я продолжал еще плакать, сел напротив Лены, вытирая слезы платком. Я спрашивал ее: правда ли это, Леночка, что вы с Юрой собрались назад? Не ошибка ли это для них? Как относится к этому их дочь Леночка? И разве сама Лена не понимала, выезжая из России, что мы сделали почти бесповоротный выбор?

И Лена Строева отвечала. Глаза ее становились суше и опять как будто немножко жестче, даже ожесточеннее. Не по отношению ко мне. Но к тому, что с нею и с ними случилось. И она говорила, а я очень внимательно слушал. По ее словам, они сделали страшную ошибку, уехав из России. Без России ни у нее, ни у ее Юрки нет жизни. Это можно было понять, только очутившись на Западе, в Париже. Ты, Юра, другой человек, у тебя другая судьба, а нам без России нельзя, вне ее нам не жить. И я сделала ошибку, говорила она. Мне не надо было ехать из России, твердила она, но мне совсем не надо было заниматься тем, что называется демдвижением, а теперь уже повелось говорить как о диссидентстве. Все это никому не нужно, говорила она. Это все сплошное бесовство. И она

перечисляла очень дорогих для нас людей, сидевших в эти месяцы в тюрьмах и лагерях, и говорила: да, это бесовство. Они старались раздуть что-то, когда все погасло, тлело. И Петька Якир теперь раскололся, потек.

Я пытался ей возразить. Сказать, что она не так уж и права. Там люди сидят в лагерях и тюрьмах за свои убеждения. А она повторяла свое. Нет, самое главное – это ходить в лес, в русский лес, собирать грибы. Стоять в стороне от этого движения, которому они отдали столько сил и времени. И вдруг неожиданно добавила в ответ на какие-то мои слова о Якире: «Наш начальник дал течь, нам надо возвращаться назад!» Я был потрясен до глубины души ее словами. Нет, я не менял своих убеждений, не соглашался с нею, и вместе с тем я начинал думать, что глупо возражать ей, надо просто выслушать то, что она говорит. Но когда я все-таки один раз возразил, она тут же ответила с полной убежденностью, искренним чувством и не без усмешки:

– Ладно, Юрочка! Поплакал со мной вместе, посочувствовал моему горю. Спасибо. А об этом больше не надо!

Я понял, что в «Этом» она крепка, как скала, и не стал больше ее расспрашивать. Не спрашивал о ее посещениях советского посольства, которыми она так насмерть перепугала всех наших друзей. Там что-то обещали, но прежде того просили «уяснить» какие-то детали. Больные, неприспособленные к жизни люди ходили в посольство, мучительно делились какими-то мыслями. Я могу ошибаться, но едва ли они выдавали своих же. За несколько месяцев до этого, когда в Риме Джек Стюарт пытался узнать адреса наших друзей, говоря, что на эти адреса можно было бы рассылать книги, та же самая Лена первой восстала и, сжав губы, заявила со всей определенностью, что никаких адресов не даст.

Так случается в жизни. Почти неожиданно для себя и для нас с Мариной я вошел в эту комнату в благоустроенном парижском доме, в которой укрывалась в своем потрясении и одиночестве Лена Строева, и столкнулся с чем-то таким, что и до сих пор полагаю важнейшим и критическим моментом в своей и нашей с Мариной жизни. Я не могу сказать, почему я так горько рыдал. Ко-

нечно, мне было глубоко жаль эту бедную, несчастную женщину. Вместе с тем ее горе самым глубоким образом вошло и давно уже врубилось в мою душу. В моей семье с Мариной происходило нечто подобное. Там тоже было страшное, безысходное горе, но все-таки в какой-то мере управляемое и преодолеваемое.

Елена Глазова

Об отце Александре Мене

И Лена, и Юра Титов, и их дочка Леночка были духовными детьми отца Александра Меня. И именно к отцу Александру стекались тяжелейшие новости, полные потерь, разочарований, ссор и горьких вестей о смерти друзей.

Сам факт его убийства стал олицетворением процессов, навсегда повлиявших на ход русской истории, – горьким напоминанием о силе зла.

Неслучайно образ отца Александра Меня ассоциируется для нас с понятием христианства глубоко экзистенциального – с жертвенностью, ставшей частью русской истории – ее благороднейшей основой. И пусть его слова, так часто повторяемые в его переписке – «Обнимаю и шлю благословения! Ваш неизменно. А.», – станут благословением для всех, ушедших от нас, независимо от их вероисповедания или самого дара веры.

ИЗ ПИСЕМ

О. Александр Мень*

Осень, 1972 г.

+

Дорогие друзья мои! С трудом примирился с мыслью, что никогда вас уже не увижу (хотя к этому давно готовился). Дай Бог, чтобы вы были здоровы и благополучны на новом месте. Желаю вам найти себя и все, что из этого вытекает. Надеюсь, что перемена климата вам не повредит. У меня все по-старому и другого не желаю. Все вас помнят. Наташа и дети шлют привет. Поклон друзьям. Обнимаю вас всех, целую и благословляю.

Ваш прот. А Мень

+

Дорогая Марина! Открытку получил и был очень рад. Хочу надеяться, что у вас все хорошо. Смотрел на твою фотографию сегодня со странным чувством: есть она на свете или нет? Все-таки есть! Я думаю, со временем (с годами!) все утрясется, и у меня мелькает даже дерзновенная мысль, что еще предстоит встретиться! Времена меняются. Кто знает? М.б., мы вступаем в более мирный период. В общем, желаю всех, всех. Помню и молюсь. Всех обнимаю. Как учатся все дети, включая Лену? Работаешь ли ты?

У нас все то же.

С любовью

Ваш А.

* Каждое письмо о. Александр начинал с маленького крестика посередине листа или открытки.

7/ VIII/ 75

Новая Деревня

+

Дорогая Марина! Взаимно поздравляю тебя и твоих. Не писал, так как не был уверен, что вы бросили якорь. Опиши немного, как вы устроились. Стихи мне очень понравились. Я читал многие другие. Ведь для меня они неожиданность. Я раньше не знал. Много нового и прекрасного узнаю из них о тебе, хотя и поздно. Я всегда ценил и любил тебя, а теперь, обнаруживая эти пласты, с радостью убеждаюсь, что не ошибся, считая тебя очень богатой духовно. Ну что ж? Может быть, если бы ты этих богатств не имела, тебе не дали бы столько испытаний. Может быть, и вдали ты будешь светить и греть не только домашних (как положено всем нам, и как мы все плохо и недостаточно делаем). <...>

Если будет возможность – пришли фото; особенно интересно увидеть, какие стали ребята. А где Лена и что делает? Вообще, скажу тебе, твои письма премудры, но довольно мало информативны. Попробуй это исправить. А мне о нас писать почти нечего. Кораблик плывет по тем же водам и в том же направлении. Из внешнего – сын перерос меня, а дочь замужем. Вот и все.

Обнимаю и целую вас всех
А.

1978

+

Дорогая Марина!

Шлю тебе и всем вам пасхальный привет из невозвратимого легендарного прошлого твоей жизни. Спасибо за стихи, которые сказали даже больше, чем письмо (печальные инициалы посвященный сразу отгадал).

К утратам прибавилась еще одна. 15 января умерла моя мама. Последние годы она жила близ меня, много общалась и была счастлива. Ее все любили, и огромная толпа провожала в последний путь. В день ее похорон моя внучка сделала первые самостоятель-

ные шаги... Все временное проходит, вечное остается. Все всегда вас помнят. Недавно Миша написал мне, как встретился с Юрой.

У меня в саду еще лежит снег. Прошли напряженные пасхальные дни. А в целом все идет так же, хотя есть много нового и интересного. Но всего в письме не расскажешь. Куча работы и планов. Брат хотя и посидел, но еще полон энергии. Серг. Алекс. (о. Сергей Желудков. – Е. Г.) недавно вас всех вспоминал...

Не забывай! И не тони в «потоке сознания»...

Обнимаю тебя и всех
Твой А.

В ПРОЩАЛЬНОМ ПОКЛОНЕ (1975–1984)*

МОРЯ ТЮЛЬПАНОВ

*I' vidi il ghiaccio, e lì stesso la rosa,
Quasi in un punto il gran freddo e 'l gran caldo... ***

F. Petrarca

*Что сердце? Свиток чудотворный,
Где страсть и горе сочтены!*

А. Блок

И бьется, вьется пена паутиной,
цепляясь за песок, спасаясь тиной,
легко смеясь, с волной своей сливаясь,
в прекраснейший из свитков воплощаясь.

На свитке том леса, моря, долины,
холмы, сады, озера, гор вершины,
пруды, ручьи, плоды, моря тюльпанов,
и ветер их колышет неустанно.

На свитке том ущелья, руки, плечи,
слова, следы, стекло, хрусталь и свечи,
пещеры, снег, холмы, кусты, валежник,
движение губ, цветы, среди них подснежник.

* Начиная с цикла «В ПРОЩАЛЬНОМ ПОКЛОНЕ» проставляются годы написания стихотворений – счет жизни начался десятилетиями. – Прим. сост.

** И увидел я лед, и рядом с ним розу, / В точке единой и стужу, и зной...
Ф. Петрарка. – Перевод М.Г.

На свитке том окно, ключи и кручи,
крыльцо и свет в окне, испуг летучий,
зрачки, и страх в зрачках, и дно, и стужа,
соломинка, волна, в волне весь ужас.

Свеча и встреча, хворост, пепел, розы,
огонь и воск, прожилки, пчелы, осы.
Дрова и пламя близятся к разлуке.
Дыханье, изголовье, веки, руки.

Висок горячий, жуть и перепутья,
кромешный мрак и плоть, сухие прутья,
подробный шепот, волосы, тюльпаны,
и ветер их колышет неустанно.

На свитке том отчаянье, удушье,
кромешный мрак и жуть, в зубах подушка,
щемящие слова, часы без стрелок,
стальные отблески и ужас переделок.

Копье, подкова, гвоздь и получасье
молчанья, ключ на дне, кольцо на счастье,
свеча, ее огарок, остров, море
и буйство вольной мысли на просторе.

Огонь, кольцо, огонь, моря тюльпанов,
и ветер их колышет неустанно.
Слова, слова, слова и Воскресенье.
Сиреневая купина и Песни пенье.

И бьется, вьется пена паутиной,
цепляясь за песок, спасаясь тиной,
легко смеясь, с волной своей сливаясь,
в прекраснейший из свитков воплощаясь.

1975



...лучшие некуда – просто для антологии какой-нибудь.

Н. Трауберг

* * *

*Un Punto vidi che raggiava lume
Acuto si...**

Dante Alighieri.
La Divina Commedia, Paradiso,
XXVIII, 16-17

Черно-зеленым выткано узором
на голубом дрожащем полотне –
о чем уста поведали лишь взору,
сомкнув себя в блаженной тишине.

Три полосы зелено-синей ткани.
Одна морская. Третья от небес.
Меж ними гор игольчато-хрустальных.
Три полосы, соединенных без

хитросплетений, воздухом прозрачным,
прикосновением, серебряной стрелой,
безумной гривой, Точкой обозначенной,
в горячей розе золотой пчелой.

Залив Св. Лаврентия, 1975

* * *

*Посвящается моему отцу, Григорию
Александровичу Рафальскому, пропавшему без
вести под Вязьмой в конце сентября 1941 года.*

Я никогда не знала слова daddy**.
Но знаю, что в любви твоей росла.
Ведь ты – моя любовь, мое наследие.
Я бережно их в жизни пронесла.

* Увидел Точку, лившую такой / Острейший свет... Данте Алигьери. Божественная Комедия, Рай, XXVIII, 16–17. – Перевод М. Лозинского.

** Папа, папочка (англ.).

Я их храню как нежную частичку
письма. Нам почтальон его принес.
Он бережно сложил его странички.
– На фронте, – обронил он, – всё вразнос*.

* * *

*Посвящается моей маме Марии
Андреевне Корнеевой, потерявшей,
тридцати двух лет от роду,
своего мужа в 1941 году.*

Я никогда не знала слова daddy.
Но знаю, что росла в лучах любви
твоей. Ведь я твое наследие.
Несу с собою горсточку земли.

Ищу вслепую след. Пытаю воздух.
Погладь меня по русым волосам!
Я не могу к тебе туда – на звезды.
Но к нам сюда доходят голоса.

Я знаю из рассказов, как любил ты.
И не сберег. И я не сберегла.
Давай ее погладим по морщинкам!
Разлука – смерти вроде бы сестра.

1975

ОСТАНОВКА ПУЛЬСА

Еще раз – бабушке

Скоро – день твоего рожденья.
Тридцатое марта. Радость. Весна.

* Вяземский котел. Осень 1941 года. – Прим. М. Г.

Он тем же числом,
что день твоего биенья
последнего – сердца.

Сентябрь. Тридцатое. Осень и дождь,
когда я держала руку твою,
отсчитывая минуту свою
последнюю – сердца.
Тук... тук... тук...
...тук... ук... т... к.

Тридцатое марта. Радость. Весна.
Жизнь. Нарождение.
Биенье сердца.
Тук – тук – тук –
тук – тук – тук –
тук – тук – тук.

И тот был по правилам –
осенью – в плач неба.
Капля за каплей.
Кап... кап... кап...
Кап... кап... кап...
Слеза за слезой...

1966, 1975

* * *

Как хорошо стоять на берегу
и разбиваться о песок волною!
И разлетаться пеной по песку!
И, уступив волне, пойти босою
обратно в лес. Бродить в нем. Или сесть,
закинув голову. Иль лечь пластом на землю,
закрыв глаза, и в солнечную сеть
ловить все то, что разум не приемлет!

Лицом в траве и в запахе земли.
Бегут мурашки в том и в этом смысле.
Бегут мурашки, скачут через пни –
препятствия и в той, и в этой жизни.

Глаза откроешь – синий циферблат,
где желтым шаром цифры проступают.
Гудит, гудит кузнечиков набат.
По ком гудит?.. О ком напоминает?..

В ушах стоит... стоит... морской прибой.
Земля как раковина – все в себя вбирает.
Мать-мачехой, подробной тишиной,
дыханьем розы дикой воскресает.

1975

* * *

*Моей сестричке Томочке (1933–1961)**

Стоит перекличкой трамваев.
Трамваев и колоколов.
В ушах моих. Не отступает,
держась содержанием снов.

Как только глаза закрываю,
мне грезится сад. И в саду
земля облегченно вздыхает.
В каком это было году?

Курилось, клубилось сиренью,
тюльпанами, вербой, дождем
и розовым пахло вареньем,
улыбкой, грудным молоком.

* В возрасте 28 лет умерла от рака горла. – Прим. М. Г.

Акацией желтой светилось.
Черемухой сыпало снег.
И тополем мягким пушилось –
платком оренбургским для всех.

И ты – у сирени на страже –
чтоб ветки ее не ломать.
Я помню, ты плакала даже,
пытаясь ее защищать.



Под дождем сиреневым
ты стоишь.
Голубей гоняю я
из-под крыш.

Они машут крыльями
и шумят.
И ты с белой лилией.
И наш сад

весь в цвету сиреновом.
Ты стоишь.
Ты ушла от времени
и молчишь.

И твоей улыбкою
сад цветет.
И сняла калитку ты –
всяк войдет.



Я рукой тянусь
к белой лилии.
Если прикоснусь –
то помилуют.

1975

НАША ЮНОСТЬ

Томочке

Смотрю на камушек – александрит, –
как он зеленым пламенем горит.

Один такой – уже в земле сырой,
а этот отклонился. Стороной

пошел. Но тот же в землю путь
ему удастся только обогнуть.

Мы сравнивали камушки – чей краше –
так что колечки обижались наши.

Весь месяц май мы ахали в саду.
Я думала, что я с ума сойду.

Разглядывали каждый мы цветок –
так что потом цветился потолок.

И стаи пчел жужжали вокруг нас.
И мы их не боялись напоказ.

И майский цвет осыпал весь наш сад.
И пес наш оглушительно был рад.

И как завыл он позже, в ноябре!
Деревья вдруг застыли в серебре.

И камушек родной – александрит –
зеленым пламенем в сырой земле горит.

1975

ЛЕНЕ СТРОЕВОЙ*

Где ты? Я роняю слезы.
Помнишь Рим?
И Флоренция вся в розах.
Постоим.

Ты сказала, что подохнешь
там –
в лесу.
Русь любила ты, росу ее,
косу.

Где ты? Помнишь,
на Навоне мы стоим?
Голубей, фонтанов, смеха
и картин!

Где ты? Помнишь?
Маки, маки....
Дроги в Рим.
Мы над маками с тобою
постоим.

Бессребреница! Где ты?
Помнишь дом?
Ты безумная сестра моя –
сдаем.

Помнишь, платье примеряли?
Помнишь как?
Помнишь, как
в тряпье створили
кавардак?
Платье сбросила ты:
– Господи! Зачем?

* Покончила с собой в Париже в сентябре 1975 года. – *Прим. сост.*

Отошлем туда девчонкам!
Нам-то всем!
Господи! Не все ли нам-то? –
подыхать!
Не нужна мне для того
своя кровать!

На краю-то Рима
помнишь монастырь?
Розы там.
А ты бежала
на пустырь.

Бессребреница! Где ты?
Боже мой!
Ты хотела –
там –
чтоб ворон над тобой...

Весть я слышу всю
с рыданием и мольбой –
как ходила ты по свету.
Бог с тобой.

1975



...стихи – просты и прекрасны...

А. Пятигорский



...для антологии...

Н. Трауберг

* * *

Тамаре Исааковне Сильман

С тихой жалостью снова падают листья.
С тихой печалью шуршат под ногами они.
Падают и шуршат... А веточкам-то что до них!
Новые обретут весенней порой они.

Нет ни молнии черной, ни черного солнца.
И плащом золотистым одаривается земля.
Изменница – в белый потом оденется.

Плачем, плащом, плащаницей, саваном снежным
отшепчет, отнежит, отпеленает, отшелестит.

В зеленом пойдет потом взор мой радужить
надеждой розовой, легкостью нежной.

Потом золотистым плащом незатоптанным
оденется снова.

На птичьей основе слагаются песни.

И настроение сменится на грустно-лесное.

Сквозное – сквозь душу – дыхание запнется.
Отнежит, оттает, отпеленает, отшелестит.

1975

* * *

Натали

Мне ничего ни от кого не нужно.
Нет. Вру. Любви. Притом каритативной.
Брожу – кружу все по таким же лужам.
Мне Натали про диво пела гимны.

Возможно, ангел мой со мной незримый бродит.
Своим крылом, как зонтиком, отводит
кирпич, который может вдруг случайно
упасть на голову и сбить ее нечаянно.

А я ее теряла столько раз!
Он приставлял терпимую рукою.
Он ничего не делал напоказ.
Я даже думала, что нет его со мною.

Но различает он, наверно, случай
и попускает free choice, down movement*,
кружить по кругу и валиться с кручи.
Мне Натали сказала, что он умный.



Бредешь со мною, мудрый, верный витязь,
и видишь мысли, чувства, завихренья,
что кружатся и падают, как листья,
и добредешь со мной до погребенья.

Потом оставите меня. С моей душою
поплачете немного над травой.
Не оставляй ее. Спой ей про то же диво.
Прикрой ее крылом своим красивым.

1975

* * *

Незаменимых людей нет.
И заменимых друзей тоже.
Я вам любовь посылаю вслед.
Или, сама уходя, все же

на память шлю вам свою любовь,
не собирая осколков чаши.
Вместе разбили. А склеить вновь –
от «установки» зависит нашей.

* Свободный выбор, движение вниз (англ.).

И не такое переломать
после костра удавалось древним –
после того, как не признавать
Друга – согласно тройным напевам.

С плачем тихим они отходили –
им вослед голосил петух.
Собирали осколки, лепили, пили.
И наверх исходил их Дух.

1975

* * *

На лилии белой летит твое сердце во тьме.
И в озере звездам позволено ночью купаться.
И ангел выводит лучом золотым на крыле
такое, что только великой душе разобраться.

Душа твоя в слове на этой охрипшей земле.
И в гроздьях рябины ей с горечью ветра качаться.
Застыть каплей крови на нежной соленой губе.
И беличьей шкуркой в осенней любви распластаться.

1975

* * *

Речи твоей лоскуток прикрываю ладонью.
Стонут, гудят провода в иссыхающем поле.
Сердце стучится и рвется обратно в погоню.
И неотступно твой профиль стоит предо мною.

Сердце тебя позабыть совершенно не властно.
Что полюбила я в речи твоей лебединой –
вечно прекрасно и в сердце моем не погаснет.
Я пронесу лоскуток на дыханье едином.

1975

* * *

*Из окна моего вижу красные трубы,
А над трубами – легкий клубящийся дым.*

А. Ахматова

Приставив горячую чашку ко лбу,
в окно я смотрю, как меняются краски.
За черными ветками вижу трубу
без дыма, без копоты и без огласки.

Уже, как больная, с собой говорю.
Больная – на что указали мне люди.
В оглохшей пустыне зачем звонарю
звонить и предсказывать? Хуже не будет.

1975

* * *

Улетай в колечках дыма!
Улетай! Улетай!
Обронивши пепел мимо,
в тихом шелесте: «Прощай!..» –
отстающая от стаи
тихо складывает крылья.

О минутах своих милых –
о часах, о часах...
Приласкавшись боязливо,
захлебнувшись впопыхах,
укрываясь в тростниках,
тихо так, неторопливо,
и колечком в облаках,
в исчезающих лучах
тихо складывает крылья.

1975

ПАМЯТИ ЭДИКА ЗИЛЬБЕРМАНА*

Кого Боги любят, забирают молодыми.

Симонид

1

Бабочка над твоей землей. Луч света.
Прямоугольник земли.
Простой. Ровный.
Перед глазами стоит все это.

Бабочка – символ души по-гречески.
Долголетия – по-китайски.
В любимом твоём отечестве
греческом древнем
поэты писали, что боги забирают молодыми
тех, кого любят.
Вы любили взаимно, значит.
Конечно, я плачу.

Все споры теперь позади,
часы-разговоры.
Вернули часы.
Впереди –
стрелка твоя.
Для нас – ты на скором.

Мы для тебя теперь – если и есть –
то как на ладони.
И наготове стоят по кустам
эти черные кони.

* Погиб, упав с велосипеда и ударившись головой о лежавший на тротуаре мотор, 25 июля 1977 года в Бостоне. – Прим. М. Г.

2

Трубку снимаю – ты знаешь ответ
и спешишь нас поставить
в ту же известность.
Но «Нет!» –
слово «Нет!»
отшибает мне память.

Где я? Во сне?
Трубка. Голос твой.
Речь... «Ты живой?.. Но...»
Ты говоришь: «Скорби, горести нет.
Да, живой. Не покойник!»

«Свет! – говоришь. – Красота!
Как и знал. Прекращенье
существованья».
Твоя правота.
О затмение мое!
О отсутствие зренья!

3

Смещение
в моих мозгах собственных!
Мне самой раскрошило череп!
Рушится все!
О Господи!
Удержи!
Удержи, во что верю!

О Боже!
И для чего же
ты написал на санскрите
утром:

«Лоб – раскрошить,
лобное место, казнить»
и:
«Нирвана – конечная цель,
прекращенье существования,
небытие».

Одежду в красном с тебя вернули.
Часы. Бумаги.
Вернее – мысли твои.
Обманули!
Обманули тебя! Обманули!
Как черные маги.

4

Уходишь в ночь.
И тонок, тонок луч.
Вишу над тьмой.
За луч держусь и плачу.

Несчастный случай!

Свете Тихий мой!
Я не вмещаю,
что все это значит.

Я не вмещаю.

Господи! Прости!

В бессмысленность текут –
в бездонность –
слезы...
И застывают горько на пути...

Привязанность – обрывки нитей...
Слезы...

О помяни нас, Господи! Прости!
О помяни нас, Тихий, Тихий Свете! –
губами шевелю...

Дыханье – ветер –
душа – пылинка – крылышко –
в горсти...

1977

МОГИЛА ДРУЖБЫ

What Friends, if to myself untrue?

A. Marvell*

*А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обоились без нас – и даже
Все к лучшему...*

А. Ахматова

Долгим О-О-О-О над могилой дружбы.
Плачь, о сердце! О сердце, плачь!
Двоехолмием двоедушье.
Раструбился на У-У-У-У трубач.

Оглуши себя! О не слушай!
Обмани себя! Ослепи!
Бейся, сердце! Все глуше! Глуше!
И беги с тех холмов! Беги!

Урони себя навзничь в волны!
И омойся морской водой!
И не помни себя! Не помни!
И очнись! И пройди стороной!

1975, 1977

* Что о друзьях, коль сам себе не верен? А. Марвелл. – Перевод М.Г.

* * *

*Иеве Виттинс***Молодость моя! Моя чужая
Молодость! Мой сапожок непарный!*

М. Цветаева

И обратилась в соль собачья верность.
Оскально-злобно заревела ревность.
Ухмыльно разлетелась окаянность.
И саван соткала непостоянность.

Надежду подавляла неизвестность.
Вороний подавала крик окрестность.
И продавала имена безвестность.
И предавала край земли отвесность.

И встретилась сама с собою юность.
И проявилась сапожков непарность.
И поседела за ночь первозданность,
способная сама на покаянность.

И бренность покрывала современность.
И будущность вливала в свою оность.
И обращалась вокруг оси законность.
Перчатки умывала беспардонность.

И вечность порывалась в ежедневность.
Над легкою землей плыла напевность.
Над скорбной нивой низилась покорность.
Над светлым горем высилась нагорность.

1978

* Иеве Виттинс, профессору русской кафедры канадского университета Дальхаузи, вся наша семья особенно благодарна. С ее помощью Марина начала ездить в Россию по программе студенческого обмена, организованной профессором Норманом Перейра. Таким образом Марина получила возможность видеться с мамой, с родными, с друзьями и посещать родные могилы после шестнадцати лет разлуки. Так с 1988 года начался новый этап нашей жизни не только на Западе, но и в России. – *Прим. сост.*

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛДНЯ

Mesa, je suis Ysé. C'est moi.

P. Claudel. Partage de Midi.*

Adieu Adieu

Soleil cou coupé..

G. Apollinaire**

1

Я несчастный некий час целую.
И так мало остается жить.
Изумленною рукою проведу я
по глазам... Кораблик будет плыть,

как ему положено, под солнцем,
по седым пучинам мировым.
И сорвутся (Боже! Успокоиться
дай мне!) волны с разума... И дым

задрожит прозрачной белой стайкой...
За собой дотла его сожжем,
наш кораблик негасимый, маленький.
Солнцу горло полоснут ножом.

2

Утро голубкой порхает.
Море улыбкой цветет.
Солнце свой путь продолжает.
Тихо кораблик плывет.

Солнце – два сердца. Ребенок
целится в них – сразу в два.

* *Месá, я – Исé. Это я. П. Клодель. Разделение полдня. – Перевод М.Г.*

** *Прощай Прощай/ Солнце с перерезанным горлом... Г. Аполлинер. – Перевод М.Г.*

Так детский смех его звонок,
что на волнах кружева

весело вить начинают
свой белоснежный узор.
Им еще не угрожает
темно-лиловый позор.

3

Ровно двенадцать часов.
Целься, ребеночек, целься!
Волны на сто голосов бьются.
И триста по Цельсию.

Бешенство, буйство и бред,
осатанелость, горячка,
рьяность. И весь белый свет
в пене по палубе скачет.

Кони его понесли.
Волны трясутся в падучей.
И нашатырь принесли
с громом и молнией тучи.

4

Захолодь и красный полдень,
обморок и птичий крик.
В памяти добра ты найден,
в золоте прозрачном, миг
звона синего.

5

Желто-лиловою жаждой
вечер навстречу ползет.

Он никогда не опаздывает.
Знает он времени счет.

Темно-лиловым позором
волны. Ведь стыд-то какой!
Небо обходит дозором
море и ставит конвой.

Морем оно недовольно –
краски смешались. И свет,
тут же рехнувшись на воле,
будет держать свой ответ.

6

Прекрасное! Уходишь? Что ж! Прощай!
Уходишь. Вижу. Удлинились тени.
Беги, волна! Кораблик догоняй!

Как в домике – в нем были окна, стены,
стропила, крыша, пол и потолок.
И было ему море по колено.
Уносит в небо ветку голубок.

Обугленные доски да поленья вокруг...

7

Кусочки звона синего, слова,
полоска алая на горизонте, щепки,
ракушки, мель, на ней лежит трава,
в песок впиваясь, как в спасенье, – цепко.

8

Ровно двенадцать часов.
Кладбище стынет морское.

Нет никаких голосов.
Тихо. Не слышно прибоя.

В мокрых ладонях звезда.
Господи! Сколько покоя!
Море целую в глаза.
Тихо бреду за волною.

9

Что же за приступ тоски,
грусти и тихой печали?
В отклике что ли отчаясь,
тихо плывут лепестки...

В отклике что ли отчаясь,
стынут у края земли...

Крик морской птицы вдали
над могилой морской означает,
где полегли корабли.

1978

* * *

О временах простых, о глиняных обидах,
о скорбной, скромной и высокой жизни,
о радости на бедном языке
страданием накаленный голос тихо
простую песню о рождении улыбки
пел. Улыбки той, что Слово понимает.
Которое теряют, так что песня
уже не узнает саму себя...

1978

АЛЕКСАНДРУ АРКАДЬЕВИЧУ ГАЛИЧУ

*По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел...*

М. Лермонтов

По городу звучному песня плыла
и тихую песня была.
И «скорая помощь», и снег, и трава
ее понимали слова.

О рае оставленном пела душа,
земной благодатью дыша.
О детстве на тихом лугу, о беде
земли и ее красоте.

И плыли внизу над землей облака.
И странен был взгляд свысока
на Черную речку, Инту, Абакан,
Треблинку, Кресты, Магадан.

В прощальном поклоне застыли цветы,
как знаки святой нищеты.
И приняли душу два белых крыла.
И землю метель замела.

И долго над светом томилась метель,
качая земную постель.
И белые стаи летели вдали,
и дивные песни земли.

15 декабря 1978 (в годовщину смерти)



...чудесное стихотворение!

Ю. Алешковский

ВЕКАМИ ПЕЛ НЕЗАЩИЩЕННЫЙ ГОЛОС*

Леониду Ефимовичу Пинскому

*...А если кто не примет вас и не послушает
слов ваших, то, выходя из дома или из города,
отрясите прах от ног ваших...*

Евангелие от Матфея. 10,14

Веками пел незащищенный голос
о скорбной, скромной и высокой жизни,
о радости на бедном языке, –
улыбке той, что Слово понимает,
которое теряют, так что песня
уже не узнает саму себя.

Теряют, что не выкинешь из песни.

И вот Оно бездомно. Ищет крышу.
Отряхивает прах. Опять стучится.
Приходит. И свои не узнают.

Опять мелькает улица. Аптека.
Опять глотают снег, малину, капли.
Опять даются клятвы. Шепчут губы.
И пламенные письма истлевают.

С прекрасной головы платок срывают.
Перед окном заветным рубят тополь.
В пространстве выжигают право вдоха.

Шакалы-зрители на празднество пришли.

Высокий спорщик. Дивный пешеход.
«В лице его дыхание жизни вдунул...»
И стал душой живою человек.

Свинцом залито глиняное сердце.
Составлен полный список кораблей.

1981



* Твое стихотворение памяти Л. Е. Пинского читалось
вслух в день его 75-летия (первый день рождения
без него) и вызвало общее сочувствие.
Евгения Михайловна даже прослезилась.

Г. Померанц

ОПЯТЬ С УЗЕЛКОМ

Володе Кормеру

Опять с узелком подойду утром рано
к больничным дверям.

М. Цветаева

Хватаясь за грудь,
с узелком удаляясь от двери,
себе не простишь,
растеряешься: «Не доглядели!»

И вновь твоя кровь
закипит и застынет в прожилках.
И солнце опять
в коридор принесут на носилках.

И неба клочок
задрожит над постелью больничной.
Намокнет платок.
Все, что было, казалось обычным,

в мозгу промелькнет.
Совершенны дела твои, Боже!

И страх, и любовь
вместе бились под тоненькой кожей.

И страх, и любовь.
В кулаках безнадежных забьешься,
пытаясь вместить.
Потеряешь сознание. Очнешься.

Озябнешь в ногах –
и к плите подползешь. Выпьешь чаю.
Уставишься в пол.
И на все тишина отвечает.

1986

Елена Глазова

О ДРУЖБЕ С ВЛАДИМИРОМ КОРМЕРОМ

Очень четко, как будто это было вчера, я помню Владимира Кормера, входящего в нашу квартиру. Помню радость Марины и папы, их абсолютно откровенные, «без дураков», разговоры. Помню всех за чаем на нашей кухне, смеющихся. И я уже тогда отметила, что присутствие Володи начисто снимало ощущение страха, время от времени охватывавшего семью. Сын «лишенца», он не боялся атмосферы поражения, привкуса нависшего несчастья. Это была для него как бы домашняя обстановка, «история случайного семейства». Помню, как писал он статью под псевдонимом Алтаев и ее идеи обсуждал у нас на кухне. Статья была о «двойном сознании интеллигенции и псевдокультуре», и вышла она в «Вестнике русского христианского движения» у Никиты Струве в 1970 году. Потом Володя писал роман, а Марина подшучивала, что приходит он к нам и для «полевого материала». Все опять смеялись, пили вино или чай. Мне казалось, для Володи, как для никого другого, было ясно, что именно в таких условиях пробиваются к жизни наиболее стойкие семена будущего, и мне тоже становилось весело. Марина и папа очень любили его, но я не понимала, почему у нас все горит и судьба ломается, а Володя спокоен. Теперь я знаю: его время тогда еще не пришло. Он хотел писать, и только после нашего отъезда, став сильнейшим русским писателем, выпил он горький уксус...

После того, как я стала опять приезжать в Москву, я встретила вдову Володи, скульптора Елену Мунц, только летом 2012 года. Была я в ее студии вместе с Мариной Алхазовой и моей дочкой Машей. Девочка моя, выросшая на Западе, не хотела уходить – рассматривала работы Лены и ее друзей, слушала, смеялась, спрашивала. А потом Лена, подумав, протянула мне письмо и фотографии: «Это письмо и фотографии от Вашего отца лежали рядом с умирающим Володей. Он очень ценил это письмо и часто перечитывал его в последние

свои недели». На одной из фотографий, несколько расплывчатой, папа сидит на верблюде, а египетские пирамиды окаймляют снимок.

Я решила включить это письмо в книгу. Тон отца, старавшегося шутками скрыть боль и глубочайшее сочувствие и казаться спокойным, так напомнили мне самого Володю. Теперь Володино равновесие и несколько иронический разговор тех лет не удивляют меня. Так говорили друг с другом и друг друга поддерживали двое сильных, умных мужчин, выбравших, как это ни кажется странным при всей их красоте и обаянии, дорогу мытарей-праведников. Они были как бы выброшены из памяти истории их страны, но принадлежат ей и отдали ей свою жизнь, смывая с ее лика всепоглощающую грязь реальности..

Дай Бог много дней и настоящего успеха подругам их жизни, охраняющим ясность наших путей.

Юрий Глазов

ПИСЬМО К ВЛАДИМИРУ КОРМЕРУ

12 авг. 86

Дорогой Володя,

прошло немало лет с тех пор, как мы с тобою виделись в последний раз. Наши общие друзья либо писали, либо говорили о тебе, и мне всегда было жаль, что мы не пишем друг другу в наш век железных дорог, авиапочты и спутников. Но вот теперь я смотрю на твою фотографию в свитере, вижу твой адрес и подумал: а почему бы не черкнуть пару слов?

На более серьезной ноте я, конечно, слышал, что ты не совсем здоров. Надеюсь, что вывезет. Бывают в мире чудеса. Меж тем я о тебе каждый день думаю, чтоб не сказать: молюсь. Люблю тебя всем сердцем – ведь мы с тобой породнены*, кажись. Отпиши мне, если будет охота и здоровье, какая жисть теперь в столице.

* Володя Кормер был посажённым отцом (или, как они говорили, шафёром) на тайном венчании Марины и папы в 1971 году (см. с. 114). Венчал их отец Александр Мень на Красную Горку в Новой Деревне. Наталья Трауберг была посажённой матерью. – *Прим. сост.*

Я как будто ничего не понимаю и все больше занимаюсь детскими загадками типа: что такое – без окон, без дверей полна горница людей?* И все такое прочее. Прости за чепуху!

Пиши! Да позаботится о тебе Небо!

Обнимаю тебя. Привет от Марины.

Целую. Юрий Глазов

* Здесь намек на ситуацию в стране и одновременно на анекдот про Василия Ивановича Чапаева, который на все загадки отвечал «ж...». – *Прим. сост.*

III. Я ДОМ ИЩУ (1975–2010)

Юрий Глазов

НА ЧУЖОЙ СТОРОНКЕ

Переселение в Новую Шотландию

Конец 1970-х. Какой скрытой и саднящей болью были наполнены дни нашей подготовки к переселению в Новую Шотландию! Меня ожидала там солидная работа, которую пытались заполучить многие и многие известные слависты в Америке. Я становился полным профессором после унижительного пребывания в Бостоне в качестве странного подмастерья с большим числом студентов, с частыми приглашениями выступать в разных уголках большой страны, но, увы, без надежды на постоянное место. Что-то я делал не так! Чего-то я не понимал и не понял в этой большой стране. В последнее время мне становилось все более и более ясно, что, чем красноречивее я говорил о положении дел в Советской России, тем меньше были мои шансы добиться нужной позиции в одном из хороших американских университетов. До меня доходили разговоры знакомых славистов, что сам факт получения мною новой работы в довольно известном университете Канады рассматривался ими как не заслуженная мной удача, везение, милостивый взгляд фортуны, результат чьих-то тайных интриг. <...>

Отправляясь в Галифакс, я в глубине души надеялся, что мы пробудем там не более двух–трех лет. Не я первый – в анналах остракизма – пытался найти утешение в мысли, что изгнание будет не вечным и не чрезмерно продолжительным. В эти годы я часто выезжал на научные конференции в Америку, а позже и в Европу, думая, что какой-нибудь хороший и влиятельный чело-

век заметит меня, оценит, вероятно, мои способности и поможет мне возвратиться в страну обетованную или переехать в ареал, более густонаселенный. Что ж, завязывались хорошие знакомства, выступал я как будто бы с неплохими докладами, печатались мои статьи и позже книги – правда, весьма часто политически заостренные, – но, чем больше мы жили в Новой Шотландии, тем больше приходил я к мысли, что наше пребывание там может затянуться вопреки ожиданиям. Думаю, что главная причина состояла в том, что ученые мужи, от которых зависела моя судьба, полагали, что мне не следует роптать на свою судьбу, поскольку я весьма неплохо устроился в период, когда вакансий на научную работу в стране кот наплакал, и, зная о моих настроениях, полагали, что серьезные научные занятия и увлечение тем, что они называют политикой, – «две вещи несовместные». И мне ли упрекать их в том, что они старались подальше держаться от забот, могущих серьезно омрачить их спокойную жизнь? В эти годы целыми косяками прибывали в эмиграцию русские, носители языка и знатоки литературы, и их пребывание в стране вызывало в среде американских филологов нечто близкое к панике. Прибывавшие нет-нет да и обнаруживали свой гонорок, резко отличаясь от здешних большей частью вышколенных западных ученых. Как мы уже заметили это в Бостоне, при всех своих способностях пришельцы не очень хорошо ладили со своими благодетелями, а еще хуже между собой. Иными словами, мы подзадержались в Новой Шотландии, и Марина нередко посмеивалась, что мы угодили в водоворот Бермудского треугольника, где корабли бесследно и навсегда исчезают. <...>

Это чистая правда, что на новом месте, озираясь первые месяцы вокруг и вспоминая недавние счастливые дни в Новой Англии, я не мог не чувствовать себя жертвой кораблекрушения, в результате которого сами-то мы спаслись, но оказались на острове, немало напоминающем обиталище злополучного Робинзона Крузо. Перед отплытием последнего из Англии его не раз увещевали близкие выбросить из головы эту чушь о странствиях по морям, по волнам. Но куда там – он не был склонен слушать добрых со-

ветов, и я легко узнавал в этом упорстве самого себя. Параллелей со знаменитым обитателем дикого, заброшенного острова можно было бы привести немало. Мы оказались оторванными не только от России, но и от Америки, от наших новообретенных друзей и русских людей вообще. Одинокими вечерами, случавшимися очень нередко, можно было всласть размышлять о том, с какого райского древа вкусили мы запретное яблоко без должного соизволения, за что были высланы из сада Эдемского, и за какие грехи наши наказаны мы тем, что каждый раз, когда намереваемся съездить в Америку, видим на таможне херувимов с пламенеющим мечом, знающих свое ремесло и умеющих вразумить забывчивых, что прошлое принадлежит отныне приятным воспоминаниям и в райский сад возврата нет. <...>

Я оказался наедине с пространным полуостровом, на котором вполне могли бы уместиться Франция и Германия, – полуостровом, от одного конца которого до другого нужно было мчаться с хорошей скоростью на машине не менее пятнадцати часов. Полуостров полон лесов, гор и каменистых массивов, изобилует озерами, весь изрезан удивительными бухтами и окружен бесконечными островами. Глядя на карту, на которой раскинулась в океане Новая Шотландия, каждый может поддаться своему воображению: мне лично Новая Шотландия напоминает громадный канделябр в образе хвостатого кита, подвешенного за жабры к узкому перешейку канадского Нового Брунсвика. Конечно, львиную долю моего времени отнимали университет, моя семья и мои занятия, но ежедневно и еженедельно совершал я прогулки или поездки по городу и полуострову, и мне начинали постепенно открываться красоты этих уединенных мест. Сердце мое продолжало страдать в отрыве от больших городов и шумной цивилизации, но в душу мою исподволь, малоощутимо входила благодатная тишина нашего нового убежища. Наши дети, начавши заниматься, снова почувствовали близость родителей, а Леночка, продолжая занятия в университете, в очень скором времени познакомилась с Кевином, совсем недавно приехавшим сюда учиться молодым англичанином: неожиданно для всех нас меж ними возникла и укреплялась

дружба, переросшая в любовь, и следующей весной этот талантливый аспирант, успешно занимавшийся древнегреческой филологией, просил у меня руки нашей дочери.

Пустыня пустыней, но мы теперь поселились в прелестном и весьма известном западному миру городе, выстроенном на живописном мысе в бухте Атлантического океана два с половиной столетия назад. В городе было несколько университетов, и Дальхаузи, привлекавший тысячи студентов из многих уголков Северной Америки и других стран мира, считался одним из наиболее старинных и престижных учебных заведений в Канаде. У меня еще найдется время описать достоинства Галифакса, в международный порт которого продолжают приходить военные корабли и торговые суда, но сейчас я не могу не посвятить несколько строк редким красотам и предместьям города.

Мою любовь – и пожизненную – пробудил и приковал к себе огромный, необыкновенной красоты парк, подаренный городу английской королевой Викторией, а более точно – отданный ею городу навечно в аренду за несколько шиллингов и называемый здесь не без умиления Приятный прибрежный парк – Point Pleasant Park. Я видел в своей жизни немало прекрасных парков: с иными связаны лучшие годы жизни, в иных я провел всего лишь несколько дней. С юношеской грустью, неожиданными интеллектуальными открытиями и неизвестностью в отношении будущего бродил я на окраине Москвы по большому парку Сокольники, близ которого был расположен мой востоковедный институт. Нескучный сад на берегу Москвы-реки связан с другими пятью годами моей нелегкой юности и началом трудовой жизни. Вспоминаются Серебряный бор в Москве и Измайлово. То были годы прозрений и любви, стремления понять общество, в котором я жил, ощущения грозящей опасности и звериного инстинкта не погибнуть, выжить. Булонский лес под Парижем и Гайд-парк в Лондоне оставили интересные воспоминания, но нежных чувств не пробудили. Центральный парк в Нью-Йорке, через который я проезжал на машине несколько раз поздно вечером, оставил ощущение, близкое к ужасу, из-за разгула ночной преступности.

Приятный прибрежный парк, до которого я добираюсь обычно всего лишь за несколько минут, превзошел все мои ожидания и стал дорогим местом прогулок с детьми, но в особенности незабываемого времяпрепровождения с Мариной. Этот громадный парк, в котором по многим его дорожкам и аллеям можно бродить часами, простирается на десятки гектаров вдоль постоянно меняющегося океана, в глубине старинной дубравы, среди лесистых холмов и пленяющих взор зеленых полян. С каким бы настроением, подавленным или радостным, ни появлялся я тут, меня радушно встречали мои старые друзья – могучие клены и вязы, стройные сосны и высокие дубы. Слетались голуби, которым я привозил корм, толпились многочисленные утки, уклоняясь от спора с властными и хищными чайками, устремлявшимися на ломтики черствого хлеба, что я бросал им на скользкие скалы. Бесстрашно бегают по лесным аллеям прямо под ногами быстрые белочки с длинными хвостами: испуг на них наводят одни лишь собаки, которых приводят на прогулку здешние жители, – по их породам в разговорах со словоохотливыми и влюбленными в них хозяевами можно изучать науку собаководения. Много-много раз отправлялись мы с Мариной по грибы в этот парк: дивные боровики, крепкие подосиновики, с широкими шляпками подберезовики, масса красивых сыроежек поджидали нас тут, и, как правило, я никак не мог угнаться за Мариной в способности отыскать белые грибы и подосиновики где-либо в укромных зарослях после недавно прошедшего дождя. В эти счастливые часы мы вспоминали нашу беспечную молодость, проведенную в Подмоскowie и Прибалтике, и почти слышали запах отличных грибных супов, варить которые Марина была такая мастерица. <...>

* * *

*Арф небесных отголосок
Слабо слышу...*

Е. Баратынский

Смотрю в окно и слышу голоса.
Не понимаю их сплетенья – связи.
Спрут в голове. И прутья по глазам.
И путы... И... Из непролазной вязи

прошу помочь мне вызволить мозги.
За волосы меня с мозгами вместе.
Поскольку в принципе не вижу я ни зги
и увязаю в этом самом тесте.

Глухонемых заимствую язык.
Озвученным ворочаю все хуже.
И принимать мой слух совсем отвык.
И голос, что ловлю, других всех глуше.

1975

* * *

От цивилизации оседлой я, видно.
Не искала ни табора, ни табуна.
Рыбкам, плывущим из моря в море, бывает, завидую.
Особенно, когда в глазах каких читаю:
«Ни покрышки тебе! Ни дна!»

Ну что ж! В той форме или в другой еще –
Каждому овощу – свой фрукт!
Каждому орлику – своя решка!
Каждой рыбешке – опять же свой пруд!

Я хотела быть к земле привязанной.
(– Погоди! Сбудется! Не обойти!
Точки только, как говорится, разные
«локальные» представляются на пути!)

Скифы! О скифы! Вы чьи были предки?
Кто говорит во мне? Упомянутая соха?
Что делать мне «с моей грудною клеткою»?
И что с той линией, где как сноха

я предстаю для своей свекрови
и обладаю наследством отца?
Именно в том самом «культурном слое»
так красиво написали о Слове
и что не будет ему конца.

Творю молитву средь грамотных дамочек
и средь неграмотных знатоков. Все же
по косточкам разобрали они каждую парочку,
и кто без парочки, и кто без кожи уже.

Пьют кофе. Трактуют в литературе –
художник какой, писатель, поэт,
и я себя совсем уже последней дурой,
воздух глотающей, свожу на нет.

Борюсь и напарываюсь – за что боролась.
Identity. Personality. Women's lib*

* Идентичность. Личность. Движение женского освобождения. (англ.)

меня, слава тебе, Господи! – еще не совсем заporоло!
Что я буду делать со свободой?

Устрою всхлип.

1975

ГОРОДУ ГАЛИФАКСУ

*Дорогие Мариночка и Юрочка!...
Пусть Вам там в Вашем оперно-чопорном
Галифаксе вспоминаются иные города,
иные широты... И кто знает – где, под какими
небесами нам еще придется встретиться...**

А. Галич

Когда-нибудь и от тебя уеду я,
пристанище ты ласковое, нежное.
Я дом ищу и все никак не ведаю,
что в небе дом. Все остаюсь невеждою.

Твой лес на берегу в зеленом свете
еще раз подтверждает, что на свете
есть чудеса. Там нитями трава
переплетает волн морских слова.

Плетет в тиши чудесный свой ковер –
рисунком воплощенный разговор,
выводит терпеливо карту рая,
для птиц земных деревья выбирая.

В твоём лесу лисички островками,
светящимися нитями, стихами.

* С пленки песен, подаренной Александром Аркадьевичем Галичем Марине и Юре Глазовым в сентябре 1977 года (за три месяца до смерти). – Прим. сост.

Под светом тишиной растет трава,
переплетая нити и слова.

Мой маленький! Ты осажден деревьями!
Рябинка даже как-то затесалась.
Ты весь в цветах, какие в той деревне я
в далекий год рвала. Им причащалась.

Как жутко умертвить, сорвать любовь!
При встрече напороться на разлуку
и по тому же кругу вновь и вновь
гонять свое бессмертие с испугом.

Как неожиданно найти в разлуке встречу!

Горите, о горите, мои свечи!
И оплывайте горькими слезами!
Вот я иду с опухшими глазами
И ничего не вижу из-за слез.

Шепчу, пытаюсь выразить словами
то, что деревья говорят ветвями,
когда под корень их и в воздухе мороз.

1975

* * *

На песке лежит змея
настороженно и тайно.
Замерла над нею я.
Задохнулась в ожиданье.

Раскаленный воздух жжет.
И песка застыли волны.
И висок мой просит лед.
А ее взгляд – стали полный.

1975

* * *

На тонкой тросточке застыла стрекоза.
И у нее огромные глаза.
Красавица она или урод –
кто влюбится в нее, тот разберет.

Утенок гадкий крылышки сложил.
Смущенно шейкой длинной покрутил.
И Золушка свой ценный башмачок
упрятала на время в сундучок.

Как опознать ее без башмачка?
Принц хочет без соринки, без сучка!

Она на кухне фартук надевает
и тайну никому не доверяет.

1975

* * *

Красное солнце. Венок голубой.
В цель поразил их стрелок удалой.
Стало возможным на Землю попасть,
но с облаков ему вышло упасть.

Черное солнце. Зеленый венок.
В цель поразил их удалый стрелок.
Стало возможным вдруг жить на Земле,
страх свой осилить в пугающей мгле.

1975

БЕДНАЯ ЕВА!

Бедная Ева! Ни детства, ни матери.
Мужем – отец-не отец.
Шепот. Дорожка из садика скатертью.
Ева – творенья венец!

В чреве убийца. В душе поругание.
В сердце застывшая кровь
сына другого. Разлукой свидание.
Деревом смерти любовь.

1975, 1981



Стихи просто прелестны!

Ю. Алешковский

* * *

Моим детям – Леночке, Грише и Яше

Где тот, кому могу сказать,
как пульс мой бьется?
Кто обернется, так сказать,
не надсмеется?

Пути не вижу впереди!
Где мой начальник?
О! Дай мне время! Погоди!
Сниму отчаяние.

Уткнусь лицом в морской подол.
Оденусь в воздух.
Вдруг не увижу я Престол
и будет поздно!

Неботрясеньем проучусь.
И вид странички
мне явит полностью мой груз
без обезлички.

Вот конь стоит передо мной.
Какого цвета?
Дай мне с повинной головой
пройти по свету!

Не дай той боли напиться
мою гордыню!
И дай мне силы уступать!
В гордыне стынет

и леденеет кровь моя!
Дрожат коленки!
И вот она уже меня
прижала к стенке!

Горит щека моя. Горит.
Не дам другую!
Во рту скрипит уже, скрипит
напропалую.

Вперяюсь в звезды и кричу:
– Вы там какие?
Вдруг вы подвластны палачу,
иголки злые?

Дай Ты Звезду мне отыскать,
что мир хранила,
и за начальника принять
лишь Эту Силу.

Про страх, про жуть, про суть понять,
про смерть, про небо.
И камня в руку не подать,
что просит хлеба.

1975

ЗИНОЧКЕ И ГРИШЕ И ТОМУ БОЛЬШОМУ ЛЕСУ*

Несчастье есть несчастье есть несчастье.
Брожу в лесу английской королевы.
И, не сходя с тропы, могу поклясться,
что узнаю тебя, мой лес и ели.

Несчастье есть несчастье есть несчастье.
Мой берег и вода, что солью стала.
Горит, горит руки моей запястье.
Я сохнуть по тебе не перестала.

Несчастье есть несчастье есть несчастье.
И вновь, и вновь осенний лист кружится.
Чем держишь ты? Молчишь какою властью?
Багряным золотом? Тоской с тропинки сбиться?

Ты падаешь так медленно, так тихо.
Лихвы-отваги нет в твоём паденье.
Боишься, как бы кто не захихикал?
И небеса – в глазах твоих – круженьем.

Какой спиралью он нисходит наземь?
Возможно, знает Тот, Кто смотрит сверху.
И если Сам сошел, то не увязну
и буду ждать, что Он протянет ветку.

Несчастье есть несчастье есть несчастье.
Стучит ритмично дождик по карнизу.
Снаружи и внутри одно ненастье.
Что можно увидеть при этом снизу?

Point Pleasant Park, Галифакс, 1975

* Отрывок из письма Григория Померанца и Зины Миркиной: «Мы живем среди больших горестей (люди близкие нам болеют и умирают) и больших радостей – от коктебельских холмов, от подмосковных сосен». Священным местом «подмосковных сосен» был для Зины и Гриши Рублевский лес, куда они часто брали с собой на прогулки Марину. – *Прим. сост.*

ВСЕ ДУШИ МИЛЫХ

*Все души милых на высоких звездах.
Как хорошо, что некого терять
И можно плакать...*

Анна Ахматова

*Our two souls therefore, which are one,
Though I must go, endure not yet
A breach, but an expansion,
Like gold to aery thinness beat.**

John Donne

Все души милых – драгоценный слиток,
растянутый в прозрачайшую нить.
Я расставаья выпила напиток.
Кого, скажите, мне благодарить?

И вот опять я на иной земле.
И вот опять растянуты все нити.
Спасибо тем, кто помнит обо мне!
А те, кого не помню, извините!

Как хорошо, что некому звонить!
Как хорошо, что все давно уж сказано!
Как хорошо, что до смерти любить
я никого на свете не обязана!

Любовь моя! Мой свиток голубой!
Моя лачужка! Остров мой родной!
Иные берега. Иной прибор.
И связано все нитью золотой.

1975

* Простимся. Ибо мы – одно. / Двух наших душ не расчленишь, / Как слиток драгоценный. Но / Отъезд мой их растянет в нить. Джон Донн. – Перевод И. Бродского.

* * *

*Аллочке Калмыковой**

Белым снегом опустится Купина.*
И не страшно будет мне, что я одна.

И платок сорву с волос – заворошусь!
В шаль – шалунью – хохотунью – завернусь!

Замотаюсь – запыхаюсь – закружусь!
В белый снег – в гвоздики – в астры – повалюсь!

Станет все вокруг меня белым-бело!
И схвачу я вдруг на миг, что так светло

в хороводе – в снежном вихре – станцевать
и от счастья легкий снег поцеловать!

Обожжет опять мне звездочкой ладонь.
Я поверю в очищающий огонь!

1975



* Стихотворение – самое лучшее!

В. Бетаки

* Из письма Аллы Калмыковой Марине и Елене: «Я вряд ли заслуживаю такого посвящения, но если вы так хотите, мне остается только принять с благодарностью и мысленно поцеловать обеих. <...> Как ни странно, я в нем узнала себя, какую-то часть себя. Будучи в Якутии, в тундре, когда впервые началась настоящая пурга, я выскочила на улицу в ночной рубашке и вальсом облетела больничку, в которой жила. Это был восторг! Да и сейчас живу в снегах, таких роскошных этой зимой» (2013). – *Прим. сост.*

ПОЭТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ



Любимые слова: сочельник,
свеча, свирель, осина, лист,
следы, тростник... Вдруг можжевельник
закрался в список, строг и чист.

Дрожит осенний лист последний,
и не жужжит уже пчела.
Печаль лежит прозрачной тенью
от обнаженного ствола.

Мне не понравились слова
вчера. При нашем разговоре
присутствовали лишних трое.
Не просто третий –
целых трое.

Черемуха, чертополох,
черешня, вишня...
И в списке самых ценных слов
не так все вышло.



*The Lord in His wisdom
Made the fly
And then forgot
To tell us why*.*

O. Nash

Я слушаю ребенка разговор.
Он отвечает сам себе. И разворот

* По мудрости своей / Бог сделал муху, / А почему – / Забыл нам сообщить.
О. Нэш. – Перевод М.Г.

того, как видит он и как соединяет,
меня опять и снова поражает.

– Послушай, мамочка! А для чего
вокруг летают комары и мухи?
Зачем Бог сделал их? И вот еще...

А мне не ясно вообще ни крохи!

Но тут я начинаю колдовать,
придумывать и умной притворяться.
Еще мне не хватает спасовать
и здесь. У взрослых – репутация!

– Бог создал муху... Создал для того...

Тут экология на языке вертится.
И чувствую, что снова я того.
И весь словесный сбор на репещию.
Но для ответа все ни к черту не годится.

– Смотри, как мушка смотрит на меня!
Она, наверно, думает: «К чему же
Он сделал их?» А я вчера, а я...
Куда ты смотришь, мамочка? Здесь лужа!

•

Где б такой воды испить,
чтоб все начисто забыть?

А потом такой испить,
чтобы все восстановить.

Только по-другому –
по-доброму – не злому!

•

Отчего ж не избить лежащего,
не согнуть его в три погибели,
не презреть тихий, скрытый плач его
и не вылизать зад у сильного?

•

Ни войнам, ни чуме конца совсем не видно.
И мыслящий тростник на жертву обречен.
Бег времени? Но газ в печи большой. Обидно ль,
когда с безвременьем ты насмерть обручен?

•

Танечке Ямпольской

Холодно розе в снегу...

О. Мандельштам

Холодно птице в силках.
В будущем светлом – поэту.
Часу зари – над острогом.
Телу – в движении к цели.
Холодно розе в снегу.

•

Полу Даффи

*Pro captu lectoris habent sua fata libelli...**

Т. Maurus

Если б только свою судьбу имели книжки!
Но имеет свою судьбу и тот, кто их читает.

* От таланта читателя судьба книги зависит... Т. Мавр. – Перевод М. Г.

Разлетаются по ветру буйному странички...
Обескровленные губы шепчут строчки...

•

*О. М. на вокзале подошел к вокзальной
кадке, что-то на нее повесил и сказал:
«Араб-кочевник в пустыне...»*

Н. Мандельштам

Узелок на пальме, голубок из глины,
беспокойство, что душа темна,
строчка виноградная невинная,
робкий камушек, событий глубина.

•

Страшно птиц на колючей проволоке вместо нот –
созерцать.
Сколько раз петух пред рассветом опять прокричит –
сосчитать.
Для всех стрел, всех камней самой близкой мишенью –
стать.
Кто кричал по тебе в пустоте, в темноте –
слишком поздно узнать.

Страшно умным, глупым, сытым, голодным –
быть (голодным все же страшнее).
Скопом всем не пророка, а фюрера, возрадуясь, –
возлюбить.
Как чудесной сказке черному слуху –
внять (черному слуху люди скорее верят).
Голос чистый, чистое слово на край света –
загнать.
С чистым воздухом навеки его –
разнять.

Камнем тяжелым,
как недобрую тяжесть с недоброй целью –
смертный слух этот черный,
этот шепот недобрый –
за пазуху положить,
сбереженьем на день черно-серого цвета –
его укрыть.



– Покоя, сердце, правда просишь?
Тебе поможет время.
Оно твой друг, поскольку проседей
снимает напряжение.

– Нет! В повороте головы
без проседи и с нею –
открыто столько красоты,
что я равно немею.

– Немеешь. Это же покой!
Застыл и без движенья!

– Но так снаружи! Боже мой!
Внутри – сплошное жженье!

И там внутри –
хоть все сгори!
И вот – как стану углем
и пеплом, снова сотвори
меня! И тем же кругом...



Льдинка-снежинка мне в сердце попала.
Может быть, и не одна.

Мыслью я с неба в то время упала,
если там в мыслях была.

Снизу губами снежинки ловила
и подставляла ладонь.
Хором снежинки и льдинки валили
сверху, где солнце – огонь.

Огненной гривой своей разделило
сердце на лед и огонь.
В огненных реках себя утопило.
Черный на дне лежит конь.

Льдом голубым замурованы реки.
Бьется в них огненный конь.
Сыплется снег мне на губы и веки
и покрывает ладонь.

•

Их было трое –
просто кот наплакал.
Сам кот не плакал.
Просто есть такое выражение:
«Было мало, как кот наплакал».

TO KEEP A STIFF UPPER LIP*

Upper lip слегка дрожит.
Нижнюю подводит.
Нерв брыкается, визжит
и все к пятке сводит.

* Держать себя, стиснув зубы; оставаться стойким. A stiff upper lip – (букв.) недрогнувшая верхняя губа (англ. идиома).

Жить – не по полю бежать,
оказаться первым –
от виска к носку дрожать
через пятку нервом.

О печенке что писать?
Там и страх, и смелость.
Желчь вот страшно разливать –
с детства, значит, в зрелость.

О невинность! О газель!
Белый ландыш! Лотос!
О качели! Карусель!
В темных елях пропасть.

Белой полосой в мозгу.
Лотос – ты в болоте.
Прямо мордой по песку.
Все в песке и в рвоте.

Розы предали ль когда?
Лотос? Ландыш белый?
На устах дрожит беда
с ложью омертвелой.

1975

ОПЯТЬ КЕЙП-КОД, МАШИНА, ОГОРОД

Я еду на косу Кейп-Код
и оставляю огород,
который спсиху завела
и вовремя не полила.

С тоской гляжу на небосвод.
Решаю звездный в нем кроссворд.
Какого там еще вина
добавила в мой ковш луна?

Имея рыбок в феврале
и две-три мысли на уме,
сизжу как дура за рулем,
себя не чувствуя при нем.

Пойду я лучше пешим ходом,
не занимаясь огородом.

1975

СТРАХИ

*Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума...*

А. Пушкин

Страшно богатым быть. Страшно быть бедным.
Страшно голодным быть. Страшно быть сытым.
Страшно чужое взять и назад его не отдать.
Страшно имущему нищим проснуться.
Блаженны нищие Духом.

А что сказать о том, кто разбогател и от этого озверел?
Неисповедимы пути удач и неудач наших.

Страшно любить. Страшно любимым быть.
Страшно – артиста принять за безумно влюбленного.
Вообще попасться на удочку – страшно.
Страшное дело – обман. Змеиное жало – ложь.

Страшно доверчивого охмурить. Окрутить простака. Опутать.
Ну, а уж если сам на крючок на свой собственный умудришься
клюнуть,

сук, на котором сидишь, подпилишь,
жалобу тогда сам на себя и пиши!

Страшно гостем непрошеным быть.
Быть званым и не явиться, пренебречь приглашением – страшно.

Страшно и гостю пришедшему в глазах хозяина прочитать,
чтобы проваливал он на все на четыре стороны да ко всем
чертям.

Страшно быть умным. Страшно быть глупым.
Страшно не отличить умного от дурака.
А что сказать о самих себя в мудрецы записавших?
Много званых да мало призванных.

Страшно иметь врага, которого победить не можешь.
Еще страшнее иметь дело с врагом,
живущим в тебе самом.

Страшно быть неслышанным.
Слово свое прокричать как в пустыне – страшно.
Берегись же другого загнать, затравить, очаг его, затравленного,
захватить!

И не дай тебе Бог – человека светлого –
оклеветать, осмеять, осудить, камнями забить!

Обидев невинного, «прости» ему не сказать – страшно.
Смерть души в награду получишь себе, хоть и бессмертна душа.

Страшно рабство свое возлюбить.
Страшно фюрера на голову себе посадить.
Страшно ослепнуть или среди слепых – зрячему человеку быть.
Не видеть дальше своего носа – чистый идиотизм, кретинизм
и даже по отношению к самому себе – абсолютный садизм.

Страшно ум потерять.
Оглянуться назад – не выдержит сердце!
Не менее страшно даже и краешком глаза в будущее свое заглянуть.
А что сказать о бесстрашных, в сердце собственной своей тьмы
заглянувших?
«Познай самого себя!» – написано в храме у Бога Света.

Страшное дело – предательство.
Предать врага невозможно.
Но не дай тебе Бог предать друга!

А что сказать о Том,
Кто принял яд поцелуя предателя?
Об этом камни, охрипнув, немели
в ту ночь.
Факелы.
Сад.
1982

О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР!*

Руки, что надевали наручники
невинному, отгоняют
подальше Зануду-Память:
– Не надо! Не ворошите!
Мученики? Какие?
Реальность с иллюзией путать
памяти не пристало!
Лучше бы спели: «Слава!
Слава геройским будням!»

А те, кто в живых остался,
учитесь радости жизни!
Забудьте про руки, про ноги
обрубленные свои!
Про маму с папой, про тетю!
Про дядю, соседа, брата!
Про тех, кто ушел со света,
и, в общем, чьих нет могил!

Учитесь смотреть на солнце!
На травку, на гладь морскую!

* Перевод названия антиутопии О. Хаксли. Строчка взята Хаксли из «Бури» Шекспира. *How beauteous mankind is! O brave new world! That has such people in't!*: О славный род людской! О новый мир отважный! Такие люди в этом мире обитают! (Перевод М. Г.). Так приветствует наивная Миранда гонителей своего отца. – *Прим. сост.*

На юность, на крепость тела!
В том теле – здоровый дух!

А тем, кто лишился речи,
кому не хватило жизни,
свечи кому не хватило,
лучше хранить молчанье!

Зачем ворошить былое?

1982

МОДА И ПРАВДА

Леночке и Кевину

Если б мода совпадала с правдой*,
не сидела бы свобода в осаде.
Если б мода разорвала с кривдой,
не мечтать бы нам о райском саде.

Был бы он у нас как на ладони.
Были бы мы в нем, как в чистом поле,
где резвятся радостные кони.
Ни тебе ни травли, ни погони.

Если б мода не кричала криком,
не менялась ни душой, ни ликом,
не мечтать бы нам о райском саде
и не жить бы нам в двухспальном граде.

Не сидеть бы нам между двух стульев,
не читать историю двуречья,
не ломать мозги в противоречье,
были б мы просты, как пчелки в ульях.

* Хочу заметить, что я попросила Марину посвятить нам (мне и моему мужу Кевину) это стихотворение. Весь наш опыт на Западе (да и в России) собран здесь в один узел. То есть, увы, мода правде не товарищ. – *Прим. сост.*

Волюшку бы и необходимость
просто, тихо, ясно сочетали,
копья бы об стенки не ломали,
плакать не могли б, а лишь жужжали.

1984

В ГОРОДЕ ТОМ

Яшеньке

*...Здастуй Папочка... скорей приходи а то нам плохо нету
у нас Папы мама говорит то ты в командировке то больной...*

Игорек 6 с половиночкой лет
А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг

В городе том – то ли он, то ли мы – как на том свете,
в городе том, где людей хороших боятся, как перед концом света,
наша память бродит, сама уже не невинна,
и все бредит и бредит пространством немым, где беда приключилась,
старинным.

Нет забвения лишь у ангелов, у всех тех, кто свыше,
потому нет ни памяти, ни надежды у них, ни страха,
они знают все и тем отличны от нас – от праха,
не страшны им сам черт, ни сума, ни тюрьма, ни плаха,
Не тюрьма им время,
им крыло – не бремя.

Совсем недавно, а почти уже целую вечность,
голос прекрасный звучал, не боясь распада,
не страшась насильственнейше-так называемо-счастливейше-
прогрессивнейшего уклада.
Голос прекрасный звучал.

И столько было в нем уже щемящей радости-горя,
сколько бывает в самом соленейше-черно-пре-красном океане-море.
И в вечных песнях невинности столько светлой печали-грусти,
сколько уносит Лета-река, получая все из своего собственного
источника речи – речного устья*.
И невозможно помянуть дорогое наше прошлое вместе.

Черный цвет значение обретает на фоне белом,
так что не чувствуешь себя уже ни душой – ни телом,
болтаешься по свету дурачком живым-околелым,
не обладая ни мудростью обещанной,
ни смелостью признать ошибку собственную.
Глубоко засела.

И сколько бы ни учить про «хюбрис» да «хамартию»,
не поможет никакой самый что ни на есть прозорливый вития.
И сколько бы ни учить-повторять, как глупца не оспаривать – совет
поэта,
нарвешься, и сам идиот, на нового идиота**.

«Апория».
Безвыходность плюс «...бойтесь единственно только того, кто ска-
жет: "Я знаю, как надо!"»

Бравада
самоуверенности
хуже беспомощности и потерянности.

«Аве Мария!...»

Говорят, что легче всего понять самые трудные, самые непонятные
вещи.
А время, хоть друг, хоть враг, как его ни зови, светляк, червяк, образ
вечности,
пространство души, возьмет тебя в клещи

минувшего с настояще-грядуще-вещим,
быстро поймешь, что к чему, где потуже-похлеще.

Время-моль пожирает золотое руно-память.
Умную речь идиот презирает за «глупость»,
и насмешка вдогонку несется гонимому.
Хитрейшая тупость
восседает на троне.
С ней не спорит лишь тот, кто умнейший совет поэта
хранит в кармане.

Все идет быстро, кроме процесса собственного мышления.
Пишешь и знаешь, что каждая строчка, если и будет прочитана,
будет осмеяна.
От адресата враждебного частичное есть спасение –
не рассчитывать на его любовь и пожелания счастья-успеха-везения.

А белый цвет вбирает в себя столько тепло-холодных красок,
что хватает на всяких и вся – маленьких, глупеньких, сиреньких,
умно-премудрых, великих масок,
для любых хороводов, «оркестров-фимел», жизни и смерти плясок,
в которых стремится прах забыться от жизни и смерти встрясок.

Совсем недавно, а почти уже целую вечность,
танец символ великий являл на щите Ахилла,
в самом центре его. А она стояла
с человеком родным и через плечо глядела,

и видела волны и войны, и мира,
и как шел корабль, своим слухом чутким
напрягая парус, и вдали был берег,
где лоза винограда заменялась проволокой колючей,
где Раскольников превращался в Стрельникова-Расстрельникова,
Ванька Жуков в Игорька «шести с половиночкой лет»,
а письмо «На деревню дедушке» в письмо «В больничку (читай –
«На Архипелаг ГУЛаг») папочке».

И в вечных песнях невинности столько было уже печали-горя,
столько разлуки-прощанья, непомерной боли,
сколько в последней, неловкой, но полной значения фразе бывает
на воле.

1984



** Это прекрасно! Гармония стиха
и энергия мысли хороши!*

Юз Алешковский



*** Поэта – идиота. Гениальная рифма.*

С. Аверинцев

РЕКА ЗАБВЕНЬЯ

*...В меру все должны были выпить этой
воды, но, кто не соблюдал благоразумия,
те пили без меры, а кто ее пьет таким
образом, тот все забывает.*

Платон. Государство

Ну нет уж! Я не забуду!
Из тихой реки осторожно
я воду забвенья отмерю
и выпью, глоток за глоточком,
ни больше – ни меньше... Я знаю,
что помнить и что позабыть.

Пусть губы мои пересохнут,
огнем мое горло охватит,
виски воспалятся, застынут,
но что сберегу – не отдам.

Послушаю мудрого Эра –
без меры
воды не напьюсь.

1982, 1984

* * *

И приснится тебе опять боль глухая.
И единственный час, что зацвел в апреле,
в майском цвету, что отцвел, приснится,
как увидела ты да как ахнула в изумленье,
ахнула, и назад дороги нету.

Сам изумленный, единственный час приснится,
как стынет на полустанках.

И приснится тебе на терраске сирой
у остывших дровишек все, что было,
как сердце стыло, отнимались коленки,
и от ужаса мысли становились короче,
еще короче, чем даже были.

И ограда приснится, горючий камень,
надпись, что прочитатъ не можешь,
хоть сама сочиняла, слова меняла.

Все из рук твоих течет, ускользает.
Или выйти, или войти не можешь.
Все потерянный час отыскать стремишься.

И приснится тебе золотое Слово.

И приснятся тебе голоса, их лица,
и глаза, и в них синь, чернота и зелень.
Соль приснится, как слезы льются,
потому что сердце еще не остыло,
потому что в поле все воет ветер
и уносит все вдаль, навсегда уносит...

И приснится, что в страшном во сне не снится,
а только все наяву бывает.

1983, 1984

* * *

*Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?*

Б. Пастернак

Прости меня, Память моя,
что убила б в тебе половину,
зарыла б, сожгла и
по буйному ветру пустила.

Но снова на след наведешь
и «не тем» волноваться заставишь.
Опять тростником запоешь
и сиреной, и птицей восстанешь.
Не в дверь, так в окошко войдешь.
На колени рассудок поставишь.

И воздухом горько-воскресным
опять задрожешь под моими руками.
И воздух опять не найдет себе места
и вновь расплывется цветными кругами.

1976, 1984

* * *

Вячеславу Всеволодовичу Иванову

*And Stars shew lovely in the Night,
But as they seem the Tears of Light...**

A. Marvell

Глаза и слезы! Из всей пятерки –
вы благородством – на первой горке.

* И милые звезды на небе ночном / Казались Слезами Света... А. Марвелл. – Перевод М. Г.

На самой высшей. Святой водою.
Росой на розе. Слезой-бедою.

Текла слезинка – душа рождалась.
Слепая – в зрячую превращалась.

Оказывалась Слезою Света
в стихах любимого мной поэта.

И так черты вслед слезам стремятся!
Так в свой прообраз хотят собраться!

И звезды стали Слезами Света,
что знал заранее все ответы.

1975, 1984

* * *

Натали

*Oh! Maestro fa' che io non cerchi tanto:
Ad essere consolato quanto a consolare...**

St. Francesco

Расскажи мне теперь о Джотто.
И о милом, добром Франциске.
Давай вместе посмотрим книжки –
как ему отвечают птички,
и возьмем из его ладоней
его тихую радость миру.
Вот уж сколько веков исчезло,
а он все еще утешает!
Велика же сила молитвы!
И цветет Золотое Небо.

Расскажи мне о тех, кто умер,
и как ангелы их хоронили.

* Господи, удостой! / Утешать, а не ждать утешения... Св. Франциск. –
Перевод Н. Трауберг.

Только ангелы. Так как люди...
Да свои у них дела и заботы.

Расскажи мне, как умер Моцарт
и как горько плакало небо.
Слез его сторонились люди,
и никто не пошел под дождик.

А о том, как ушла Марина
и как Птичка в снега упала,
в те снега, что огня жесточе,
нам уже рассказали песни.

И от них у нас стынет горло.

1984

* * *

Полу Даффи

*Passer mortuus est meae puellae...**

Catullus

«Умер воробушек и у его подруги».
Взвились – не задержались черные паруса.
Не умрет на этот раз никто по ошибке.
Тот, кто бросится в море,
обвинив заодно небеса,
сделает это от настоящего горя.
На Шипке
все спокойно останется.
Та же краса
равнодушной природы
будет сиять.

* Умер воробушек у моей подруги... Катулл. – Перевод М. Г.

И черные паруса
не подведут.
Надежны они, упруги.

1985

ЗИМА В ГОРОДЕ

Джону Барнстэду

Белый снег лежит на улице
и на небе в облаках.
Небо облаками хмурится.
Вниз несется впопыхах.

Деревце стоит пушистое.
Все в серебряном плюще.
И сверкают золотистые
звезды на его плаще.

Завтра сдернут одеяние
и отправят на пустырь –
поучить его страданию,
подвести под монастырь.

Вьется небо снежной лестницей.
Приглашает в облака.
Там звезда горит-невестится.
Но потом болят бока.

И чем выше забираешься –
разбиваешься звончей.
И когда в подвале маешься,
Льются слезы горячей.

1985

УРОКИ ПЛАВАНЬЯ

Опять передо мной тот мокрый снег
и семь светильников, и дом-корабль, и море.
На дне дворцы разбитых кораблей.
Весь список-каталог на дне граненом.
И круг спасательный в волнах зеленых –
один – другой – десятый – тридцать третий –
как на параде на зеленом поле.

Обрывки песен. Смех. Недоуменье.
Вопросы. Точки. Знаки восклицанья.
Проклятья. Опозданья. Отреченья.
На «ты» с водой и небом обращение:
«Как не было б чего!..» – в подушку ночью.
И вдруг – крушение всех и вся – воочью.

Хватание за мачту, что по швам трещит, за сердце,
которому так нужно отогреться,
за бревна, доски, стулья. Удивленье,
которое началом мысли является, началом проявленья
ее невероятной красоты.
Перед прощаньем просьбы о прощенье.
С далеких стран обрывки ожиданья.

Обрывки глупостей, их прелесть. Сожаленье
о недопонятостях, ссорах. И признание
своей вины. И мужество признанья.
И красноречия венец – молчанье.
Строптивых всех и нестроптивых укрощенье.
Обрывки фразы: «Это была шутка!»
Когда бы не было так жутко,
все это было бы смешно.

Уроки плавания. Гнев тренера. Глумленье
воды соленой. Пузырей пусканье.

«Пей больше, чем вместишь!» – ухмылка пытки.
Весь список детских игр, все жмурки-прятки.
Вокруг витают золотые рыбки.

Руля ненужность. Нежность. Речь немая.
Святого солнца луч. Почти прямая
между утихим воздухом и морем
черта волнистая. Почти не пахнет горем.

1985

ИРОЧКЕ И ЮЗУ

*... Мы бренны в этом мире под луной:
Жизнь – только миг, небытие – навеки.
Кружится во Вселенной шар земной.
Живут и исчезают человеки...*

Из советского сановного поэта*

«Идет-гудет зеленый шум».
Как много он наводит дум.

Чем больше денег, тем меньше мыслей.
Чем раньше сядешь, тем раньше выйдешь?

А денег нету, и мыслей нету.
А денег нету, и жизни нету.
И раздевают уж всю планету.

Электрификация плюс власть
наводит красную напасть.
А радиация плюс власть
наводит черную напасть.

Жизнь – только миг. Луна. Рассвет.
И больше нету эстафет.

* Ю. Андропов. Оказывается, этот деятель еще и стишки писал. – Прим. сост.

Живут и исчезают человеки.
Идут в небытие навеки.

А если что и остается,
то вечности жерлом пожрется.

Обдернулся, сошел с ума
и в нумере как дважды два
семнадцатом или шестом
рассматриваешь суп с котом.

Из трех злодейств стоит букет.
Вопрос важнее, чем ответ,
хоть не заряжен пистолет.

Семерка, Тройка, Дама, Туз –
последствия мотай на ус.
Вникай в значение числа –
не прыгай в лодку без весла.

Не суй свой нос
в чужой вопрос!
Ведь если нос свой потеряешь,
уж на других не начишаешь!

«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека».
И себеотика. Се – Бяка!
Аборигены съели Кука.
И семиотика. Се – Мекка!
Все повторяется от века и до века.
То оттепель, а то морозы.
«Читатель ждет уж рифмы «розы»».

Страна и мир.
Зовет Таймыр.
Иосиф, Юз

Плюс Леша. Туз
Оставил ВУЗ.
Тройной союз.

Акакий. Улица. Шинель.
Бежит по улице портфель.
За ним перо. За ним сапог.
Висок. Утюг. Бараний рог.

Один был в шубе литератор.
Он был и Лев, и Гладиатор.

Плывут по речке Енисей
Орфей, сирены, Одиссей,
вакханки, Сцилла, Пенелопа,
все женихи всяя Европы,
Харибда, Горбунок Пегас,
Их погоняет Карабас.
Он пообедает сейчас.

Гой-еси! Гой-еси!
Хочешь кушать – не проси!

Война и мир.
Сидит кумир.

Надел сапог,
надел папаху,
сам себе славу
рокотаху.

Бежит поток.
Электроток
зажат в кулак.
Сидит дурак.

И умник там.
Развесил уши.
Се – продают
живые души.

Ура звучит.
Дружок стучит.
Гвадал квирит.
Душа кривит.

Гвадал квивир.
Зовет Таймыр.

Стучит сапог.
Идет урок.
Звенит звонок.
Рассвет. Курок.

*После одного веселого вечера, проведенного
вместе с Ирочкой и Юзом Алешковскими.
Самбро. Новая Шотландия. Август 1986 года*

* * *

*Ирочке и Юзу на двадцатилетнюю
годовщину их встречи 26 апреля 1976 года*

*Сквозь чайный пар я вижу гору Фудзий,
На желтом небе золотой вулкан,
Как блюдечко природу странно узит!
Но новый трепет мелкой рябью дан.*

М. Кузмин

Фрейлина И поразила Юз-Фу
неземной красотой.
Двадцать уж минуло лет,
а не вянет ее красота!

Но и не дремлет поэт!
С каждой новой весною
новый слагает сонет,
постигая закон красоты
во имя любви и покоя!

– Многая лета! Многая лета!
Пой, что не спето и спето!
Многая лета, многая лета
таланту Юз-Фу и красоте поэта!

Чтобы в халате Юз-Фу –
в кармане – бренчали монеты,
вечно пусть сыплет в карман
Фудзий – вулкан золотой!

Пар чтоб чайнок вдали
не затмил эту славную гору,
благоухает миндаль
в блюдечке из облаков!

Фрейлина! Счастлива ты
быть сонетов Юз-Фу – адресатом!
Пусть расщепляется атом!
И стих пусть слагает поэт
над ситечком,
в горлышко чайника вдетым!

– Сесе ни! Сесе ни!* –
облакам пусть Юз-Фу отвечает!
– Сесе ни! Сесе ни! –
отвечает им фрейлина И.

И вечно династия Инь
династию Ян пусть сменяет,

* Благодарю вас (*кит.*).

следом династия Ян
сменяет династию Инь!

26 апреля 1996

* * *

Мысль о бессмертии – птицей в снегу, сиротой на вокзале.
Черным по белому, белым по черному – ей наказали:
«Нет тебя! Сгинь! На окраине мира попомнишь, как сниться!»
Только беду всегда первыми чуют ресницы.

Дрогнули. Холод в груди. Воздух пахнет в опале полынью.
Стынет в кувшине вода. В теле дух. И полено в камине.
Только голубка гонимая чертит в полете рисунок
свой над застывшей землей. И не дрогнут ресницы спросонок.

1982

* * *

Гришеньке

*Кони Пелеева сына вдали от
пылающей битвы плакали, стоя...*

Гомер. Перев. Гнедича

И море, и Гомер – все движется любовью.

О. Мандельштам

И время, и душа – все сделано из света.
Пространство. Книга. Стол. Улыбка. Торжество
при встрече двух людей. Досказанность ответа.
Безмерность. Радость узнаванья. Колдовство

великой тайны. Легкий снег. Необъяснимость.
И краски, кисть и холст – где не хватает слов.

Наития момент, его неповторимость.
Преодоление разлуки силой снов.

Бессонница. Гомер. Последняя страница.
Закрыта книга. Тихо. Только плач коней
еще улавливает слух. И на границе
волнение не имущих смерти журавлей.

1984

* * *

Годы исчезли. И сам человек на глазах исчезает.
Хлеб усыхает. Довеском ненужным становится, черствым.
Думает так про себя человек, а реально – на деле –
хлебом насущным становится он дорогим, сладкозвучным.

Дом исчезает. Темно. Ни тропы, ни дороги не видно.
Смотрит вокруг человек и толкует один со звездой.
И шелестят на ветру виноградные строчки и буквы.
Их повторяют, шепча, дорогие бессмертные губы.

1984

В МИНУТУ СЧАСТЬЯ

Смертный миг наш будет светел...

А. Пушкин

В минуту счастья –
потеря слов,
биенье пульса,
сбыванье снов.

Взыграйте, ветры!
Верь, сердце, верь!

Не огорчайся
числом потерь!

Минуту счастья
лови! Она
летит беспечно,
собой полна!

И где веселья
тот быстрый день?
Глубокой боли
ложится тень.

Шуми, ветрило!
Уж близок час!
Волнуйся, радость,
в последний раз!

Стоит минута.
И светел миг.
И пепел легок.
И час велик.

1988

Юрий Глазов
НА ЧУЖОЙ СТОРОНКЕ
Опыт эмиграции

Но я не мог не думать о мире, мной оставленном, потому что он в моем сердце, потому что мысль моя все время вращается вокруг него. Я сделал этот мир своей основной специальностью, и, в конечном счете, это, кажется, единственное, что я более или менее знаю и понимаю, но в то же время мир этот остается для меня совершенной загадкой. И странно, я не могу жить в этом мире, я почувствовал себя почти свободным с тех пор, как вышел из него, и, чем дальше я от него, тем больше люблю его и людей, в нем живущих. Наверное, для кого-то это патология, близкая к философии Ивана Карамазова, но это не так*.

И теперь я преподаю литературу, культуру и основной язык этого мира в новом для себя университете, где я как будто бы хозяин самому себе, и никто теперь не дает мне курьезных советов относительно того, как преподносить студентам эти дисциплины. У меня совсем небольшая кафедра: в общей сложности, вместе со мной, пять человек, – но, как и всюду, приходится и работать, и нервничать, и перенапрягаться. <...>

Университет был велик даже по канадским размерам: на разных кафедрах насчитывалось в нем более семисот профессоров и преподавателей. Конечно, тут были и маститые ученые, известные миру в своей области. Были интересные люди, о которых я скажу. И все-таки университет, в особенности на свежий взгляд, производил далеко не отрадное впечатление. Даже несколько пугающее.

Но была и отрада, при этом такая большая и настоящая, что до сих пор подкатывает комок к горлу при воспоминании, как это

* Иван Карамазов признался Алеше, что ближних своих он не любит –
Прим. сост.

было хорошо и как мы оказались здесь счастливы. Всех ближе сошелся я с моими коллегами из Королевского колледжа, входящего в Дальхаузи, и с кафедры классической филологии. Королевский колледж, во многом копировавший устав Оксфорда и частично Кэмбриджа, – старинный и сравнительно небольшой англиканский колледж. С его пятьюстами студентами и студентками и небольшой группой профессоров колледж самым тесным образом соприкасался с кафедрой классики Дальхаузи, равно как и с некоторыми другими кафедрами, о которых мне еще придется говорить, и прежде всего германской и английской филологии. Я плохо понимал, куда мы попали, меня еще тянуло в Америку, я все еще видел перед собой громадный город Бостон, мой прежний колледж и Гарвард, у нас с Мариной не выходили из головы наши американские друзья, и прежде всего эмигрировавшие с нами русские, и мы по-настоящему страдали от разлуки с Америкой. И не могли уразуметь, во всяком случае я говорю это о себе, что мы попали в настоящий оазис западной культуры и утонченной духовности, что мы оказались в новой для себя жизненной школе, где нам были рады, где нас очень скоро полюбили и не пытались от нас освободиться. В голове моей и в душе могли время от времени появляться разные страхи – ведь жизнь меня успела тяжело побить. Но рационально я должен был понимать, что здесь могу осесть надолго, что милые мои и любимые дети будут получать образование, что моя Марина, если даже и не сможет получить работу, может погрузиться в свои любимые дела, ходить на интересные лекции, углублять свое знакомство с классической, английской и французской литературой через общение с первоклассными знатоками этих дисциплин, пристально заниматься нашими детьми и своим творчеством.

Забавно и трогательно думать о том, что мне платили деньги, и достаточные, чтобы не только относительно скромно содержать семью и заниматься любимым делом: русской литературой, культурой, Достоевским и историей периода правления Сталина и после него. Кроме регулярных лекций в Дальхаузи я начал ежегодно читать четыре, а иногда и пять больших лекций в Королевском

колледже о русской культуре, Пушкине, Гоголе и Достоевском – о таких его романах, как «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Были лекции о Сталине, Пастернаке и Солженицыне. Обычно слушало меня около двухсот студентов, но случались и лекции, на которых присутствовало чуть ли не пятьсот слушателей. Я испытывал внутреннее напряжение перед лекциями и во время них, испытывал и радость, видя возбужденные лица в аудитории. Забывал, что очень часто такой лекции предшествовала полубессонная ночь, в особенности в первые два – три года. Но я выкладывался на полную катушку, заново переживал драмы, испытанные моими любимыми писателями и поэтами. Пусть я говорил не по-русски, но передо мной сидели живые люди, и я действовал. Я жил, творил, перевоплощался. Быть может, кто-то в высшем мире радовался и сопереживал со мной. И только сейчас я начинаю понимать, что был счастлив, что я жил и горел. <...>

Я очень боялся брать Леночку с нами в Новую Шотландию – мне думалось, что это окажется для нее тихим, слишком тихим краем, где ей будет одиноко и грустно, но еще больше опасался я, что, оставшись в Бостоне совсем одна, она неизбежно хлебнет лиха. Как я уже писал, мои отношения с Леночкой с первых мгновений ее существования оказались чем-то совершенно особенным в моей жизни. Она была моей надеждой, радостью и во многом смыслом жизни в Совдепии, мы с ней были большими друзьями в самые разные годы ее подрастания. Я мог себя за многое укорять, за то, как сложилась ее жизнь и моя, но вряд ли я что-либо мог изменить с первого года после ее появления на свет. Чудом в моей и Леночкиной жизни оказалось отношение Марины к моей девочке – кое в чем, и немаловажном, они, юные женские создания, стали ближе друг с другом, чем даже со мною. <...> Многолетние отношения Марины с Леночкой были отрадой, лекарством и школой для всей нашей семьи, включая, конечно, и наших мальчиков. Это отнюдь не значит, разумеется, что во всех этих сложных отношениях не было ни сучка, ни задоринки. Но нужно было видеть Леночку и Марину вместе, видеть искрящиеся юмором и весельем глаза их обеих, чтобы еще раз понять, как жизнь сроднила их и всех нас.

Однажды в конце первого нашего ноября в новом городе, в ненастный хмурый день, под вечер, я возвращался из университета и на пороге нашего дома увидел молодого и довольно невзрачно одетого человека, возраст которого я не взялся бы определить сразу. Тридцати ему еще не было, но и на двадцатилетнего он тоже не был похож. На улице стояла слякоть. Недавно выпавший первый снег не успел еще растаять, но в лицо бил холодный дождь вперемешку с градом. Я заметил, что одет он был не совсем по сезону. На нем была легкая темная курточка, и кроссовки никак не защищали его ног от дождя и мокрого снега. Признаться, я несколько удивился, увидев его стоявшим на пороге нашего дома и несколько раз нажимавшим на звонок, который нуждался в небольшой починке. Мне он показался и застенчивым, и настойчивым в одно и то же время. Я пригласил его войти в дом, где нас встретили Марина и Лена. Уже в передней, когда он начал снимать свою обувь, как это обычно делают канадцы, я заметил, что он насквозь промок и продрог и предложил ему сухие теплые носки из наших запасов.

Это был Кевин. Он совсем недавно прилетел из Англии, мечтая заниматься древнегреческой философией и писать диссертацию по Плотину у профессора Хилари Армстронга, знаменитого ученого, приехавшего несколько лет назад из Англии. Когда я спросил его, почему именно у Армстронга, он, не задумываясь, ответил, что больше не у кого. Не надо было обладать чрезмерной наблюдательностью, чтобы заметить в Кевине способность смущаться. Происходил Кевин из ирландской семьи, родом из города Ньюкасла, что раскинут в устье реки, впадающей в Северное море, к югу от Эдинбурга и на значительном расстоянии к северу от Лондона. Тот факт, что он родился и вырос в Англии, производил на меня выгодное впечатление, но понимать его произношение в ту пору было мне очень нелегко. <...> Марина, ходившая на лекции на кафедру классики, знала о Кевине раньше меня, и он ей очень пришелся по душе. <...>

Много лет спустя и уже на другом конце громадной Канады мы сидели с Кевином за столом в их доме, попивали красное вино, и я спросил его, какое самое важное событие случилось в его жизни.

И опять же, почти не задумываясь и глядя на меня своими чистыми голубыми глазами, он ответил: «Моя встреча с Льеной». Так он называл нашу дочь и так время от времени шутливо теперь зовем ее мы.

Елена Глазова

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕЙ ЖИЗНИ В КАНАДЕ И О ПЕРЕПИСКЕ С ОТЦОМ

В Канаде мы, действительно, осели на много лет. Я вышла замуж, уехала в другой город. У нас росли дети. Папа и Марина (я иногда называла ее в шутку Мадам Григорьевна, поскольку профессор по французской поэзии, занятия которого посещала Марина, называл ее в классе Madame) приезжали к нам, а мы к ним. Я хочу привести пример нашей переписки с отцом, чтобы показать тот внутренний мир семьи, который окружал Марину и который она берегла и создавала. В письмах папы так хорошо сохраняется его неповторимый голос, вызывающий на юмор, на правдивый разговор, на поиски всего, что возвращает радость и надежду.

Древние философы считали, что есть по крайней мере девять типов бесконечности. Есть, к примеру, бесконечность пространства, есть бесконечность времени, рядом с которыми мы так ничтожны. Но есть и бесконечность сознания, доверчивости, любви.

Из моих писем к папе

Рождественская открытка – 1981 (у папы и моего брата Гриши дни рождения совпадали с рождественскими праздниками)

Поздравляем особенно папу и Гришеньку. Обнимаем и целуем всех. Джоник все время говорит про Яшу и очень любит Мадам Григорьевну: «She is mommy's very good step-mother»*. Я не знаю, как это он сообразил.

Целуем крепко-крепко.

Вся счастливая семья:

Кевин, Джоник, Юра, я.

* Она очень хорошая мачеха мамы (англ.).

Желаем всем счастливого Нового года!

Шлем нашу (без)ответную любовь через все разделяющее нас пространство.

20 дек. 1981

Дорогие мои, родные папочка и Мариночка,
пишу рано утром перед занятиями в своем кабинете (ком. 105), где ты, папочка, провел один день. Постепенно вхожу или возвращаюсь в преподавание русской культуры и языка и хожу немножко как ошарашенная общей, может быть, даже безысходной, трагедией. Посреди всего этого ношу вас с собой каждый день как очаг любви и внутренней ценности и ежедневно благодарю Бога за вашу роль в моей жизни. Спасибо вам, мои ласточки! Не печальтесь, пожалуйста! Просто семья выходит на новый этап. С огромной любовью от меня и нас всех,

ваша Лена.

Папочка, Мариночка, целую крепко.

P. S. Как говорила баба Валя: «Юрка, люблю тебя безумно».

(На обратной странице – текст: Speech Acts. University of Saskatchewan*. Это последняя страница великой рукописи, принятой в печать.)

Письмо Юрия Глазова к Елене

21 окт. 83

Дорогая Леночка,

без малейшего преувеличения, твое милое, острое, умное и язвительное письмо доставило нам столько радости, что я даже не помню, что бы еще за последнее время – при моей сравнительно насыщенной жизни – принесло мне столько новых чувств и бодрости, и я искренне благодарен тебе. К сожалению, пишу наспех, потому что послезавтра должен выступать с «исторической речью» где-то под Галифаксом. И мне надо серьезно подготовиться.

* Речевые приемы. Саскачеванский университет (англ).

Вероятно, ты уже и сама сказала в своем письме, почему каждый из нас чувствует такое. Наши отношения на протяжении уже стольких десятилетий были пронизаны такой близостью и такой взаимной любовью, что, если этого нет, значит, кто-то в этом виноват, и скорее всего виноваты оба.

Я многим перед тобой виноват за все эти годы. Одно только оставалось неизменным в моей груди – моя любовь к тебе и чувство самой сильной озабоченности за тебя, если что-то было не так. Конечно, вся ситуация была новая и совершенно неожиданная в столь многом. Я не буду расшифровывать. Только скажу о самом главном. Мои отношения с Асей, твои отношения с Мариной, моей второй душой, наше вторжение в Америку, твои трудности вхождения, твой путь и твои поиски – все это нужно было спокойно переваривать годами и поступать очень осторожно, дабы не наломать дров окончательно.

Вместе с тем, если я не совсем самый большой дурак на белом свете, а это очень не исключено, ибо много глупостей мной говорено и сделано, – твое замужество, твоя дружба с Кевином и твои дети, включая и ожидаемый дар, – все это проходило через мое сердце и, на удивление, мной и моим сердцем было принято и благословлено. Молясь, я вижу крест и распятие, и в левом углу над Христом много я вижу существ, мне дорогих, включая Святого Духа, Любовь, моего ангела, мою душу и мою совесть, и вместе со всем этим вижу я Марину, Гришу, Яшу и прежде всего тебя с Кевином, Джоном и с Юрием и того, кто должен придти к нам скоро, при наших скудных или усиленных молитвах, при наших мольбах, чтобы все было хорошо.

Марина сказала, что вчера говорила с тобой по телефону. Я очень рад, что ты собираешься писать часто. Пиши! Ведь это такая радость – немного освободить душу. Зная, что кто-то любит тебя всей душой. Радуетесь твоим успехам, находкам. Переживает за тебя. Проходит мимо тех огрехов, которые неизбежны на пути нашем. Ведь любовь даже в чем-то и немножечко сознательно слепа. Только в том смысле, что я тебя считаю вместе с Мариной существами, каким-то образом связанными с моим Ангелом. Хотя мы

все грешны, порочны, злы, коварны, злоречивы, изменны – это я говорю о людях, мне близких, но не о созданиях, тебе подобных.

Я перечитывал твоё письмо несколько раз. Спасибо. Пусть над этой страной, которая разбросала нас по разным концам, пролетят мои нежные, искренние, невинные чувства любви к тебе и твоей семье. Пусть вселят они бодрость в твоё утро и твоё пробуждение. Насытят любовью твой день и уменьшат горечь жизни. Пусть радость и терпение присутствуют в твоём сердце! В эти минуты солнце – осеннее, но яркое и бодрящее – светит мне в окно. Я вспоминаю мельком события более чем тридцати лет. Как хорошо иметь друга в лице своей собственной дочери! Позавчера был вечером, почти ночью, на океане. Луна посылала свой обманчивый свет по волнам мне навстречу. В ушах у меня звенели строки: «Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком... Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль... В саду горит костер рябины красный, но никого не может он согреть...»

Видимо, уже подходит и моя старость. Я люблю ее, хотя вижу себя во многом молодым. Как хорошо, что кровь уже не кипит и можешь владеть своими порывами. Люблю тебя, как говорила баба Валя, безумно, безгранично, «как жалкий раб лежал у Ваших ног, Пожертвовал для Вас без сожаленья всем, даже тем, чем жертвовать не мог... Но шли годы...» Целую, прости, последнюю строку запомнил.

Целую. Шлю своё благословение. Крепко обнимаю. Гуляй на воздухе!

Папа.

Так разбросало нас по Канаде. Но, конечно, Марина и папа редко бывали одни. Как когда-то в Бостоне, к ним приезжали друзья из Америки и Европы, приезжали мы. Приезжал читать стихи в нашем университете Дальхаузи Иосиф Бродский. Часто гостил Юз Алешковский с женой Ирочкой. Меня Юз поругивал (даже за то, как я картошку чищу и не в тех кастрюлях суп варю), поругивал и

папу, а Марину ругать остерегался. После репримандов Юза я несколько раз всплакнула. Пришел папа, стал успокаивать, а потом понял, что я плачу как-то радостно – столько озорной энергии, крепкой и нещадящей, шло от Юза в мир. Неповторимое, незабываемое время. Дом Марины и папы... две их комнаты с книгами, открытыми, как листья древа жизни, и письма.

Шли письма и от американских славистов-литературоведов. Иосиф Бродский порекомендовал Маринины стихи своему переводчику – профессору колледжа Брин Мор Джоржу Клайну. Писали друзья из Москвы и эмигранты. Писал и Юз.

ИЗ ПИСЕМ И ОТЗЫВОВ (1974–2010):

Иосиф Бродский

13 мая 1974 (понедельник)

Ann Arbor

Милая Марина,

Простите, что не выполняю обещания, но чрезвычайно охренел от сматывания удочек и не знаю, где, что, как найти.

Стихи, сложенные пополам, лучше других, и я пометил те места, к-рые надо бы исправить.

Чего, вообще, делать не советую: советую писать новое. Попробуйте быть яснее – как в метафорах Ваших, так и чисто технически.

Ваш Иосиф

P. S. Осенью, полагаю, будем общаться более приличным образом И. Б.

Из стихов, сложенных пополам:

«Царице моя Преблагая...». Здесь возникает конкретность, – скорее языковая, чем образная. Вторая половина – найдите какую-нибудь метафору к **весу** обиды, но не меняйте интонации причитания: так, чтобы причитание снимало яркость метафоры.

«Безутешные воды вешние...». Перепечатайте это в форме 3-х нормальных строф.

«Остановились все песочные часы. / Как будто все Господним временем забилося. / Стеклись все слезы реками земли...» – замечательные строчки...; «хлынувшего» – усечение стопы производит ослабляющий эффект. Стихотворение очень хорошее, лучшее у Вас.

«Все было мне зеркальным отражением». «...куда уж сложных» – из-за просторечия звучит неискренне.

«Летели хлопья наяву». «...боялась» – «пугалась» было бы лучше; рифмы «свидетелем» – «при свете их» следует переменить на мужские. Попробуйте это сделать: жаль терять последнюю строчку: она сильна.

«В комнате трещало от ламп дневного света». «Я стою и бью ногой по снегу. / Бью, стихийно высверлив дыру.» – Это мне очень нравится, и этого простого бешенства ни у кого нет... Эти две строчки очень хороши, но запятую следует, по-моему, поставить после «стихийно». Последние четыре строчки – плохо.

«Запах первого снега». «Чаяние чая».

«Вас не было, а письма ваши были». «... зависимо» – не очень грамотно.

«Лезут, лезут в голову всякие, плохие...». «В глупой жажде завтрашнего дня». «Ничего. И не такое было». «Я еду на косу Кейп- Код».

«Вчерашний день был важный для меня...» (Кейп-Код. Летний лагерь). «...Затем постели мы распаковали / И сбегали по очереди в лес» – удачно; «...И выкатился солнца шар ни в чем/ с разящим озеро пылающим мечом» – удачно;

«Люблю читать заметки на полях». «... и сам предмет, другой на него взгляд» – тесно от слов.

«Рука дрожит по нескольким причинам». «Я борюсь с графоманией...». «Вцепляюсь в эти дни...»

Наталья Трауберг

1976

Мариночка, моя дорогая! ... Я все больше чувствую, что мы обнимемся на земле. Молитвы просто как молот, когда вот так: и совсем, всегда вместе, и далеко, как мы с тобой. <...> Знаешь, А. (о. Ал. Мень – Е. Г.) очень нежен к тебе. <...> Сразу скажу... позавчера мы оба с ним совсем по-старому весело и нежно говорили о Еремии (Юрий Глазов. – Е. Г.)...

<...> Неужели мы втроем не соберемся? ... Ленку я целую и люблю.

Я очень много о ней думаю. Целую тебя и детей!

Твоя Натали

Мариночка, моя любимая и дорогая! Я все жду, когда сумею написать содержательно, и все не умею – напишу-ка так. <...>

Меры и оценки на стихи на свете нет, это самое сильное лицепрятие – сперва посмотрят кто, а потом скажут. Но мне, старающейся всю жизнь, с Б. помощью, видеть не так, по-дурацки видно: про Лену [Строеву] и про моря тюльпанов – это зверски прямо, это – прости за наглость – лучше некуда... просто для антологии какой-нибудь...

Насчет тюльпанов всполошилась – очень уж точно, неужели о себе? Не дай Господь! Вот, оказывается, ты ходила, ходила по песку и цветочкам и насобираала меду за многих. <...>

Виктор Финн

18/ VI-76

Дорогая Марина,

Ваше письмо было доставлено нам столь быстро, сколь это возможно в наш фаустовский век «осушения болот», загрязнения среды и авиалайнеров...

<...> Вы думаете о нас, мы – о Вас, и, быть может, это происходит одновременно? Но сколь по существу мы разъединены пространством, уже разным бытом и множеством внедуховных причин и условностей! Все это – испытание сути (мышь, индуцированная Достоевским), кто же из нас меньше огорчит Дух? (Простите за минор, но ведь смысл писем в имитации настроений). <...>

... Черепаха Ваша жива, иногда ее выводим щипать траву (на волю).

Все впереди – на острове Монте-Кристо.

Марина, стихи Ваши нас порадовали. Фото тоже – как вещественные доказательства бытия тела и Духа. «Я фотографируюсь,

следовательно, я существую», ну, и конечно: «Я пишу стихи, следовательно, тоже существую»...

Всего доброго! Ваш В.

3/ VIII-77

Дорогая Марина,
получили Вашу открытку – обрадовались: мы снимся, следовательно, мы существуем...

<...> Странные мысли приходят на ум, а вот открытка Ваша – такая идиллическая, что аж сам бы пощипал траву... Ох, хотелось бы посмотреть на всех вас! Вам посвящаю эти вирши*:

– Журавль – в небе?
– Экая невидаль!
А синица – в руке,
не вдалеке.
Важная птица –
синица,
там, где надо,
гнездится.
Ей улыбнулась удача,
что ни гнездо,
то – дача!
Пролетит над лесом –
без пяти минут –
профессор!
А журавль разводит
ля – ля...
Не будем уважать
журавля!
Примкнул к сомнительной
стае,

* Эти стихи – явный ответ на стихотворение Марины «ВЫБОР» («Когда щебетали птицы...» (с. 110). – *Прим. сост.*

А зачем – не знаем...
Ах, журавль, журавль...
Проплывет как корабль
и скроется в мареве,
опустится **за** морем.
– А синица?

– Синица

за морем жить
не стремится.
Истина очень простая:
за морем жизнь –
пустая!

Остается синица
с березовым ситцем
коротать век
в доме, который
построил Джек...

Истина нам известная –
реял здесь буреизвестник –
теперь журавлиная
стая

в небе скрылась,
– – – растаяла...

Когда улетевший журавль
приснится,

не забывают –
в руке ведь синица!

Спокойствие. Благополучие.
Закономерность – враг случая.

Март, 1977

Любящий вас всех В.

30/ XI-77

Стихи Ваши, Марина, нам понравились, судьбы рождают литературу (так было раньше), теперь – верно и обратное...

С Новым Годом! Пришлю Вам и открытую открытку как поря-
дочный...

Ваш В.

P.S. Привет Тане (Турчиной) и ее семье.

12/ I-78

Дорогая Марина,

Рады были получить Ваше письмо. Нельзя повидаться – жу-
равль в небе, так хоть письмо – синица в руке!

<...> Виделся несколько раз с Натали Т<рауберг>, с которой
каждый раз вспоминали Вас. А еще, действительно, чудо! На днях
мне снился Ю<рий> Я<ковлевич>, сон был смутный (по сюжету
нечеткий), но он был совершенно определен и, кажется, печал-
лен. (Очень странно, мне сны почти никогда не снятся, а тут такой
телепатический сеанс). <...>

С приветом! Ваш В.

Лариса Лейтес

1977

Дорогая Мариночка!

На днях пришла от тебя открытка и в то же время появилась
возможность отправить письмо. Вот и пишу.

Мы вас тоже совсем не забыли. Если бы и захотели, то <Ваша
семейная> черепаха Клотильда, которая «здравствует и посе-
йчас» (А. Блок), пожирая лопухи и салаты, не позволила бы нам этого.

Мы живем тихо, без особых личных событий, а что делается
вокруг – вы и сами знаете. ..

<...>

30/ XI-77

Стихи Ваши, Марина, нам понравились, судьбы рожают литературу (так было раньше), теперь – верно и обратное...

С Новым Годом! Пришлю Вам и открытую открытку как поря-
дочный...

Ваш В.

P.S. Привет Тане (Турчиной) и ее семье.

12/ I-78

Дорогая Марина,

Рады были получить Ваше письмо. Нельзя повидаться – жу-
равль в небе, так хоть письмо – синица в руке!

<...> Виделся несколько раз с Натали Т<рауберг>, с которой
каждый раз вспоминали Вас. А еще, действительно, чудо! На днях
мне снился Ю<рий> Я<ковлевич>, сон был смутный (по сюжету
нечеткий), но он был совершенно определен и, кажется, печал-
лен. (Очень странно, мне сны почти никогда не снятся, а тут такой
телепатический сеанс). <...>

С приветом! Ваш В.

Лариса Лейтес

1977

Дорогая Мариночка!

На днях пришла от тебя открытка и в то же время появилась
возможность отправить письмо. Вот и пишу.

Мы вас тоже совсем не забыли. Если бы и захотели, то <Ваша
семейная> черепаха Клотильда, которая «здравствует и посейчас»
(А. Блок), пожирая лопухи и салаты, не позволила бы нам этого.

Мы живем тихо, без особых личных событий, а что делается
вокруг – вы и сами знаете. ..

<...>

«Тихо лечу во сне/ над жизнью своей, как над картой. / Дороги мои как реки» (с. 90).



Слева направо: Александра Семеновна Корнеева, бабушка Марины
(см. цикл «Слово скорби»). 1910-е гг.
Мария Андреевна Корнеева, мама Марины. 1930-е гг.



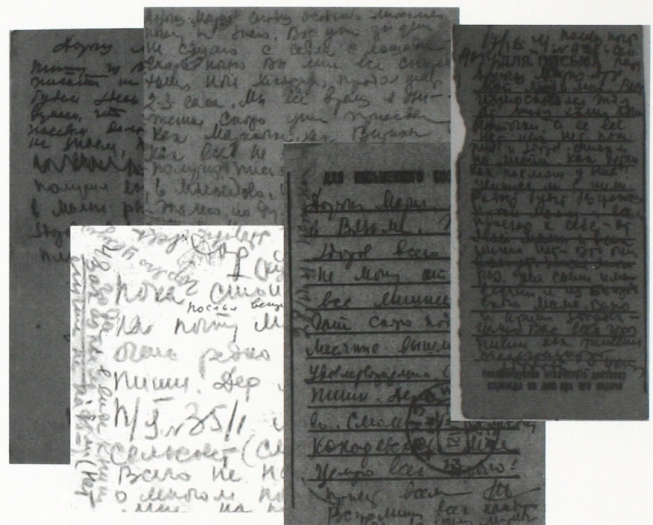
Григорий Александрович Рафальский и Мария Андреевна
с детьми Виталием и Мариной. 1938 г.



Слева направо: Рафальский Григорий Александрович, военный врач, с пациентами.
Довоенное время. Григорий Александрович с Мариной



Москва, Остоженка, Второй Зачатьевский переулок, д. 2. Первые три окна в здании за
стенной были в комнате, куда Григорий Александрович перевез семью в конце 1930-х гг.
Зачатьевский монастырь, разогнанный в 1927 г., стал «коммуналкой»



Письма с фронта. Переписка родителей Марины осенью 1941 г.

30/ VI – 41

Дорогая Мария!

[...] Приехали в Вязьму. Жив и здоров.

Пока живем здесь временно. Скоро уедем. [...]

Число неразборчиво.

[...] Куда тебе писать? Богородское? Пока стоим на месте. На почту могу попадать
очень редко. [...] Пиши мне, как здоровье всех. Горячо целую.... Посылаю вещи в двух
посылках.

22/ VII – 41

Дорогая Мария! Сегодня особенно тоскливо. Почему – не знаю. Вот уже 3-й день
не слезаю с седла с лошади. Часто ночью вы мне все снится, хотя ночь зачастую
продолжается 2-3 часа. Мы все время в движении. [...] Как Мариночка? Как Витенька?
Как все? Не успел получить письма в Вязьме и в Масеедово и очень об этом жалею, но
думаю, что напишу тебе как [...] Я не знаю будет ли вас увидеть. Если это
сбудется – я вижу – чувствую – как все мы Целую горячо всех....

17/ IX – 41

Дорогая Мария! Друг мой любимый. Весь истосковался. Жду от тебя хотя бы весточки, а ее все нет как нет. Пока жив и здоров. Стоим на месте. Как детки? [...] Увижусь ли с ними? Радость будет безграничная. Пригласи маму и всех приехать к себе. От моей мамы и всех ничего нет. Это очень волнует. [...]

20/ IX – 41

Дорогая Мария!

Сегодня получил [...] первую открытку от 1/IX – 41
Ты, конечно, не представляешь и не можешь понять, что значит получить от глубоко любимого человека весточку. Ведь легко сказать ... 2 месяца ни слова. Я думаю, что теперь связь наладится. Как долго мы будем стоять на месте, трудно сказать. Мы еще стоим ... [...] Буду надеяться, что увижу тебя, Мариночку и Витеньку. Как я за вами всеми стосковался! Как вы все живете? От моих нет весточки. Мама и Иосиф неизвестно где. Где Варя? Вера? Бэлла? Все проклятые враги разрушили. [...]

21/ IX – 41.

Дорогая Мария!

Два слова. Уходит почта. От тебя получил одну открытку от 1/ IX – 41. Безумно рад. Пиши как можно чаще. Целую горячо детей, тебя. Жду письма.
Ж.

29/ IX – 41

Дорогой Жора!

19/ IX получила твои два письма. Сегодня – от 20/ IX.
Дети и я здоровы. Все время тебя вспоминаем и горим желанием видеть. Будь здоров. Витя сегодня мне сказал, что ты обязательно вернешься, и Мариночка каждый день представляет себе встречу. Переживаем очень много. Пишу тебе 29/ IX – 6-ой раз. Досадно, если ты не получаешь моих писем и теперь. Пиши по возможности Целую тебя крепко и горячо. Твои.....



29/IX – 41 г. Открытка, вернувшаяся к Марии Андреевне:
«занинхождением полевой почтовой станции»

IX – 1941 г. Богородское (Сокольники).

Почтальон – бабушке Марины, Александре Семеновне:

«От своего зятя больше писем не ждите! Там, под Вязьмой, всё в небе летает.

Человеческие и лошадиные головы, руки, ноги, тела, кишки. Вывороченные кусты и деревья с корнями. Всё вперемешку. Непрерывные бомбежки».

12 окт. 1945 г.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Фрунзенского района гор. Москвы.

Извещение

Ваш муж военврач 3 ранга Рафальский Григорий Александрович, находясь на фронте, пропал без вести в сентябре 1941 г. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО № 220–41 г.)
Выдано на основании выписки ГУК НКО от 10.09.45 г.



Мама и бабушка Марины в послевоенное время



Марина (3-й ряд, в центре), ученица 9-го класса школы №36 на территории бывшего Зачатьевского монастыря



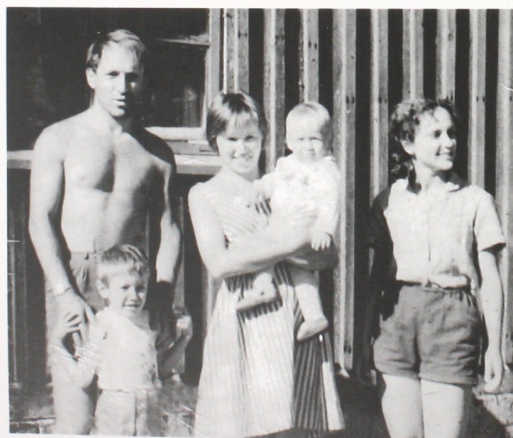
Слева направо: 1950-е гг. Двоюродные сестры и неразлучные подруги. Томочка Корнеева, заболевшая раком горла и прожившая так до 1961 г. (с. 204–206)



1955 г. За четыре года до встречи с Мариной. Юрий Яковлевич Глазов с дочкой Леной



Декабрь 1959 г. Марина у бабушки в Богородском (Сокольники)



Лето 1967 г. в литовской Пярвалке, подробно описанной и Юрой, и Натальей Трауберг. См. также стихотворения Марины (с. 172)



Апрель 1968 г.
Юрий и Марина с мальчиками, Яшей и Гришей,
в день изгнания Юры из Академии наук
за подпись «Письма двенадцати»



1971 г. Остается год до отъезда в эмиграцию.
Лена, Наталья Трауберг, Марина



О. Александр Мень. Справа: Тоня Сухорукова и Егор Гикало, близкие друзья-соседи нашей семьи. Как мы узнали позже, они хранили в своем доме в те опасные годы копию «Архипелага ГУЛаг» А. Солженицына



Марина и Евгений Рашковский
(на одном из предотъездных
вечеров-прощаний у нас дома)



Две подружки,
Наташа Садомская и Марина,
шутят в минуты прощания



Маленький Яша развлекает семью



О. Станислав Добровольский.
Литва, Пабярже (с. 83–84)



Перед отъездом. Весна 1972 г.
Владимир Кормер с Юрой (с. 224–228)



Предотъездные дни, апрель 1972 г. Борис Шрагин, Галина Габай, Юра и Павел Мень.
Над Павлом – автопортрет Юрия Лекомцева (с. 60–61)



Последние часы вместе. Марина с мамой



Сцены прощания. Друзья: Ада Гершович, Вадим Белоцерковский, Елена Семека, Наум Коржавин, за ним (лица не видно) Анатолий Примаков. Рядом с Юрой справа – Елена Строева. Верхний ряд: рядом с уже пустыми полками – Михаил Панкратов)



«И надо прыгнуть всей судьбою в омут» (с. 131). Семья перед отъездом

Италия. Лето 1972 г.
Мы в Сериате, Бергамо, у падре Нило в летней школе.



Ирина Иловайская-Альберти, Марина,
Ирина Бушман



Юра и Марина с Марио Корти



Семья с падре Нило перед отъездом в Америку



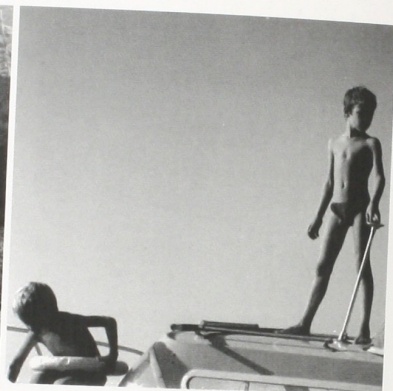
Рим. Лето 1972 г.
Слева направо: Леонид Ригерман, Елена Строева, Людмила Торн, Юра и Марина.
Смерть Елены Строевой была для нас большим ударом (с. 189–195 и 207–208)



Америка. Мы все в Летней школе в колледже Миддлберри, Вермонт, лето 1973 г.



Осень 1972 г. Гриша и Яша
привыкают к Америке. Южный
Найак – поселение всех поколений
русской эмиграции



Лонг Айленд.
Гриша и Яша на лодке
в гостях у Романа Брахмана



Гриша, бостонский период,
1974 г.



Канада. Лето 1976 г.
Лена выходит замуж за Кевина Корригана



Канада, Галифакс.
Коллеги по русской кафедре:
Джон Барнстэд и Иева Виттинс



Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов
перед лекцией в университете Далхаузи.
1978 г.



1978 год. Игорь Мельчук с семьей у Глазовых.
Юра, Света и Катя Мельчук, Лида Иорданская и Гриша Глазов



Сентябрь 1979 г. Галифакс. У Лены родился второй сын – Юра.
Марина и Яша навещают их в родильном доме



Лето 1982 г.
Лена с детьми приехала из Торонто в Галифакс на каникулы



Профессор кафедры классической философии Джеймс Даулл, Гриша, Марина,
профессор Вэйн Хэнки, Юра и приемные дети Флои, жены проф. Даулла, –
Грег и Патриция



Профессор классической философии,
знаменитый переводчик Платина
на английский язык
Хилари Армстронг с женой Деборой



1983 г. Франция.
Яша в гостях у Жанетты Фрашон,
в доме которой одно время жили
Юра Титов и Елена Строева



Владимир Буковский
в гостях у Юры и Марины.
Справа за столом —
студент русского отделения
Пол Даффи.
Галифакс



Внизу: Иосиф Бродский в Галифаксе. 1980-е гг.



С Гариком Восковым.
Галифакс. 80-е гг.



Юра с двоюродным братом
Марком Канером. Чикаго



Юз и Ира Алешковские.
Галифакс, Самбро.
«Многая лета, многая лета
таланту Юз-Фу и красоте поэта!»
(с. 267–272)



С Виктором Ямпольским. Галифакс



Перестройка. Глазовы в Москве. На митинге выступает Андрей Дмитриевич Сахаров



Концерт Юлика Кима



В гостях у Симы и Саши Лавут. Сидят за столом (слева направо): Лариса Богораз, Юра Глазов, Юра Гастев, Алексей Гладкий... Стоят: Слава Грабарь, Дима Янков, Боря Кулаев (?), Женья Пинскер (?). В центре: Саша Лавут и Сима Лавут, жена Димы Янкова Наташа, Эмма (Нозми) Ботвинник



Лето 1990 г. Канада. У Лены и Кевина в Саскатуне. Гриша приезжает из Оксфорда с невестой Региной. Регина знакомится с Юрой, Мариной, Леной, Кевином и с детьми Лены и Кевина: слева направо — Джон, Юра и Маша



Опять в Москве. 1990-е гг. Слева направо: с Юрием Фрейдиным. С Вячеславом Всеволодовичем Ивановым





Встреча с Венедиктом Ерофеевым на одной из конференций. 1988 г.
Справа от Венички в первом ряду – его жена Галина Ерофеева. Рядом – Марина



Веничка Ерофеев – дома на Флотской



Феликс Светов и Анатолий Лейкин (с. 32–34) приветствуют Марину в студенческом общежитии для иностранцев на юго- западе Москвы. Анатолий Лейкин, Татьяна Ольшевская, Марина, Виктор Финн в том же общежитии



В гостях у Аверинцевых



Юра Глазов-Большой с племянником Юрой Глазовым-Маленьким у брата Юры – Славы и его жены Тамары



В редакции журнала «Истина и Жизнь».
Сидят: о. Александр Хмельницкий, Владимир Юликов, Евгения Перель.
Стоят: Сергей Ступин, Юра Глазов, Алла Калмыкова (с. 244, 331–356) и Наталья Боброва



В гостинице «Центральная» на Тверской.
Сидят (слева направо): Лариса Лейтес, Лена Глазова, сын Лены Юра Корриган,
Алла Калмыкова, Галина Корнилова. Стоят: дочь Лены Сара Корриган и Сергей Букалов



Неужели Москва?
Юра с Наташей
Трауберг после долгой
разлуки



Отец Александр Мень. Июнь 1990 г.
(за три месяца до убийства)

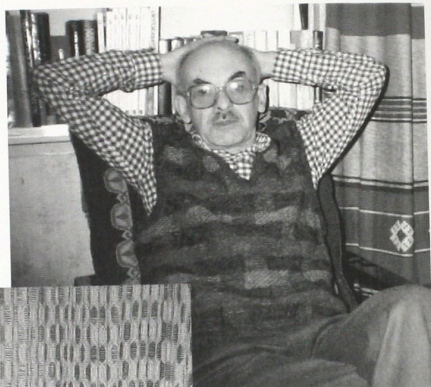


У Юлии Живовой
и Ивана Дмитриевича
Рожанского



У Инны Лисьянской и Семена Липкина

1991 г. В России
и в Америке



У Булата Окуджавы
в Переделкино (с. 317–327)



Татьяна Ямпольская (с. 247)
и Эммануэль Борок. Бостон



Григорий Померанц.
Москва (с. 48, 242–243, 298–299)



Екатеринбург. Виталий
Корнеев, родной брат
Марины. Овчарка Виталия
сильно разволновалась
в минуты прощания с
Мариной и Юрой



У Владимира и Аллы Уфлянд. Петербург

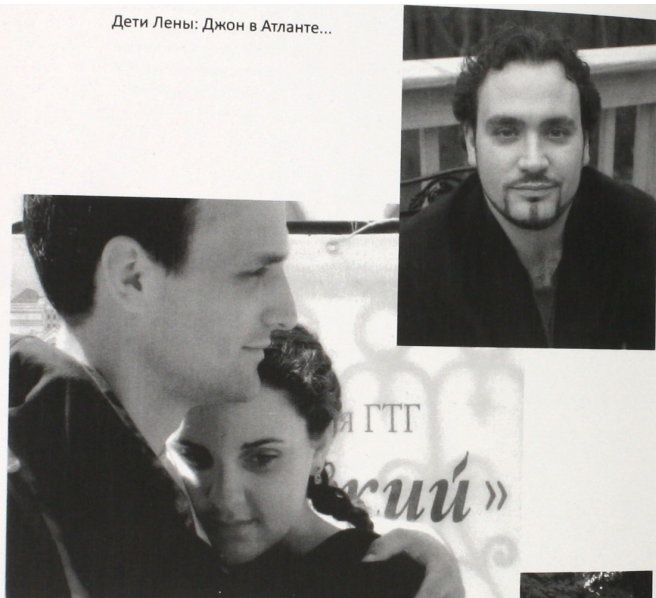


Галифакс.
Юра у любимого залива



Саскатун. В гостях у Лены. Рождество
1997 г. Страшный диагноз объявлен

Дети Лены: Джон в Атланте...



...Юра и Сара в Москве...



...Мария и Лена в Киеве
с «Ежиком в тумане»,
вернувшимся в тот день из починки



Екатеринбург.
Валерия Корнеева-Рафальская,
внучка родного брата Марины, Виталия



Москва. 2000-е годы. Томочка, дочь
Виктора Корнеева, двоюродного брата
Марины — ее близкого друга с раннего
детства. Томочка названа в память Томочки,
двоюродной сестры Марины (с. 204-206)



Галифакс. 2012 г.
Тали, дочь Гриши, и трое его сыновей
(слева направо): Рафаэль, Августин и Юрий.
Гриша крайний справа



2000-е годы.

Яша и Гриша с мамой в Галифаксе



После урагана.
Марина в галифакском парке.

«Почти прямая
между утихим воздухом и морем
черта волнистая.
Почти не пахнет горем...»

(с. 267)

Возле нас на той стороне улицы Волгина, где на пустыре гуляли собаки и пропадали дети*, теперь строят Институт Акушерства и Гинекологии и Высшую Школу Милиции. Ландшафт изменился. А в зоне отдыха, где мы когда-то собирали грибы, теперь построен огромный район – Теплый Стан.

<...>

На днях я прочла книгу Hedrick(a) Smith(a) «The Russians». Впечатляющее произведение, но конец дурацкий. Наблюдатель он прекрасный, а вот обобщатель – никакой.

<...>

Мариночка, я бы очень хотела получить от тебя подробное письмо с бабьи подробным описанием – про всех, а особенно – про детей и с фотографиями...

Еще у нас везде висят плакаты: «Пятилетке качества – рабочую гарантию!»

Целую тебя и всю семейку. Жду вести. Л.

1978

Дорогая Мариночка!

<...>

...Мы вас помним и любим, мне часто хочется написать тебе, но, во-первых, через родную почту – неохота, а во-вторых, я не обладаю эпистолярным талантом моего мужа. Особенно мы вспоминаем вас в новогодние ночи и мысленно желаем вам всем счастья, если оно существует. Мне очень интересно, как там вы все, как растут дети, чем они интересуются, помнят ли Россию.

Крут наших знакомых все сужается. Уезжают и хорошие люди, и плохие. Как гениально выразился Витя, «наступил год великого перелома – на Запад тронулся говнюк». Учтите это!

* Наша соседка по московскому дому, глубоко интеллигентная баба Валя, приглядывала, в помощь Марине, за резвящимся во дворе Яшенькой. Марина же постоянно получала от женщин из соседних корпусов предупреждения о том, что «эта старуха крадет детей». – Прим. сост.

Возле нас на той стороне улицы Волгина, где на пустыре гуляли собаки и пропадали дети*, теперь строят Институт Акушерства и Гинекологии и Высшую Школу Милиции. Ландшафт изменился. А в зоне отдыха, где мы когда-то собирали грибы, теперь построен огромный район – Теплый Стан.

<...>

На днях я прочла книгу Hedrick(a) Smith(a) «The Russians». Впечатляющее произведение, но конец дурацкий. Наблюдатель он прекрасный, а вот обобщатель – никакой.

<...>

Мариночка, я бы очень хотела получить от тебя подробное письмо с бабьи подробным описанием – про всех, а особенно – про детей и с фотографиями...

Еще у нас везде висят плакаты: «Пятилетке качества – рабочую гарантию!»

Целую тебя и всю семейку. Жду вести. Л.

1978

Дорогая Мариночка!

<...>

...Мы вас помним и любим, мне часто хочется написать тебе, но, во-первых, через родную почту – неохота, а во-вторых, я не обладаю эпистолярным талантом моего мужа. Особенно мы вспоминаем вас в новогодние ночи и мысленно желаем вам всем счастья, если оно существует. Мне очень интересно, как там вы все, как растут дети, чем они интересуются, помнят ли Россию.

Круг наших знакомых все сужается. Уезжают и хорошие люди, и плохие. Как гениально выразился Витя, «наступил год великого перелома – на Запад тронулся говнюк». Учтите это!

* Наша соседка по московскому дому, глубоко интеллигентная баба Валя, приглядывала, в помощь Марине, за резвящимся во дворе Яшенькой. Марина же постоянно получала от женщин из соседних корпусов предупреждения о том, что «эта старуха крадет детей». – *Прим. сост.*

Общие тенденции нашего развития вам, я думаю, ясны. Когда-то я рассказывала Юре, какой у нас прекрасный институт*, а он мрачно предсказывал, что долго так продолжаться не может, и оказался прав.

Что писать про нас – и не знаю. Живем мы тихо, внешне без перемен.

<...>

Витя дома все ходит в твоём свитере – сером с розовым (помнишь, ты в нём спала, когда холодно?). Это его реликвия.

Сергей (Букалов. – Е. Г.) шлет всему семейству самые нежные приветы. А я вас всех крепко целую. Лариса

15/ VIII. 89

Дорогая Марина,

Еду на Международный почтамт отправлять письма...

Хоть и была ты в Москве два раза, но у меня так и осталось чувство, что мы ни о чем так и не успели поговорить, а лишь скользили по поверхности вещей. Даст Бог, свидимся еще!

<...>

После Съезда Народных депутатов началась сессия Верховного Совета. Мы ее, не отрываясь, смотрели по телевидению (а транслировали запись вечером и ночью) как захватывающий многосерийный фильм со своими героями и злодеями. Ловлю себя на том, что на старости лет стала жить по Орвеллу – в «double-thinking» (двоемыслие – Е. Г.) – понимаю, что ничему хорошему взяться неоткуда, и в то же время полна глупых надежд. И, конечно, на голову каждый день обрушивается новая порция газет и журналов, которые, как кудяхтает разносчик новостей, «обязательно надо прочесть»!!

Важным для меня событием была поездка в город Чистополь на Каме, «город сердца моего», как писала про него М. Петровых. Я там провела в эвакуации 2 года – с 41 по 43-й – в интернате для писательских детей. А кругом ходили: Цветаева (моя мать ее пыта-

* НИИ (Научно-исследовательский институт) элементоорганических соединений. – *Прим. сост.*

лась в Чистополе устроить), Пастернак (приходил к нам в интернат за супом, т.к. Зинаида была у нас сестрой-хозяйкой), Петровых и Тарковский, а также приезжали к семьям с фронта Гроссман, Твардовский, Фадеев. И все долгие прошедшие годы этот Чистополь не давал мне покоя, и я все думала: надо туда поехать, но думала как-то абстрактно. А когда у нас начались забастовки шахтеров и грозились забастовать железные дороги, я решила – надо ехать, а то скоро вообще никуда не доберешься. И поехали мы с Сережей, предварительно написав туда письмо.

А приехав, я оказалась первый раз в жизни в роли свадебного генерала и чувствовала себя весьма неуютно. Оказывается, в этом прекрасном белокаменном чистом Чистополе местные краеведы, поскольку «ведать» особенно нечего, специально разыскивают всех, кто жил в нашем интернате (называется это – клуб «Поиск»). Поэтому я там выступала в этом клубе и еще в краеведческом музее, что было потом в красках расписано в местной газете «Ленинский путь». Читая ее, я вспомнила гордость Остапа Бендера по поводу заметки «Попал под лошадь».

<...>

Очень я жалею, что ты мне так и не показала своих новых стихов.

Напиши мне, если будет охота, про жизнь и семейство. Большой привет Юре...

Целую тебя. И Сергей выкрикивает какие-то восторженные приветствия. Лариса.

Наталья Садомская

28 января, 1977

<...> Твои стихи, Маринка, произвели самое лучшее впечатление.

Я разговаривала с Иваском и Чинновым, и они отметили, что ты единственная была, кто пришел их послушать. Ласло Тикош тоже сказал, что ты ему больше всех понравилась. Так что дело идет!..

<...> Прочла твои стихи во «Вр. и мы». (1977, Tel-Aviv/New York, № 15: 102-105). Очень тронули. У тебя все богаче и смелее и тонь-

ше со временем. Откуда у тебя слова выпрыгивают, и как много ты их знаешь! Это счастье – так писать! Хорошо...

1977

Маришка, милая,

Во-первых, громадные поздравления Леночке и всем вам <с рождением ее первенца>. Это жизнь, это корни, будущее. Рада за вас, за вашу семью. В этих корнях, зеленых ветвях ваша сила. Дай вам Бог счастья! Боря тут же.

Рада за тебя, за стихи, Париж и за твое «свое», что ты себе создала...

Настроение изоляционистское. Перспективы неясны. Работаю, пишу. Читаю курс «Народы СССР» по-английски. Следующий год не знаю, где будем. Отношения с эмиграцией определила формулой: «Если услышите, что про нас говорят плохо – знайте: это правда». Впрочем, и это лишь этап...

Целую всех крепко.

Ваша Наташа.

Р. S. Нью-Йорк рыхлый. В нем есть все, как в лавке. Можно обожраться, но не видно неба.

6 мая 1977

Мариночка, милая,

<...> Слышала от людей про появление во «Времени и Мы» твоих новых стихов. Еще не видела. Хвалят посторонние, незнакомые. Верю в тебя, очень.

Я страшно рада твоему творчеству и тому, что ты как личность не меняешься и сохраняешь обнаженную совесть. Это редкий, трудный дар, трудный для того, кто его имеет, но это дар. Это – то, к чему мы стремились нашей внутренней работой в Москве.

Он дал силы к жертвенности нам. Его капельки крови проросли тем, что сейчас называют «движением» и пр. и пр. Это забыто и будет забыто. Надо набраться мудрости и иронии, чтобы созер-

цать сейчас бряцание, речи и т.д. Это все к лучшему, это все для людей.

Но наша сущность останется в тени. Ею нам не гордиться и не стыдиться. Просто жить. Мы выбрали и за выбор платим. Прости за патетику... Мечтаю встретиться и отвести душу.

Целую всех.
Ваша Наташа

Лев Наврозов

1977

Отзыв на публикацию в «Континенте» №9, 1976. Париж. С. 78–80. 1. «И бьется, вьется пена паутиной...» (Тюльпаны). 2. «Долгим О-О-О-О над могилой дружбы...»

... Я не знаю почему, но второе стихотворение мне нравится меньше. Как говорят в советских пьесах, сердцу не прикажешь. А вообще <первое> стихотворение – это заявка на гениальность. И совершенную виртуозность. 20 – 30 стихотворений – это бессмертие поэта. Тут и дьявольская смелость нужна, и божественное ухо. <..>

Вот мой совет, нелепый как все советы. Выпрыгните из литературы. Литература – это не литература. Так всегда было и будет. А чтобы выпрыгнуть, не бойтесь показаться бездарной, смешной, пишущей чорт знает что, сумасшедшей, обыкновенной, не знающей, что писать, пишущей «как будто мне девять лет», не владеющей азбукой литературного стиля, графоманкой, тяжелой истеричкой. Здесь же нет СП (Союза писателей). Так и пошлите всех к чорту.

Включая преданного Вам
Льва Наврозова

Александр Галич

Ноябрь 1977

...Что это Вы делаете, Марина? Так писать не разрешается. Только главное, чтобы Вам не мешали. Я бы хотел все это издать и написать предисловие.

Ангелина Галич

Париж 27 ноября, 1977

Дорогие мои Мариночка и Юра!

Хочу начать в стиле вашей подружки Розочки*: как, мои дорогие, живется вам в этом бездушном, холодном и равнодушном мире насилия и вырождения? Живу с Галичем. Представляете? <..> Спасибо, Мариночка, за стихи! Это для меня счастье, радость! Вы – мой поэт! Боже! Ведь вот оно, родство-то души – Зачатьевский, Метростроевская и пр. Наша булочная на углу, особнячки тургеневские у Крымской и пр. «Дворцы Советов»!

Ранние – чудо, дальше горько и светло, лилия и трава – мой дух, умница моя дорогая, «секуры ветка», «Северная секура» – фантазия, быль, сердце, слезы, удивление перед миром в глубь, детский мудрый глаз художника-девочки... Саша все это время писал, как безумный графоман, очень увлечен – что-то новое по жанру. Ох, хотелось бы мне послушать курс лекций М. Глазовой... Приедете, будем гуторить по-гречески – мне все одно! Ну и молодец же Вы!

Как мне Вас не хватает! Ужас – как Вы далеко!.. Париж хорош и при дожде, но, право, одряхла Европа – запустила себя – погрязла в равнодушии и безвкусице <...>

Мариночка! Надо ли дать кому-нибудь стихи? Или хранить и мне наслаждаться? То, что они нравятся Саше, Вы знаете...

*Париж 6 января 1978 г.***

Родные мои, любимые!

Спасибо за письма! Спасибо за тепло... Еще не могу писать... Я одна без моего Сашуни во всем мире?! Зачем? Почему он, а не я?

* Розочка Дрейер – героиня из неопубликованной прозы Марины. В сентябре 1977 года Марина прожила у Галичей в Париже две недели, читала сценки из прозы, все много смеялись. – *Прим. сост.*

** 15 декабря 1977 – день смерти Александра Аркадьевича Галича. – *Прим. сост.*

Почему не вместе? Он был еще теплый, когда я пришла. Шла спокойно, купила цветы... Он умер счастливым... очень...

Мариночка! Я вчера (а Саша раньше) говорила с Васей Бетаки о частном издании Ваших стихов. Он заверил меня, что это возможно во Франции, он поможет...

Люблю! Благодарю!

Желаю от всего сердца Счастливого, Чудо-Нового Года! Вы заслужили всего самого прекрасного. Радуйтесь каждому мгновению, пока Вы вместе!...

Всегда Ваша Нюша.

Париж 15 января 1978

Родные, любимые мои!

Спасибо, спасибо за все! Сегодня ровно месяц, как нет моего любимого, ненаглядного, единственного... Будущее темно слишком, до жути... Деньги принимаю с благодарностью, т.к. с Максимовым основали пока еще маленький фонд на памятник (О Боже!) – Сашуне!

Делать будет Э. Неизвестный. Это Ваш родной вклад...

Мариночка, еще раз повторяю – говорила с Бетаки – можно издать небольшой сборник и хорошо (он поможет), Саша этого хотел...

Гарик Восков

1980

Дорогая!

...В ранних стихах чувство опережает искусство. Оттого создаешь не средствами искусства, а средствами чувств. Дальше – пошло очень хорошо, замечательно!

Лев Лосев

9 июля 1980

Дорогая Марина,
Большое спасибо за стихи.

Некоторые я знал и раньше по публикациям. Все в целом они мне очень интересны (лучшей похвалы я не знаю), а судить женские стихи – Цветаевские ли, Ваши ли – я не умею, потому что воспринимаю их как другой вид словесного искусства, отличный от мужских стихов. Мне кажется, что у поэтесс это какая-то форма повседневного существования, а у мужчин именно произведения, «артефакты». Именно поэтому и не могу сказать, что мне понравилось больше, что меньше, – интересно всё в целом.

Впрочем, может быть, немного вырываются в другой, набокковский, жанр «Сосед по креслу очень волновался...» и «Они мне объясняли всё подряд...»

Вот скоро выйдет огромное эссе Бродского о Цветаевой, и, может, он научит лучше разбираться в женской поэзии.

Если вздумаете путешествовать в южном направлении, милости просим, заезжайте в Ганновер. Вот тогда поболтаем и о стихах и о проч.

Хотите ли, чтобы я отобрал и предложил что-нибудь для №2 «Части речи»? (А №1 у Вас есть?)

Ваш Леша

Александр Пятигорский

8/6/1981

Милая Мариночка!

... Жизнь сама так идет, что я, практически, ни о чем, кроме философии (или, скажем так, – кроме мышления) думать не могу.

Но есть еще одна, не менее важная вещь. Это – Россия, от которой я оторвался, видимо, гораздо сильнее, чем кто-либо другой из моего (или близкого к моему) поколения. Оторвался не мыслью, а душой – то есть просто перестал ее любить. Так, говоря откровенно-

но, если бы даже представился случай безопасной поездки туда (о возвращении и мысли быть не может ни при каких обстоятельствах), то я бы едва ли поехал. Даже из любопытства бы не поехал – то есть на свою жизнь мне России хватит. И это – не идеология, не убеждение, а как бы «формулировка опыта чувств» – простите мне этот «прозаизм». Но при чем же здесь поэзия? – спросите Вы.

Я думаю, что хотя вообще ни при чем, но в моем случае они очень тесно связаны: не языком только, а биографией – моей и Вашей.

Вы ведь – русская поэтесса, а я – никакой философ. Это – очень важное различие. Я давно уже прочел Ваши «Разговоры»*: хорошо и добро, по-моему. Но, сказать Вам со всей откровенностью, это уже совсем не мое. И, повторяю, не потому, что моим стало английское или еще какое, а потому что – «моего» больше не будет.

Вот и всё. Со мною поэтому, наверное, и Иосиф Бродский дружить больше не хочет. Я вот когда читаю «...ни страны, ни погоста не хочу выбирать...» – то думаю: Боже! Да, может быть, после Блока и строк-то таких дивных не было! Да в том дело, что я-то не мог бы их произнести, не соврав. Ведь я-то выбирал! Я сам выбрал и уехал.

Когда я читал Ваши стихи «Лене Строевой» (они – просты и прекрасны), я думал о внутренней нашей, природной ориентировке на трагедию. То есть на собственный выбор жизни, такой жизни (и такой «выбор»!), чтобы потом было над чем плакать и от чего вешаться. Прямо, кажется, так и должно было выйти – чтобы отчаяние, смерть и потом стихи. Так вот – я могу это понять и, даже, грустить вместе с Вами, но не больше. Плакать от этого уже давно не могу. Произошла – не от воли, а от судьбы – переориентировка. Мне кажется, что не только во мне, а во времени самом что-то изменилось! Я пытался это объяснить Эдику <Зильберману> перед самой его смертью, но, по-моему, это мне не удалось....

Ваш Саша

* Розовое дерево (Разговоры), «Эхо», Париж, 1979, №1, с. 45–65.

Вера Данам

9-го апреля 1981

Милая Марина ...

<...> 1. Мне очень понравились стихи. Что-то пастернаковское. Надеюсь, Вы не обидитесь за это. Для меня это святое. А глупых комплиментов не делаю. Это принцип.

2. Не ответила Юрию на его очень меня обрадовавшее и согревшее письмо до сих пор, потому что мечтала о том, чтобы послать Вам как сюрприз переводы хотя бы двух Ваших стихотворений. И не вышло. Просто не было спокойного, мягкого, доброго времени – так меня вся эта перегрузка и текучка придушила.

3. Еду к очень больной самой моей близкой приятельнице-другу в Мюнхен... Не могла начать собираться в путь-дорогу, не сказав Вам, что мне кажется – мы давно знакомы и какие у Вас мальчики!

4. В Пиковой Даме, оказывается, играют в штосс.

5. Юрию буду писать отдельно – но пока обнимаю Вас обоих.

Ваша Вера.

Константин Кузьминский

23 мая 83

НЙ, подвал

Марина, в ответ на сумбурное письмо и дивные тексты сообщаю: 25 штук с удовольствием отобрал, получилась емкая подборка, куда и как – еще не уверен... <..> Тексты ваши – сильные, глубокие, прекрасны...

Григорий Померанц

1983

...Из присланных тобой новых стихов нам с Зиной единодушно понравилось про Еву. Там есть поэтическая мысль – то, что должно быть так или иначе открыто или скрыто за потоком ассо-

циаций и что не всегда есть в современной поэзии. В том числе и твоей. Иногда этот поток ассоциаций выражает что-то, а иногда ничего особенного, и тогда смутное чувство поэтического брожения, вызывая смутное сочувствие, легко расплывается и уплывает без следа. Ева запоминается. Кажется, в последние годы у тебя больше удач, чем прежде. Но, может быть, стоит внимательно все перечитать, отобрать лучшее и не дать ему потонуть в лирическом дневнике? Есть большие поэты, которые утонули в собственных стихах. Постарайся выплыть – и собраться в маленькую книжку...

Надеюсь, что это пожелание тебя не обидит!

Зинаида Миркина

18 ноября, 1984

Дорогие, дорогие Мариночка, Юрочка!

На днях мы с Гришей разбирали ящики и вдруг нашли Маринины старые, старые стихи. Сидели на полу и читали их, прямо как героиня тютчевского стихотворения. Стихи заново очень понравились нам и как-то очень прошибли... Особенно посвященные бабушке. Там в них истинное чувство и так найдены слова!..

Словом – душа душе весть подала, и вдруг – маленькое письмо от Тони с указанием телефона дочки – там нас ждут приветы и подарки от Марины и Юры. И вот я получила эти подарки... – у меня нет слов. Мы поражены вашей щедростью, вашим вниманием. Во всем этом чувствуется такая память, что я просто немею от благодарности...

* * *

Дорогие наши дальние и близкие Мариночка и Юра!.. Недавно видела Марину во сне. И так ясно! Будто ты приехала в Москву на побывку. И все время хочешь к нам придти и никак не получается это. И вот, наконец, приходишь. И почему-то очень плакала и от слез ничего сказать не могла. А потом вдруг стали приходить еще люди, и ты была в вишневом платье, очень красивая (прямо как Татьяна в малиновом берете), действительно, какая-то совсем

другая. Но когда ты поворачивала ко мне лицо, оно оказывалось мокрым от слез.

Юз Алешковский

Из отзыва

1984 г.

Поэта Марину Глазову можно обвинить во всем: и в небрежном отношении к рифме, к метрике, к синтаксису вообще, но только не в отсутствии поэтического, образного мышления и внутренней драматичности, когда не трагизма. Главное, что она радует читателя гармонией своего стиха и энергией мысли, а также своим самобытным чувством формы, не стесненной забившими наши уши анапестдактилями.

Думаю, что верлибр – лучшая для нее, для ее видения мира, темперамента и словесной способности форма. В ней, кажется мне, должны удачно соединиться ее поэтический мир, мир образов с техничностью ее прозы.

Из прочитанного понравилось многое. Очень хорошо:

«Черно-зеленым выткано узором...», «И бьется, вьется пена паутиной...», «Как хорошо стоять на берегу...» «Разлучаюсь, разлучаюсь...», «С тихой жалостью...», «Белым снегом опустится Купина...», «На лилии белой летит твое сердце во тьме...», «По городу звучному песня плыла...». Памяти Ал. А. Галича (Это чудесное стихотворение!), «Разделение полдня» (Хороший цикл), «Трава вся в изумрудах...», «Расскажи мне теперь о Джотто...», «Ни войнам, ни чуме...», «Отчего ж не избить лежачего...», «Бедная Ева» (Стихи просто прелестны), «Страшно богатым быть, страшно быть бедным...», «В городе том – то ли он, то ли – мы...» (Гармония стиха и энергия мысли – хороши. «...И в светлых песнях невинности столько светлой печали-грусти, / сколько уносит Лета-река, получая все из своего собственного источника речи – / речного устья. / И невозможно помянуть дорогое наше прошлое вместе». Это – прекрасно.) «Плач хромоножки Марьи Тимофе-

евны» (Замысел мне кажется замечательно поэтичным и опять-таки самобытным!)

Даниэль Лафферьер

Воскресенье 1986

Марина, получил письмо со стихами. Долго все-таки летело – почти 10 дней.

Стихи понравились. Очень мне трудно говорить о стихах. Много думал, читая тебя, о Цветаевой. Ошибаюсь? Давно такой ритм не встречал. И эти великолепные стихи («Плач Хромоножки»):

Как на острой на горе на той
я к земле припаду...

Много у тебя нашел. Присылай еще, если можно!..

Георгий Борисов

Декабрь 2010

<...> Марина, мне нравятся (помечены желтым цветом) больше всего те стихи, где меньше всего искусства и литературы, чтобы не сказать литературности:

«Чаяние чая», «Белый снег и черные следы...», «Всегда, когда волнуясь...», «В окно глядится куст сирени...», «Вцепляюсь в эти дни...», «Не летают облака...», «Образ с ладони исчез...», «Я боюсь победы...», «Как хорошо стоять на берегу...», «Приставив горячую чашку ко лбу...», «Я еду на косу Кейп-Код...», «Привет тебе, культурный шок!...», «Веками пел незащищенный голос...», «Расскажи мне теперь о Джотто...», «Бедная Ева!», «Виталию Рубину (Боюсь подходить к телефону)»..., «Мысль о бессмертии...», «Ирочке и Юзу (Идет-гудет зеленый шум)»...

**IV. О ХРОМОНОЖКЕ
МАРЬЕ ТИМОФЕЕВНЕ
(1986–2000)**

Сергей Аверинцев

«ПРИМЕТА СТИХОВ»

О «Плаче Хромоножки» Марины Глазовой

Самая большая похвала этим стихам, какая может быть: «Разве это литература?»

Между прочим, Верлен, так тот вовсе держал слово «литература» за ругательное. И Мандельштам – вслед за ним.

Это не литература. Это стихи. А примета стихов – что они ни у кого не спрашивают разрешения. И это не нарочно, не из дерзости. Просто им не у кого спрашивать разрешения, как полевым цветам. У Бога, у земли, у плачущего ребенка – может быть. Но не у нас.

Просто иными они быть не могут.

Пусть, кто хочет, пишет «профессиональнее». Это нетрудно. Что едва ли возможно, так это писать живее, потому что качество жизни едва ли измеримо в количественных мерах. Жизнь либо отсутствует, либо она есть, как здесь, и ничего не прибавишь. И распознается она – по беззащитности, по уязвимости. Что может быть уязвимее и беззащитнее, чем жизнь и женственность, жизнь как женственность и женственность как жизнь. А здесь каждое слово – из этого материала.

Беззащитность Хромоножки – как тема и одновременно как словесный жест, не переходящий, однако, в жестикуляцию, в спектакль, в «мастерство». Боже избави! Музыка юродивого лепета звучит то тише, то громче, не вызывая, однако, подозрений в своей подлинности.

Вот так – и никак больше. А поэзия – дело любовное.

Елена Глазова

ПЕРЕСТРОЙКА И «ПЛАЧ ХРОМОНОЖКИ»

Сколько радости и надежды нес конец восьмидесятых годов! Мы могли свободно получать русскую визу, могли навещать Москву, ходить по любимым и еще не полностью изменившимся улицам, видеть наших родных и друзей, пойти на родные могилы.

Но не уходило щемящее чувство обмана. Что-то шло не так. Как раз накануне (1986-1988) Марина написала «Плач хромоножки», плач обманутого и заколдованного сердца России – Марьи Тимофеевны с ее сказочным принцем Ставрогиным. Не защитил Ставрогин Хромоножку, а только усугубил ее бред, навел на предчувствие зловещих событий.

Очень противоречивые, даже болезненные чувства вызывает в этом контексте разговор папы и Марины с Булатом Окуджавой (с. 317). С одной стороны, их встреча 17 февраля 1991 года была подлинной радостью. Родители мои могли опять увидеться с людьми, от которых были отрезаны, казалось бы, навсегда. С другой стороны, разговор этот уже выявляет сгустившиеся тени будущего. По возвращении в Галифакс Марина расшифровала пленку, подготовила текст к печати как интервью отца (он очень любил задавать вопросы) – оно было опубликовано в «Континенте» (1997, №92) только частично. Как часто бывало в семье, это была работа вдвоем, и мы не знали, не подозревали, что отцу оставались считанные годы жизни и их многолетнее и счастливое содружество на земле подходило к концу... Марине в эти годы было нелегко. Папа, при всей своей жизнерадостности, уже не мог отделаться от ощущения горести и, когда думал о России и о процессах на Западе, грустил глубоко и порой безнадежно.

Уже к середине девяностых годов лживость и обман перестройки и постперестроечных перемен были налицо, шансы на подлинные демократические перемены упущены, и глубокое разочарование чувствуется в последней статье папы «Так где же мы

ошиблись?» – его рецензии на книгу Владимира Буковского «Московский процесс» («Новый мир», 1998, №3). Как писал папа, отчасти имея в виду себя и свой путь и в России, и в эмиграции, «к голосу Буковского следует прислушиваться, поскольку на Западе он прошел шаг за шагом путь, начавшийся с триумфа и завершающийся одиночеством».

Умирая от рака зимой 1998 г., уже прощаясь с нами, папа просил меня добежать в библиотеку и посмотреть, не пришел ли в Университет Дальхаузи журнал «Новый мир» с этой его статьей, его «лебединой песней», как он говорил.

Образы статьи, как мне думается, органично перекликаются со снами и мольбами Хромоножки. Действительно, не того защитника взяла страна в свои проводники, не того принца взяла себе Хромоножка в защитники... Нередко в те годы папа, думая о новой опасности для России, повторял слова Марининой Хромоножки:

Вся земля в слезах,
и нет радости,
и ползут по ней
одни гадости...

ПЛАЧ ХРОМОНОЖКИ

*Мне не надобен нов-высок терем,
Я останусь в этой келейке,
Уж я стану жить-спасатися,
За тебя Богу молитися.*

Марья Тимофеевна

Ф. М. Достоевский. Бесы

1

*...Я не сержусь, только сижу я тогда и думаю:
какая я им родня?*

Марья Тимофеевна

Какая я им родня?
Хоть и черную шаль мне дарили.
Шальную.

Свеча для чего без огня?
Поцелуем
загасит ее огонь,
оставив
один огарок
в подарок.

На платье зеленом
огнем полыхает красным
платок.

И красный паук на листочке герани.
Лучами косыми,

совсем золотыми
ласкает светило зеленые волны.
Чтоб помнил.

Песок золотой
покрывают
платком голубым с кружевами
зеленые волны.

Во сне только вспомнил.

Волной голубой
и травой зеленой
наполнил
свой сон, опуская ладони.

И желтая лента в ветвях.

2

*...Я сон какой видела: приходит он
опять ко мне, манит меня, выкликает:
«Кошечка, говорит, моя, кошечка,
выйди ко мне!» Вот я «кошечке»-то
пуще всего и обрадовалась: любит,
думаю.*

Марья Тимофеевна – Шатову

Я ребеночка убила – крошечку.
Прям на дно
пустила... в чулан кошечку.
Ой, темно!

Плачу, плачу и не помню я,
сколько лет,

как прошел от черной молнии
красный след.

Как на острой на горе на той
я к земле
припаду и на горе всю залью тоской –
на беду.

И плывут, плывут под ивами
лепестки...
Князь мой! Сокол! Милый! Милый мой!
От тоски....

Где мой сокол? Свет мой, зеркальце,
покажи!
Нет! Не верю, что ни сердца нет,
ни души!

Лжецаревичем – молю тебя! –
ты не стань!
Ой, убит он, мой малюсенький!
Вот их план!

Шейка тонкая склонилась
на бочок.
И походочка скривилась.
И крючок

ожидает гостя в тереме.
Погоди!
Слышь, молю! За черным зверем ты –
не иди!

Бойся, бойся черной лестницы!
Крюк там, крюк!

Там беда твоя невестится!
Там паук!

3

... Я в последний раз хочу удостовериться.

Марья Тимофеевна – Ставрогину

И карты врут, и люди врут,
и сны, и явь. Нет избавленья.
В глазах ребеночек, что в пруд
снесла... на дно пошел... и тени

погибших... камень... луч... вода.
Покойной ночи, дамы...
Покойной ночи, господа...
Любимый мой, желанный!

Я спасена! Я спасена!
Я в мыслях у того угла,
где встретила тебя впервые.
Вот домик... деревца кривые.

Вот веточки... дорога... сад.
Как будто вещи все простые.
Вот лента... Не вернуть назад.
И вместо рая снится ад.

4

Поняла, что значит «ставрос», я:
ставрос – крест.
Да-а-а... Попутал тебя староста
смертных мест.

Ни топтать, ни мять зеленого!
Ха-ха-ха!

Разгадала в листьях ленту я –
жениха!

То не сокол по-над облаком –
желтый змей
по стволу сменился обликом –
злой Кащей.

Еще только из пеленочек...
Боже мой!
Ой, повесился ребеночек –
образ твой!

Как сжимала беззащитный свой
кулачок,
пока душеньку ловил ее
на крючок!

Плачу, плачу и не помню я,
сколько лет...
А в глазах от черной молнии
черный след.

5

*...Весь ваш обман насквозь вижу.
Всех вас до единого понимаю...*

Марья Тимофеевна – Ставрогину

Ну что ты, гордый человек
и оскорбленный рано?
Провел насмешливую жизнь?
Натешился над раной

чужой от своего ножа,
в заступника играя?

Как вспомню, что было-прошло,
кровь стынет-застывает.

Игра – игре. Плохой актер.
Лебядкина ты хуже.
Пошлей она – игра твоя.
И лестница все уже.

Боишься смеха над собой?
Поведал на листочках
без покаянья, как довел
невинных до крючочка?

И буковки ползут, ползут
бесстыдно-нераскаянно
по тем листкам, как паучки
по листикам герани.

Коварство все, интригу всю,
обман насквозь весь вижу.
Затягивал в петлю других –
себе же вышло ту же.

Ты рыцарь был, а я жена,
спасенная тобою.
И вслед за девочкой висишь,
качаешь головою.

6

Отобьют они память мою.
И не будет мне весело.
Отобьют всю мечту мою.
Перепутаю время.

Я мечтательница, люди милые!
Развеселая хохотунья я!
Только вам не скажу,
ничего не скажу,
хоть сожгите меня,
хоть зарежьте меня!

7

«Любит, любит кровушку
русская земля!»

8

Вся земля в слезах,
и нет радости.
И ползут по ней
одни гадости.

И шипят-шипят
от ничтожества.
Мстят за свой позор –
за убожество.

Червяки ползут
прямо по сердцу.
Свиньи хрюкают.
В воду броситься

прямо с берега
разбегаются.
Мухи липкие
разлетаются.

И по всей земле –
одни сумерки.

Ни одной души –
словно вымерли,

словно черными
стали души вдруг.
Развели огонь.
Навели испуг.

9

Как подумаю – слезы опять,
как его убивали...

...

А ребеночка я через лес
понесла, завернула и лентой
обвязала, а мужа не знаю...

Помню – тогда в воскресенье
в доме том разглядела я много.
Люди важные. Я в потолок
все глядела, боясь рассмеяться.

А жила там на покаянии
одна старица. В поучении
за пророчество. На моление
в монастырь ее, где была и я,
привели. Вот она мне возьми да шепни,
выходя со службы из церкви:

«Как на пол-на аршина напоишь
своей горькой слезою землю,
в глубину земли прольешь слезы,
так нечаянная придет радость,
никакого горя не будет...»

10

Все выходит, как нагадала:
и дорога, и злой человек,
и постеля, вот вижу, смертная.

Налетела гроза.
Загорелись глаза.
А под утро тревога.
Стон и кровь у порога.

Кровью красной трава поливается.
Желтым пламенем все извивается.

11

Последняя ночь.
Плачь.

Кто еще там кричит?
Кто там плачет?
Кто еще там все знает, молчит?

О князе, о горе, ноже,
обнаженной душе
кто возьмется потом рассказать?

И она
прожила свой часок.
Брошен красный платок
на зеленое платье
небрежно.

С кем ты, нежный,
эту ночь проводил?
Чьей ты жизнью платил?

12

И она
обожглась на свече,
на луче,
что горел лишь мгновенье.

И толпы упоенье.
И всех счетов сведенье.
И души разрушенье.
И разгадка вся.
Лестница.
Крюк.

13

Все погаснет вокруг.
Затоскую навек.
Тут и память придет –
на опушку леса –
его –
убиенного –
приведет.

Положу ему
тихо руки на плечи,
и тихонечко
побежит
слеза...

1986–1988



*Замысел мне кажется замечательно поэтичным и
опять-таки самобытным!*

Ю. Алешковский



*«Как на острой на горе на той...» – великолепные
стихи...*

Д. Лафферьер

Юрий Глазов
БЕСЕДА С БУЛАТОМ ОКУДЖАВОЙ
*Отрывки**

17 февр. 1991 г. Москва, Переделкино.

Ю. Г. Милый Булат, мне хотелось бы поговорить с Вами о политике, о Вас, о Вашей жизни – в прошлом и теперь. Я всегда очень любил слова Христа о том, что он не погубил ни одного из тех, кто ему был дан. Вы видите красный огонек включенного магнитофона?

Б. О. Меня этот огонек совсем не волнует.

Ю. Г. Прежде всего несколько вопросов о том, что происходит в стране. Ситуация довольно парадоксальна. С одной стороны, положение в стране довольно скверное. Идут разговоры о дальнейшем поправении в обществе, а с другой стороны, жизнь продолжается.

Б. О. Конечно, процесс идет. Он очень затруднен. И потом он будет сопровождаться взлетами и падениями. Но вернуться к прошлому, конечно, нельзя. Это невозможно. Но будет и кровь, и пот.

Ю. Г. Поговаривают даже, что реставрируют лагеря, хотя сам я считаю такие разговоры проявлением паники.

* Часть этого интервью была напечатана в «Континенте», Париж–Москва. №2 (92), 1997, с. 326–340.

Б. О. Да, я слышал об этом. Но думаю, что их не реставрируют. Они всегда были. Они всегда были. <...>

Ю. Г. А у Вас нет страха?

Б. О. Нет!

Ю. Г. Совсем?

Б. О. У меня просто есть отвращение. <...> Страна страшная. Ведь страх этот испытывают люди всю жизнь. И у меня он тоже существовал, да.

Ю. Г. Мы говорим на очень интересные для меня темы. Простите, что я иногда перебрасываюсь с пятого на десятое. Вот Ваша песня, например, «Не обещайте деве юной любви вечной на земле». Я смотрел вместе со студентами фильм «Звезда пленительного счастья». И каждый раз, когда я слышу этот романс, слезы навертываются у меня на глаза. Откуда пошла эта песня?

Б. О. Тут только слова мои. Музыка Шварца. Это я писал не для фильма. Режиссер фильма Мотыль нашел стихи, которые я написал, и сказал: «О, вот это мне подходит!»

Ю. Г. Я бы хотел заметить, что фильм этот вовсе не о декабристах. Он о диссидентах, не так ли? О недавнем времени?

Б. О. Да.

Ю. Г. Моего приятеля Юза (Алешковского) я как-то расспрашивал, как у него родилась песня «Товарищ Сталин, вы большой ученый», а Вас мне хочется спросить о другой песне – «Ах, надо вымокнуть до нитки, ах, надо горюшка...

Б. О. ...хлебнуть, чтоб к заколоченной калитке с надеждой руки протянуть».

Ю. Г. Это о страшном времени последних десяти-пятнадцати лет безвременья, брежневской безнадежности? Покойный Леонид Ефимович Пинский, мне говорили, сказал об этой поре: «Бывали времена трудней, но не было еще подлей».

Б. О. Да, конечно, о брежневском времени.

Ю. Г. Вы знаете, что Ваше имя широко известно.

Б. О. Слава – вещь посмертная.

Ю. Г. В свое время мне довелось о многом говорить с Сашей Галичем. И после его смерти у меня было несколько интересных разговоров с Ньюшей, его вдовой. Она мне прямо сказала: «Саша на Западе не прошел!»

Б. О. Это естественно, потому что у него много слэнга, жаргона. А у меня все очень просто. Легко переводимо. За это ухватились, изучая русский язык.

Ю. Г. У Вас – об этом я писал в своей книжечке «Тесные врата» – есть полисемантичность, многозначность. Широкое поле для неоднозначной интерпретации.

Б. О. Вы об этом напишите, а со мной обсуждать не надо. <...>

Ю. Г. Хорошо. Вопрос на важную для Вас тему. Когда случилась трагедия с родителями, а произошла трагедия, Вам было тогда всего тринадцать лет.

Б. О. Репрессировали моего отца, пятерых дядьев, тетю и мать. Девятнадцать лет она просидела. Это, конечно, трагедия.

Ю. Г. В прошлую нашу встречу Вы сказали, что этого забыть нельзя и простить нельзя. Вы и писали об этом.

Б. О. Да. В общем, я и не прощаю. Нет, не Сталину, не Берия – я вообще не прощаю этому режиму. Этой идеологии не прощаю. Я не могу этого простить и забыть.

Ю. Г. А Вы пошли на фронт добровольцем, да?

Б. О. Да.

Ю. Г. И Вам было тогда семнадцать лет?

Б. О. Да.

Ю. Г. И Вы были ранены?

Б. О. Я был ранен. Я был солдат. Я пошел добровольцем не в поисках приключений, а пошел воевать с фашизмом. Совершенно сознательно. Лет десять или пятнадцать тому назад я встретился со своей очень близкой американской приятельницей. Мы гуляли по Москве, и она меня спросила, почему я пошел воевать. Я сказал ей: «Я пошел воевать с фашизмом». Она посмотрела на меня как на идиота. Она никак не могла этого понять. И только сейчас я начал понимать, что я сам был фашистом. Зачем же я пошел воевать против фашистов, если мы сами были фашисты? У нас был фашистский режим. Я этого не понимал. Я только теперь стал это понимать. А она это понимала прекрасно и удивлялась, когда я бил себя кулаком в грудь и объявлял, что я пошел бороться с фашистами.

Ю. Г. Я хочу задать Вам трудный и, может быть, неправомерный вопрос. Когда вы уходили на фронт, не было ли у Вас такого чувства, что Вы – дитя репрессированных родителей, и не жило ли поэтому где-то внутри у Вас желание оправдаться в глазах властей?

Б. О. Нет, нет. Я был очень «красный» молодой человек. Очень. Я считал, что раз мои родители арестованы, то в лучшем случае

произошла ошибка, которая выяснится, а может быть, они и виноваты, потому что наши чекисты не ошибаются. Так было. На войне я уже кое-что начал понимать...

Ю. Г. Булат, а как это можно объяснить, что у Вас есть мрачность и пессимизм, а вместе с тем Вы, я бы сказал, неизменно веселый и жизнерадостный человек?

Б. О. Я грустный оптимист.

Ю. Г. Но жизнь Вы любите?

Б. О. Конечно, очень люблю.

Ю. Г. Вопрос о самоубийстве никогда в жизни у Вас не возникал?

Б. О. Нет, никогда.

Ю. Г. Вы могли бы признать себя христианином?

Б. О. Понимаете, это сложный вопрос, потому что я был воспитан в стопроцентном атеизме, и это вошло мне в кровь. Жена моя верующая, и давно. Она очень сожалеет, что я не...

Ю. Г. Должен сказать, что сам я христианин...

Б. О. Да, да. Понимаете, какая штука. Я несколько раз пытался произвести переворот в самом себе. Но это мне не удавалось. Какие-то качества, заложенные во мне природой, видимо, как-то соприкасаются с христианством. Потому что неслучайно многие святые отцы считают меня глубоко верующим человеком. Это натурально во мне существует. Хотя я очень скептически отношусь к церкви. Не к религии, а к церкви. Особенно православная церковь мне несимпатична. И дело даже не в этом. Просто я не люблю

эту пышную обрядность, позолоту, мишуру, этих невежественных священников, которые ходят с этими крестами. Мне это неинтересно. Для меня это примитивный театр такой, балаган. Другое дело – церковные песнопения, их я могу слушать без перерыва. Я с умилением смотрю на людей верующих и молящихся, это да. Вот, например, я недавно был в Финляндии и посетил протестантскую церковь. Там никого не было. Службы не было. Это было пустое помещение со стеклянной стеной, которая выходила в густой лес. И когда я сижу... и на молитве, я смотрю вот на этот лес. Никаких икон, ничего, вот эта строгость и этот лес глухой. И я подумал, что если я когда-нибудь решусь... прийти в храм, когда-нибудь, то я стану протестантом. Потому что вот эта строгость мне по душе.

Ю. Г. Интересно, в Евангелии есть притча о двух сыновьях. Вы ее знаете. Один сказал «Пойду!», но не пошел. А другой – «Не пойду!», но пошел. По-моему, это прямо относится к Вам. Я мог бы привести много строчек из Ваших произведений. «Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешенье». Или «Вера, Надежда, Любовь» – «три судьи, три жены, три сестры милосердных». Это же, мне кажется, чисто христианский текст. Вы не любите, когда анализируют Ваши стихи, но возьмите электричество в Вашем полночном синем троллейбусе. Я как-то Вам писал об этом. Кто может в полночь различить, что троллейбус синий? И это электричество – через него художник показывает связь со скрытой силой. Ведь это не автобус.

Б. О. Да, да.

Ю. Г. Мне кажется, что у Вас есть собственное место в интеллигенции, в этом обществе. И трудно назвать другого человека в этом обществе, который бы играл роль, близкую Вашей. Ведь Вы тут, простите, чуть ли не «священная корова»?

Б. О. Был, был. Сейчас нет. Круг почитателей моих остался, интеллигентных людей. Но никакого ажиотажа сейчас нет. Потому

что сейчас новое время, новые песни. Наоборот, я скажу даже, что мною стали интересоваться больше молодые люди. Неожиданно совершенно.

Ю. Г. Ведь Вы оказались создателем целой школы бардов?

Б. О. Ну да, и не дай Бог вообще-то! Я не люблю ужасно это движение. Это стало массовой культурой. Все это неинтересно. Эстрада. Нет, нет. Потому что эта авторская песня рождалась на московской кухне, понимаете, среди пяти-шести единомышленников, мыслящих людей. Это была какая-то исповедь. А потом она вышла на широкий простор. Стала упрощаться. Она стала заботиться о популярности. Все это потеряло смысл вообще. <...>

Ю. Г. От одного из наших общих парижских знакомых я слышал, что Солоухин ему говорил: «Россия пропала!» Да он и писал об этом.

Б. О. Мне неудобно на эту тему разглагольствовать... Думаю, что Россия пропала не только с легкой руки большевиков. Она начала пропадать давно уже. Этому разные силы споспешествовали. Постепенно, постепенно, да еще и большевики приложили руку. Доконали. Знаете, не может существовать государство, нация, народ, объединенные только одной патриотической идеей. Должна быть какая-то другая серьезная цель, что-то другое должно объединять такой большой народ, такое большое общество. Я как-то написал... в одном интервью я сказал: почему это все время кичатся патриотизмом? Что такое патриотизм? Это биологическое чувство, присущее даже кошке, которая любит свой дом, свое место. Или голубю. Ну, тут началось просто страшное. На меня набросились. Как я мог патриотов сравнить с кошками? Идиоты!

Ю. Г. На Западе довольно широко распространен афоризм, восходящий к высказыванию Сэмуэла Джонсона: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя».

Б. О. Да, я слышал об этом. Нет, пожалуйста, любите свою родину, свой двор, свой дом, но не кричите об этом и не хвастайтесь этим. Нельзя же хвастаться тем, что ты дышишь. Вообще все эти заявления мне очень подозрительны. Как в любви к женщине громкие восклицания, так и в любви к родине и к народу. Надо молча все это. Любишь? И люби! Нельзя кричать об этом, размахивать руками. Так же как и некоторые вновь посвященные в религию, к которым вообще у меня отвращение. Которые, понимаете ли, не верили в Бога, а вдруг теперь на каждом шагу молятся, шепчут что-то и говорят только о Боге. Ну, что это такое? Я знаю верующих людей, которые об этом никогда не говорят. А веруют, про себя веруют.

Ю. Г. Что касается русской интеллигенции, можем ли мы говорить, что она все еще существует наряду с тем, что существует советская интеллигенция? Русскую интеллигенцию ведь тоже «привели в порядок».

Б. О. Понимаете, какая штука. Прежде всего у нас очень превратное представление о слове «интеллигент». Это все то же большевистское изобретение, когда у нас делили народ на рабочих, крестьян и интеллигентскую прослойку. Чушь собачья все это! Интеллигенция – это же не профессия. Интеллигентность – это состояние духа человека, имеющее свои определенные качества, свойства. Интеллигентом может быть рабочий человек и может не быть дипломированный профессор, а быть жлобом. Понимаете? Они никак этого понять не могут. Они считают, по старой большевистской традиции, что всякий человек, кончивший техникум, уже интеллигент. Как по телевизору заявил один болван-майор: «Я интеллигент, потому что я майор!» Ну, понимаете, ну, что ты можешь сделать? И смеха не вызвало среди окружающих. Поэтому что касается русской интеллигенции, то этот слой мыслящих людей... я думаю, что над ними тоже очень хорошо поработали. Они ведь тоже стали советскими людьми. Всех, кто мало-мальски сопротивлялся, уничтожили. Сегодня они говорят: русская интеллигенция... есть какая-то категория отдельных людей. <...>

Ю. Г. У нас с Вами есть другой общий приятель, Феликс Светов. В прошлом году в «Литературной газете» он опубликовал статью, где написал, что диссиденты забыты и «ночь после битвы принадлежит мародерам». Вы думаете, есть известная правота в его словах?

Б. О. Думаю, есть. Вообще-то диссидентство не забыто, оно в истории, оно свое дело сделало и оно будет существовать. Но в публике оно забыто, потому что публика занята собственным реноме. Ей не хочется говорить о диссидентах. Теперь каждый считает себя героем.

Ю. Г. Это очень серьезное явление, которое я хочу понять и за которым, как могу, внимательно слежу. Они же выпускали диссидентов и политических узников из лагерей, но говорили: подпиши, что ты отказываешься от своей антисоветской деятельности?

Б. О. Было так, но сейчас нет этого. Зое [Крахмальниковой] и Феликсу тоже предлагали, но они отказались. Их без этого выпустили. Сначала был такой шаг, но потом, когда все стали сопротивляться, стали выпускать просто так.

Ю. Г. Ведь это бросает тень на всю перестройку?

Б. О. Тень не только это бросает. Много чего другого. Ну что же, это все издержки производства.

Ю. Г. Конец шестидесятых годов – ведь это было потрясающее время, не так ли?

Б. О. Да. Вот сейчас начали поносить шестидесятников. Конечно, шестидесятники не были революционерами, бомб не бросали и на баррикады не выходили. Они просто тихо шушукались, но это шушуканье распространилось в обществе. И они собирались этот режим немножко очеловечить вместо того, чтобы его разрушить. Я думаю, что теперь восьмидесятники пусть разрушают. Зачем же ругать шестидесятников?

Ю. Г. А как Вы смотрите на западный мир? Наверное, Вы любите американцев. Но они же не всё способны понять?

Б. О. А кто способен все понимать? Я смотрю на них как на нормальных людей, цивилизованных, со своими недостатками. У них есть достоинства, которые мне очень симпатичны.

Ю. Г. Какие, например?

Б. О. Очень много чего. Здоровье, стабильность. Умение работать. Доброжелательность. А что еще может быть? Мы не умеем ни работать, ни уважать друг друга, понимаете?

Ю. Г. После того как повидал Ленинград и Москву, я настроен очень скептически. И перестройка здесь – не настоящая. По-русски есть такое выражение: он «ссучился». Я бы назвал перестройку – ненастоящей, «ссученной».

Б. О. Конечно. Горбачев сначала увидел, что мы катимся в тарарары. Значит, надо что-то сделать. Надо немножко с Западом подружиться. А для этого надо немного смягчить. Он хотел, чтобы у нас был хороший капиталистический уровень жизни под руководством коммунистической партии, под его руководством. Известно, что это невозможно, и он в отчаянии и потому злится. Этап сейчас очень трудный. Но в принципе это колесо крутится и остановиться не может. Вспять повернуть нельзя.

Ю. Г. А в прессе можно навести порядок? Могут они?

Б. О. Вот этого я не знаю. Можно, наверное, просто запретить, но они не пойдут на это. Это скандал. Очень связано с Западом. От Запада зависит. Единственная надежда.

Ю. Г. Когда Вы, Булат, оглядываетесь на жизнь, что Вы думаете, как она сложилась?

Б. О. У меня? Я вообще счастливый человек. Несмотря ни на что, моя жизнь была интересной. Я делал то, что я хотел. Что мог, я совершил. Самое лучшее мне еще предстоит совершить.

Ю. Г. Я вижу, нам пора заканчивать нашу интересную беседу. Марина и я, мы исключительно Вам благодарны за эти два часа разговора.

Б. О. Так это же самое главное – общение.

Юрий Глазов

ТАК ГДЕ ЖЕ МЫ ОШИБЛИСЬ?

Из рецензии на книгу Владимира Буковского
«МОСКОВСКИЙ ПРОЦЕСС»,
«НОВЫЙ МИР», № 1, 1998

<...> Буковский – примечательная личность в российской действительности второй половины нашего века. В когорте знаменитых русских, включающей генерала и академика, писателя и поэта, священника и правоведа, барда и музыканта, артиста и танцора, Буковскому отведено почетное место – место мужественного, безупречно честного общественного деятеля и мыслителя. Рецензируемая книга завершает целую серию публикаций, из которых особенно хотелось бы выделить «И возвращается ветер...» – шедевр мемуаристики, вышедший на многих языках мира в конце 70-х годов и неоднократно с тех пор переиздаваемый.

<...> Буковский занимает предельно четкую позицию: будучи непримиримым противником «перестройки» Горбачева, он отказывается видеть в ней что-нибудь положительное... Перестройка задумана и реализована, по мысли Буковского, партийно-гэбистским аппаратом с дьявольски изощренной целью спасения воротил коммунистического режима и предотвращения нависшего над ними нового Нюрнбергского процесса. «Античеловеческая утопия рухнула, но на ее развалинах не торжествует ни свобода духа, ни благородство мысли... Для России же это обернулось пошлой трагикомедией, в которой бывшие партийные боссы средней руки да генералы КГБ играют роли главных демократов и спасителей страны от коммунизма. На сцену вылезло все самое уродливое, гнилое, подлое, до поры прятавшееся по щелям коммунистического острога и выжившее благодаря полной атрофии совести».

<...> «Так где же мы ошиблись?» – вопрошает автор. Вариант этого вопроса: почему мы не победили? Всей своей книгой Буковский по-своему отвечает на эти мучительные вопросы.

<...> Но, быть может, дождемся мы все-таки того дня, когда в родном нашем городе ему будет вручена высокая награда за мужество и заслуги перед отчизной.

Алла Калмыкова

«... Я ЖИВУ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

*От редакции журнала
«Истина и жизнь», №5, 1998*

<...> Впервые появившись в России в 1990 г. после многолетнего перерыва, Юрий стал нашим другом. Его приезду всегда радовались, его щедрости дивились, его полные юмора и острой наблюдательности рассказы слушали в захлеб. И всегда рядом с Юрой была Марина – верная его спутница, делившая с ним беды, мать его чудесных детей, с негодованием отвергшая совет развестись с неблагонадежным мужем, оставившая родину во имя любви и верности...

<...>

«Но я предупреждаю вас, / Что я живу в последний раз...». Эти строки Анны Ахматовой – напоминание и укор нам, беспечным. Чтобы спешили отдать человеку любовь и добро, пока он здесь, на земле. Юра – спешил. Он спешил повидаться с теми, кто остался верен давней дружбе. Спешил накормить нас чем-нибудь вкусным. Сунуть тайком деньги, отдать свою одежду. Спешил поделиться опытом своей жизни в книгах, которые наконец начали путь к российскому читателю – пока публикациями в «Новом мире» и «Звезде».

«Он умирал красиво», – сказала Марина. По-другому и случиться не могло. Он был красивым человеком и жил красиво, высоко, дай Бог каждому. А потому – не может Юра исчезнуть, уйти навсегда. Он весь отсюда, он – наш, с нами. У Бога мертвых нет.

V. СЛОВО ЛЮБВИ

ЗОЛОТАЯ НИТЬ

*Беседа журналиста Аллы Калмыковой с Мариной Глазовой
о жизни и смерти Юры Глазова**

*Иные берега. Иной прибой.
И связано все нитью золотой.*

М. Глазова

А. К. Имя Юрия Глазова стало известно российскому читателю по журнальным публикациям последнего десятилетия. В 1998 году в Москве вышла в свет его книга «В краю отцов», ставшая заметным явлением в отечественной публицистике, мемуаристике, истории диссидентского движения. Впрочем, найдется немало людей, которые зададут вопрос: а нужно ли это? Не секрет, что сейчас бытует пренебрежительное, а порой и циничное отношение к поколению шестидесятников и, в частности, к диссидентам. Так нужно ли ворошить прошлое, переиздавать книги, написанные в то время? Какое отношение они имеют к нашему времени, к сегодняшней России?

М. Г. Я не слышала, чтобы Юра когда-нибудь сформулировал, ради чего он пишет свои книги. Он любил цитировать: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», – и считал своим долгом писать независимо от того, есть у него аудитория или нет. А

* Впервые напечатано в книге Юрия Глазова «Тесные врата» (Возрождение русской интеллигенции). Санкт-Петербург, 2001. Издательство журнала «Звезда», с. 357–381. – *Прим. сост.*

как воспримут написанное – это относится, скорее, к характеристике общества, его состояния. Имеющий уши да слышит. Надо еще посмотреть, что за времена наступают. А летопись мужества всегда нужна, так мне кажется.

Уже в эмиграции Юз Алешковский в шутку называл Юру «Пимен-летописец». Это было, действительно, Юрино свойство: он всю жизнь вел дневники. Накопилось множество тетрадей, в которые я после его смерти еще не решилась заглянуть. Он каждый день записывал события, свои мысли по их поводу.

Книга «Тесные врата», например, – не столько летопись, сколько зеркало нравственного, морального прозрения в обществе, пусть лишь в какой-то части его.

История появления книги такова. Когда в 1968 году Юру уволили из академического института за «непригодность», а на самом деле – за участие в правозащитной «подписантской кампании», он шутил, что ему высвободили время, чтобы засесть за книгу, и он должен быть за это благодарен. Готовую рукопись он дал почитать Андрею Дмитриевичу Сахарову. Прошло некоторое время, для нас очень трудное, и Андрей Дмитриевич приехал навестить Юру, только что выписавшегося из больницы. Вечером я пошла проводить Андрея Дмитриевича до остановки, и он мне сказал: «Марина, Юра написал очень умную и очень добрую книгу. Она оказалась для меня исключительно важной. Еще раз передайте спасибо ему». Я почувствовала тогда какую-то надежду. Это помогло мне держаться во время Юриной затяжной болезни.

Книга была издана на Западе в 1973 году, там ее читали, а сюда, в Россию, она практически не попала. В позапрошлом году, когда в Санкт-Петербурге, в редакции журнала «Звезда», проходила конференция, посвященная Иосифу Бродскому, меня познакомили с Соломоном Волковым, и он мне сказал: «А ведь «Тесные врата» – моя любимая книга!» И сейчас, я думаю, найдутся люди, которые ее прочтут и, возможно, оценят. Яков Гордин, главный редактор журнала «Звезда», согласился со мной, что ее необходимо издать в России. Так эта книга и была напечатана в 2001 году в издательстве журнала «Звезда» в Санкт-Петербурге.

А. К. Когда мы только познакомились в 1992 году, Юра мне дал «Тесные врата», и я их прочитала за одну ночь, не отрываясь. Теперь, зная многие его статьи и книгу «В краю отцов», я могу сказать, что всякий раз меня удивляет предельная честность их автора в оценке событий и людей – без тени лицеприятия, без попытки как-то приукрасить себя. По отношению к себе Юра, если можно так сказать, непозволительно честен. А то, что мы обычно считаем «мусором» времени, он фиксирует с дотошностью ученого. Написанный Юрой портрет интеллигенции 60-х–70-х годов заставляет сегодня призадуматься, особенно когда нынешняя «интеллектуальная элита» все свои упования начинает возлагать на ту самую силу, которая еще три десятка лет назад давила всякое инакомыслие. Мне бы хотелось поговорить о Юре как о проникательном наблюдателе, свидетеле времени, находившемся в самой его гуще, будь то в России или в эмиграции.

М. Г. В книге действительно дан нестандартный анализ общества, где есть и трагедия, и горький юмор, и надежда на будущее. Следующие книги, написанные уже в эмиграции на английском языке, были продолжением «Тесных врат». Я должна сказать, что и к самому Юре, и к тому, что он писал, отношение было всегда очень разное – до полной противоположности. Многим он казался слишком необычным и непредсказуемым. Например, в одной из глав книги «Russian Mind since Stalin's death» («Русский менталитет после смерти Сталина») он показывает, что советское общество построено по законам воровской шайки: с лагерной, уголовной психологией, с разделением на воров, сук и т.д. Юра говорил об этом в 60-е годы, написал книгу в 70-е, и в то время многим было трудно принять такую «низменную» трактовку. А теперь мы можем убедиться, насколько он был прав, хотя, конечно, не он один говорил об этом.

В книге «To be or not to be in the Party» («Быть или не быть в партии»), которая писалась на Западе в 70-е годы и вышла в 80-е, он предвидел, например, что придет время, когда членам партии порекомендуют пойти в церковь и стоять перед иконами со свечами, и они будут это делать. Над этими «пророчествами» Юры тоже можно было посмеяться как над чудачеством и чепухой...

А. К. Ну, а теперь у нас даже термин появился для таких функционеров: «подсвечники».

М. Г. Хотя бы по этому одному можно судить, нужны такие книги или нет.

А. К. У Фазиля Искандера в романе «Сандро из Чегема» есть замечательное выражение: «время, в котором стоим». Юрина способность видеть время, в котором «стояло» советское общество (эпоху застоя, как теперь говорят), и предвидеть будущее (в котором мы тоже явно застоялись) – это редкое свойство, какой-то удивительный контакт со временем.

М. Г. Юра очень любил «Сандро из Чегема», изучал роман с канадскими студентами и, думаю, отметил для себя эту фразу. У него в самом деле было удивительное чувство времени, но я не всегда понимала это. Особенно четко я это увидела, когда ему объявили страшный диагноз – рак печени и желудка в последней стадии. Юра сразу везде расставил часы, даже купил дополнительные – со светящимся в темноте циферблатом. Он все рассчитал: если будет уже лежать неподвижно, то должны быть видны часы в одном углу, если повернется на бок – значит, и в другом углу они должны стоять. Потом он лег так, чтобы смотреть на деревья в окне, – и опять в поле зрения попадали часы. Что это было? Какой у умирающего человека идет отсчет времени?

А. К. Может быть, так он напоминал себе, что времени осталось не много и нужно прожить его с максимальной наполненностью?

М. Г. Да, правильно. Как только Юра узнал свой диагноз, он очень продуманно, тщательно начал готовиться к смерти. Обеспокоился, что не готов. Ведь годами он полушутя мучил друзей и знакомых вопросом, какими окажутся у них три желания, если внезапно они узнают, что это последний день их жизни, а джинн, выскочив из бутылки, пообещает их желания исполнить. Сам Юра на этот вопрос так отвечал. Первое, чтобы его, отмыв и отчистив как следует, взяли в Царство Небесное. Второе – чтобы родные не слишком уж долго по нему убивались, а, погоревав, вернулись к радости жизни. Тре-

тье – чтобы, когда придет их час, они соединились с ним в Царстве Небесном. И вдруг этот час грянул для него самого, и полущутливый вопрос попал в самую точку. Юра, конечно, свой смертный час хотел знать. В ту ночь – 15 марта 1998 года, когда он сказал: «Я умираю», он тут же спросил: «Какой сегодня день? Какое число? Который час?».

Он вообще замечательно знал историческую хронологию. Нас с Леночкой, дочерью Юры от первого брака, экзаменовал и подтрунивал, что мы ничего не помним, даже в веках путаемся. А он помнил не только историю, русскую и мировую, так что мог бы с ходу сдать экзамен, но и всю свою жизнь с очень раннего возраста – не просто по годам и месяцам, а вплоть до дня и часа. Ну, есть Фунес с его чудом памяти у Борхеса. Теперь я думаю, что Юра обращал внимание на свойства времени, которые для многих казались неважными, а он их видел очень четко.

А. К. Время нам дано как мера протекающей жизни – потом, по Иоанну Богослову, «времени уже не будет». А ведь Юра очень любил жизнь, и, очевидно, столь пристальное всматривание в нее было ему необходимо, чтобы не дать ей утечь бесследно.

М. Г. После Юриной смерти именно об этом я думала постоянно. Юз Алешковский заметил: «Вот Глазов – все успел!» А Юра ведь не знал, что так внезапно умрет, но торопился сделать как можно больше. Это было серьезнейшее отношение к жизни, с обостренным чувством ответственности. Перед кем?

Трудно говорить о вере, не поминая Господа Бога всуе. Тот же Юз, приехавший с женой Ирочкой меня навестить, сказал: «Глазов был гений веры и доброты. Царство ему Небесное». Юра действительно, без тени лицемерия, раз и навсегда выбрал для себя «Небесный Ориентир» и Ему служил. «Да будет воля Твоя!» – это были для него продуманные и сердцем принятые слова. И теперь мне кажется, он их чувствовал так же обостренно, как чувствовал время.

И вот этот серьезный, взрослый человек уживался в нем с ребенком, для которого времени нет, а если и есть, то райское, вечное. Эти две противоположности странным образом в нем сочетались. С одной стороны, человек глубоко серьезный – и из-за этого

печальный. Он видел трагизм жизни, чувствовал чужую боль, очень сильно из-за этого страдал. С другой стороны, в нем была удивительная легкость, даже беспечность.

В день, когда мы впервые встретились – это было 15 апреля 1959 года в Исторической библиотеке, – он меня так поразил, что в конце разговора я, как по наитию, ему сказала: «Вы будете моим мужем». Я была поражена не только его физической красотой, но увидела в его глазах такую непритворную боль за мир, какой никогда ни у кого не встречала. Он в первую же встречу передо мной абсолютно раскрылся. А разговоры такие были тогда чрезвычайно опасны. Ну что можно сказать о словах, высказанных мне в этом первом с ним разговоре: «Ленин – один из величайших преступников всех времен и народов!»? Конечно, здесь была и беспечность, из-за которой он так быстро доверился интуитивному чувству близости к незнакомому человеку. Но это была его жизнь.

Осенью того же 1959 года Юру уже вызвали на Лубянку. За прошедшее время он успел поделиться своими мыслями о Ленине и с американским славистом Бертом Рубиным во время своей ленинградской командировки. На Лубянке Юре предоставили фотографии дневниковых записей Берта, сделанных с разрешения Юры, о его встрече с Юрой и их разговорах. Пытались завербовать. Не удалось. За первым вызовом на Лубянку последовал очередной. («В краю отцов», сс. 30-40). Снова пытались завербовать. Снова не удалось.

Невероятная Юрина чистота, наивность поражали людей, но и порождали порой подозрения, клевету, насмешки. Сам Юра любил восточную притчу: когда в деревне безносых появился нормальный человек, его подняли на смех. Ведь если у самих людей такого же качества нет, им это кажется смешным или пугающим. О Юре говорили страшные вещи: например, что он был провокатор, стукач.* Он тяжело это переживал.

Он был настолько ребенок, что думал вслух. Люди считали, что такого не бывает в природе, что он притворяется, в доверие хочет войти,

* Г. А. Лесскис упоминает в своей статье: «Порой мы не доверяли людям без всяких на том оснований (как это промелькнуло в отношении Юры Глазова)». В книге: Ю. М. Лотман. Тартуско-московская семиотическая школа. – Москва, Гнозис, 1994, с. 316. – Прим М. Г.

а это была честность, непривычная для многих искренность. Поэтому и наши дети его так любили, обожали смотреть с ним кино: он будет или хохотать вместе с ними, или – если фильм горький – плакать.

Для ребенка естественно игровое начало, ребенок – актер, клоун, шут. При глубокой серьезности Юра был не просто веселый, он был очень радостный человек. Шутник, тамада в любом застолье. Если он за столом, то обязательно будут веселье, смех, анекдоты. Всю жизнь он анекдоты собирал – и раздавал: любил их рассказывать друзьям, соседям, даже продавцам в магазинах. Этим трудно было не восхищаться. Его друг Боря Шрагин так и обращался к нему: «Глазов, праздник моей души!».

А. К. Людям смутных времен труднее всего дается апостольский завет: «всему радуйтесь». Мы угрюмы и унываем от любого пустяка. Но как эта радость уживалась с рыцарским подвижничеством?

М. Г. Юру действительно называли – кто насмешливо, кто с восхищением – Дон Кихотом, Рыцарем Печального Образа. Он все время воевал за правду, за справедливость. Объявил в Канаде голодовку в знак протеста против преследований Андрея Дмитриевича Сахарова... А я была его Санчо Пансой – удерживала все время от решительных поступков. (Он говорил, что я вечно отстаю от него на десять шагов.) Письма подписывать – страшно. На площадь выходить – страшно. Встречаться с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и записывать все с ним разговоры – страшно. Выгонят с работы, посадят, засунут в психушку, убьют. И действительно выгнали – с волчьим билетом, что вело к посадке по закону о тунеядстве. И действительно начали готовить процесс: торговля иностранной валютой и наркотиками. И действительно в больницу попал, а там и до психушки недалеко. Но вот и убили. Правда – не Юру, а Костю Богатырева, состоявшего в тесной дружбе с Андреем Дмитриевичем. Вечером 26 апреля 1976 года Лена Суриц, жена Кости, обнаружила его – в луже крови, с проломленным черепом, – на пороге их московской квартиры, когда чуть ли не в тот самый вечер Костя – после встречи с Андреем Дмитриевичем – возвращался домой. Ну, так и тряслась я все время, и боялась за Юру, но в итоге все равно присоединялась к нему, стараясь

преодолевать свой страх. Участвовала в подписантской кампании. Печатала самиздатскую литературу. Распечатала только что написанный трактат «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» Андрея Дмитриевича, книгу Валентина Турчина «Инерция страха» и многое другое.

Так и было всегда – до момента, когда обрушился на нас этот диагноз. И уже нельзя мне было сидеть и рыдать. Я замерла.

Юра задолго до этого написал о себе, что «преклонялся перед теми, кто умел с достоинством и даже с шуткой встретить свой смертный час» («В краю отцов»).

И вот, узнав о диагнозе, я Юру спросила: «А теперь на сколько шагов мне отстать от тебя?» Он ответил: «Теперь отставай как можно больше, а лучше – остановись».

А. К. Как просто! И как жаль, что прошло время таких вот «простецов» – людей типа св. Франциска или св. Серафима Саровского, которых Юра так любил. Ему не раз приходилось разочаровываться в людях, но это не породило в нем никакого цинизма.

М. Г. Цинизма и правда не было. Но в то же время, простак-то простак, а людей довольно четко читал, иногда неожиданно даже. Был терпелив, сколько возможно, но была у него и тяжелая черта – вспыльчивость. На что он мог разгневаться? На изворотливость, на хитроумную лживость, на высказывание несправедливое. С одной стороны, – дар дружбы (друзей было много, он их обожал), с другой, – ссоры, порой очень тяжелые. Как это все совместить?

Я думаю, это было заложено в детстве. Он рос фактически сам по себе, без отца, погибшего в предвоенные годы репрессий, и, конечно, искал того, кого он мог полюбить беззаветно и кто мог бы принять его самого и его трудный путь с такой же беззаветной любовью. Поэтому, когда видел, что люди не понимают его, не принимают всерьез, он чувствовал глубокую боль. А ведь он считал, совершенно искренне, смыслом жизни – положить душу за други своя. И в то же самое время все наши ссоры бывали только из-за людей: я полагала, что нужно перетерпеть, простить, промолчать. (А сейчас часто думаю: как же, оказывается, прав-то он был!)

Особенно проверились люди после Юриной смерти. Те, кто когда-то уверял меня в дружеских чувствах, – где же они? Даже строчки от них не получила. А ведь я с ним из-за этих людей столько спорила, когда он начал писать «В краю отцов», умоляла избегать резкостей! И он по моей просьбе какие-то вещи убрал. А это была правда. Он считал, что обязан сказать эту правду о времени и о людях и что у человека должно быть чувство высокой ответственности перед истиной. Вот он правду-матку и резал. Мне это часто казалось ненужным, а ему это было необходимо так же, как точно знать время перед своим смертным часом.

А. К. Значит, и обиды на него были и есть, и имя его как бы пропало из истории диссидентского движения. Вряд ли это случайность, что не попал Юра в «анналы».

М. Г. Не с ним одним такое произошло. Многих людей, стоявших у истоков движения, редко кто теперь вспоминает.

Над Юрой часто смеялись: «Дон Кихот, Дон Кихот...» Дон Кихот – тот с ветряными мельницами боролся. А такие, как Юра, боролись с настоящим злом. Юра был уникальный (может, это и нескромно звучит, но так оно и есть), и те, с кем он дружил и вместе с кем боролся против системы, тоже уникальны – а их сейчас хотят принизить и забыть. Смеяться над их наивностью, обмусоливать их недостатки – проще простого, только это не делает чести тем, кто прикрывает иронией позицию стороннего наблюдателя. Вот они, эти Дон Кихоты, и не попадают в «анналы». Конечно, есть такие титаны, чьи имена не сотрешь.

Но в случае с Юрой, мне кажется, была и другая причина, по которой его часто вычеркивали из истории правозащитного движения. Ведь слух, что Юра провокатор, агент КГБ (об этом можно прочитать в книге «В краю отцов», но не только там), заново вспыхнул, когда мы оказались на Западе. Особенно обострилась ситуация в Бостоне в связи с выступлениями Юры в защиту Андрея Дмитриевича Сахарова. Началась новая травля со стороны части эмигрантов и американских славистов. Кем она была инспирирована? Вот бы еще и другие архивные материалы открыть – помимо тех, что стали

нам известны в 90-е годы. В «анналы» Андропова – вот куда Юрочку попасть угораздило и где ему готовили «терроризм и шпионаж». Не напрасно я, выходит, так в свое время тревожилась. Достаточно посмотреть письмо Андропова в ЦК КПСС от 1971 года по поводу «враждебных убеждений» Юры (см. выше с. 116). Письмо хранилось в деле Андрея Дмитриевича Сахарова. Теперь мы этот документ с разрешения Е. Г. Боннэр напечатали, и правда вышла на свет. А тогда, в 60-е годы, невозможно было опровергнуть слухи, намеренно распространяемые также самими органами и их действительными стукачами, что Юра агент КГБ. Кстати, Юра не был на этот счет исключением. Немало достойных людей было подобным же образом оклеветано. Подобная «профилактика» диссидента нередко оставляла вокруг него выжженное поле. Общество все еще было поражено страшной манией стукачества, настоящей пандемией страха, о которой неоднократно говорил Вячеслав Всеволодович Иванов, и в нашем случае только близкие друзья знали, что Юра никак не мог быть ни провокатором, ни агентом, ни стукачом. А сам он не хотел оправдываться: с головой уходил в работу.

До сих пор лежат неопубликованными многие его вещи. Например, мемуарная книга «На чужой сторонке», описывающая годы эмиграции, или работа, написанная по-английски, о Степане Разине. Его литературоведческие исследования – материалы к монографии о Достоевском: «Смех у Достоевского», «Пространство у Достоевского», «Руки у Достоевского»; работа о «Пиковой даме» Пушкина и еще много всего.

У Юры было свое видение текста «Пиковой дамы»: он допускал возможность нескольких его трактовок. Повесть (а на самом деле – мини-роман, многогранный алмаз, как говорил Юра) написана так, что можно видеть в Лизе жертву, а в Германне негодяя – так ее обычно и читают. А что, если предположить, что в жертву приносится Германн, а «бедная» Лиза – карта в игре великосветской компании аферистов, вытряхивающих из Германна деньги? По мнению Юры, Пушкин дает в «Пиковой даме» архетип обмана и самообмана. Модель, отработывавшаяся веками, действует и сейчас, и не только на улицах: заманить жертву – спровоцировать

на игру – дать ей изрядно выиграть – до нитки ее обобрать. При таком прочтении Лиза – двойник старой графини, молодая «Пиковая дама». Юра нашел в пушкинском тексте множество подтверждений этой версии.

А. К. Не будучи человеком «игровым» по природе, с такой точки зрения «Пиковую даму» ни за что не прочтешь. Боюсь только, пушкинисты попадают в обморок. Удивительно вот что: как это Юра столько успел «играючи»?

М. Г. Видимо, его природа была такова: он был трудяга, человек долга с каким-то особым даром глубины и красоты мысли и в то же время, как я уже упомянула, играющий ребенок. «Первое апреля» у меня было 365 дней в году – все тридцать девять лет, что мы вместе прожили с Юрой. Он был жаворонок, я – сова. И каждое утро я просыпалась и знала, что меня сейчас разыграют. А Юра за это время в церкви уже побывал, побегал в парке у моря и накормил своих чаек, съездил в магазин за продуктами, прочитал газеты в Интернете, сбегал в библиотеку и крутится у моей двери, ждет не дождется, когда я проснусь. Но мой сон бережет, ходит на цыпочках, чтобы не разбудить. Я же знаю, конечно, что выйду – тут же и попадусь. Он меня так или иначе разыграет, и я ему поверю во всем. Выходя из комнаты, я, смеясь, уже ему сообщаю: «Иду под обстрел». И он хохотать начинает. И, конечно, испытывает особенное удовольствие, счастье, если ему удастся меня разыграть, – как дитя.

А. К. Все это так, но ведь дитя-то очень ранимое.

М. Г. Очень! Но и к чужой беде был не менее чуток! Скольких он защищал и опять получал потом обвинения, что он агент КГБ, что у него «книжка» есть, раз у него все это получается и он не боится за людей заступаться. Вот такой, например, случай. В подъезде нашего московского дома поселилась шпана, уголовники, и все их боялись. Страшно было поздно ходить. А Юра к ним решил пойти; поговорил – и они его послушали, никогда соседей и нас больше не беспокоили.

С любым человеком он мог разговаривать: с кем-нибудь из «тузов», со старушкой на улице, с малым ребенком. Многие его очень любили, других он раздражал.

Кто они, эти последние? Самоупоенные люди, играющие в кумиры, в «авторитеты». Жрецы и жрицы, которым надо смотреть в рот, – а он был независимый, на дух не выносивший идолопоклонства. И не только независимый, но с какой-то непосредственной совестливостью. Искал это в других. Увлекался людьми. Ценил в них умение добиться успеха, но не мог к ним пойти в послушание.

Юра всегда и сам надеялся на успех, но не было в нем ни грамма тупой, надменной гордыни. Он знал, что борется за вещи серьезные, без которых ему жить невозможно. Это была кенотическая личность: жертвенно себя отдававшая. А такое связано с огромной внутренней силой, с благородством души.

Поэтому он совершенно не мог выносить, когда «авторитетные» люди ради самосохранения выстраивали теории, лживые по самой своей сути, оправдывали разными хитроумными измышлениями свою позицию «над схваткой», свою настоящую трусость. Тут скандал неминуемо был обеспечен. Я пыталась его урезонить, что правда – дело жестокое, что нужно смириться, смолчать, что сказать человеку правду в глаза – все равно что обнажить его. А Юра в ответ шутливо ссылался на Мандельштама: «Осип Эмильевич говорил: скандал – дело законное!» – и порой, уже не шутя, впадал в очень сильное раздражение. Никогда он не толкал человека на жертву, но полагал, что в пределах возможного нужно отстаивать и говорить правду. Среди тех, с кем Юра ссорился, у него была репутация скандалиста. В то же самое время, я думаю, люди часто чувствовали, что он попал в точку. Хотя, конечно, были ошибки. Теперь мне кажется, их было меньше, чем казалось тогда, когда я с ним спорила, но ошибки были. Перед смертью он мучился и сожалел о своих ссорах с людьми, о том, что нехорошо написал в своих воспоминаниях о тех, кто его обижал.

А. К. А он был ироничен, не героизировал себя нисколько!

М. Г. Разве что капельку! Чаще он говорил: «Ну кто я такой? Никто». Он любил вспоминать гомеровскую «Одиссею», то место, где герой на

вопрос Полифема отвечает: «Имя мое – Никто». (Потом, когда Полифема спрашивали, кто его лишил глаза, он отвечал: «Никто». Правда, Гомер описывает ловкую проделку Одиссея, а Юре трюкачество было чуждо, хотя себя и своих друзей он порой с юмором действительно называл Одиссеями, сравнивая советский режим с Полифемом.) У него было очень необычное, заразительное чувство юмора и самоиронии.

А. К. Помню, он повторял: «Я человек культурный, полуинтеллигентный...»

М. Г. Да, это он Зощенко цитировал. И так умел подшутить над собой! А вместе с тем – серьезность и мудрость взрослого человека, видевшего многое насквозь. Он часто знал наперед, от кого к нему придет боль и даже в каких обстоятельствах.

А. К. И не уклонялся от таких людей?

М. Г. Долго терпел, мучился и только потом мог или взорваться, или совсем отойти. Когда мы уезжали из России, друзья приходили с нами попрощаться. Пришли и Гриша Померанц с Зиной Миркиной. Зина сказала: «Юра, ты очень хороший человек, в тебе все добродетели есть, кроме одной. Нет в тебе кротости». Ему больно было это услышать, но он знал, что действительно вспыльчив. Страдал от этого, старался с этим своим недостатком бороться. А как только поставили ему этот страшный диагноз – вот она, кротость! Проявилась незамедлительно и во всей полноте.

Мы узнали, что он смертельно болен, в конце декабря 1997 года. Все случилось стремительно и жестоко. Семейный доктор не слушал его жалоб, ни разу не дотронулся до его живота, не счел нужным направить к специалисту на обследование. А нам Юра особо не жаловался, боялся показать, что у него боли сильные. Потом мы поехали к Леночке, на другой конец Канады, чтобы поставить диагноз, потому что я уже видела, что это рак, Юра сгорал у меня на глазах. Леночка показала отца своему другу, врачу-гастроэнтерологу, который в три дня поставил диагноз: рак желудка. Проверили печень – там уже метастазы. Юра спрашивает: «А что это означает?» Врач отвечает ему: «Это означает, что вам осталось жизни не больше года».

Гастроэнтеролог же сказал нам: «Не год, а самое большое – четыре месяца. Не вздумайте соглашаться на операцию и лечить – только замучаете. В таком состоянии ему нужны лишь покой и забота».

Мы вернулись домой, в Галифакс. Наш семейный доктор отсылает Юру к хирургу, говорит: «У нас хирург – чудотворец». Пришли мы в этот раковый корпус – я теперь, когда перечитываю Солженицына, совсем по-другому все это вижу. Ассистент разрисовал Юре всю схему операции: вот здесьотрежем, тудапришьем, и еще поживете. Пришел доктор Вер, светило галифакской хирургии. Юра – к нему: «Когда же операция?» А хирург – грубо так: «Какая вам еще операция, доктор Глазов? Вам осталось всего несколько недель. Посмотрите на себя: вы весь желтый. Вам не операция нужна, а завещание срочно составить. Вот идите и составляйте, а то потом ваша жена намыкается – это все очень дорого оформлять без завещания. И никакой операции – вы у меня под ножом умрете».

Вышли мы на улицу, стоим вдвоем. Юра мне говорит: «Что же это такое?» Светило-то очень злобно с ним говорил. Это было просто надругательство. А вокруг зима, машины, жизнь кипит, кто-то смеется. И Юра на меня вопросительно смотрит, ждет, что я скажу. Что я могла сказать? Я ему говорю: «Мой анализ такой: мир во зле лежит. А ты – человек не от мира сего. Ты сюда пришел, боролся с этим злом, как мог, сделал все, что мог, над тобой смеялись, тебя отовсюду вышибали за правду, клеветали, что ты провокатор... (Это в России. А приехали в Америку – сколько мы и там нахлебались! Удостоились заполучить впридачу к агенту КГБ еще и агента ЦРУ! Для полной уже «профилактики Глазова»?) Будем бороться духом! Твое любимейшее место во всей мировой литературе – Нагорная проповедь. Ты по ней жил, ты научился исполнять каждую заповедь. Хватит над тобой надругательств! Лети в свой свет, в свое небо – на крыльях своих! Лети!»

А. К. Так прямо и сказала – там, на улице? Ведь это Бог тебе внушил такие слова.

М. Г. Да?.. А что я еще могла? Только и осталось сказать: «Лети из этого мира! Улетай! Я отставала на десять шагов от тебя, на десять твоих взмахов. Я на время останусь. Что ты скажешь, все постара-

юсь успеть сделать. Посмотри, как это «светило» тебя сейчас к кресту приколачивало! Что тебе еще? Лети в свой свет – ведь ты ангел небесный! Ты помнишь, что о тебе сказал сын Вячеслава Иванова?...»

А. К. А вы были знакомы?

М. Г. Это было в Италии в 1972 году, когда нам пришлось уехать из России. Мы встретились там с детьми Вячеслава Иванова, Дмитрием и Лидией (потом мы подружились). Как только мы вошли, Дмитрий Вячеславович взглянул на Юру, ответ меня в сторону и говорит: «Вы знаете, кто ваш муж? – «Кто?» – «Ангел. У него за спиной могучие крылья белые. Это же красота неземная...»

Может быть, нехорошо такие вещи повторять. Действительно, «у смерти очертаний нет». Но слова для любимого человека надо найти. «И только верой в воскресенье какой-то указатель дан». Я старалась этот указатель искать и в отчаянии вспомнила вдруг, что мне сказал Дмитрий Вячеславович, впервые увидевший Юру. И на улице я тогда Юре сказала: «Лети в свет, в мир, в добро! Ты любишь своего Боженьку (а он действительно Его любил искренне, вера была им выстрадана) – лети к Нему, Он тебя забирает...»

Юра посмотрел на меня, помолчал и ответил: «Я не заслуживаю этих слов, но спасибо тебе». А я стою рядом с ним и думаю: вот они – твои «Тесные врата»!

Пришли мы домой – никакой истерики. И он, и я постарались сделать все очень сдержанно, но в душе-то я отпустить его не могла. Это подруга моя из хосписа Элинора в последние дни Юриной жизни начала мне внушать: «Ты должна его отпустить и, главное, непременно ему об этом сказать». А я изнемогаю от ужаса, что его от меня забирают. Как же я могу сказать, что его отпускаю? «Ты обязана. Любящим людям очень трудно уходить, они не могут оставить любимых».

И я села около него, он открыл глаза – красивые-красивые, глубокие, там так все умно, я так знаю это все, но так все обострено, такая бездна всепонимания – и такая для него мука страшнейшая, что он нас оставляет без своей заботы. Он был защита, охрана, кормилец, заботник, воин, который стоит на страже. Я собрала все свои силы. «Юрочка, – говорю, – ангел ты мой небесный, крылыш-

ки твои ангельские...» А он улыбается горестно так: «Ну что ты все со своими этими крылышками!»

Я говорю: «Лети в свой свет! Я тебя отпускаю! Лети туда, к своему Любимому...»

И он на меня посмотрел долго, внимательно, а потом опять сказал: «Спасибо тебе!»

Это я единственный раз в жизни против воли сказала неправду – ради него, а сама-то не могла его отпустить.

А. К. А что же сейчас?

М. Г. А сейчас так, как сказал поэт:

Если выпало в империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции у моря...

Вот так теперь и живу. Иосиф Бродский, давая мне свою критику на мои стихи, как-то сказал: «А вообще, Марина, Вы меня не слушайте! Я не Бог! У Вас в стихах необычное чувство свободы! Над формой надо работать, но не теряйте его, этого чувства!». И сейчас, когда я думаю о прошлом, меня эти слова согревают. Ну! Свободы я теперь получила сполна! Хоть отбавляй! А вот вера! И до горчичного-то зернышка вера моя все еще не дотягивает!

Юра надо мною подтрунивал, когда я начинала жаловаться, бояться, потому что я трусиха безумная и всего боюсь: «Эх, Маня, Маня, слаба твоя вера...»

В январе со всей своей научной серьезностью Юра составил программу своих последних месяцев: что осталось сделать, какую литературу читать. Юз Алешковский звонит, хочет его разговаривать: «Леша Лосев читает Петрушевскую, хвалит. Глазов, ты читал Петрушевскую? Что ты там читаешь сейчас?» – «Псалмы. Юз, я же умираю». – «Прости, ты меня поймал... Один ноль в твою пользу».

Юра был лингвист, структуралист, семиотик. И, узнав свой диагноз, составил себе «матрицу прощания с жизнью»:

продумал и просчитал, как и где мне жить без него; как и кому по мере сил помогать;

записал, с кем проститься здесь – с кем увидеться там;
взял с нас слово, что мы не будем пытаться искусственно прод-
левать его жизнь: подключать к аппаратам, реанимировать;
попросил, если можно, дать ему умереть в своей постели;
обзвонил все похоронные бюро, нашел поскромнее, заказал все
необходимое, включая свой собственный гроб;
договорился о месте захоронения в своем любимом траппист-
ском монастыре и о разрешении для меня быть похороненной ря-
дом с ним, когда придет и мой час;
договорился об отпевании, процедуре похорон, поминках и о
скромном памятнике.

**А. К. В моей голове не укладывается такая степень заботы о
близких и такое самообладание.**

М. Г. Это только то, что мы могли видеть. О его напряженной вну-
тренней работе и борениях можно только догадываться. Это знают
священники, с которыми он дружил и которые часто к нему прихо-
дили. А Юра продолжал читать псалмы, последние страницы Еван-
гелия, описания смерти библейских патриархов. Стал внимательно
перечитывать биографии своих любимых святых, исторических ге-
роев, писателей, философов, композиторов, художников – кто как
умирал, в каком возрасте. И совсем иначе мы вдруг ощутили, какие
короткие у них были жизни и как много из тех, кого мы любили, уже
давно на том берегу. В его списке – кого ему хотелось бы встретить –
были Пушкин и Достоевский. «А вдруг Александр Сергеевич удо-
стоит?» Юра начинал мечтать, как расскажет ему свою интерпре-
тацию «Пиковой дамы», – и загорался. К нему люди приходят, он
умирает – и радостно делится: а вдруг я угадал с «Пиковой дамой?»

И еще один список висел у него над кроватью, по которому он
каждый день в молитве всех поминал: святых, людей, которые его
любили и кого он любил, и тех, кто его не любил, он искренне мо-
лился и о них.

В феврале на Юрином календаре – на стене, прямо над его из-
головьем – была львица. А я на Юру смотрю: «Боже мой, какой же
могучий лев угодил в капкан!»

А. К. А может быть, это был лев из сказок Льюиса? Тот, что ляжет рядом с ягненком, как в Откровении Иоанна Богослова?

М. Г. Я не знаю, но в марте на календаре и в самом деле оказался ягненок. Вот она, смерть! Вот он – смерти урок! Умер Юра в воскресенье. А перед этим, во вторник, он говорил, что видит столп света, бьющий из потолка. Я, конечно, ничего не видела, спрашивала: «Что он делает, этот свет?» – «Выжигает всю мою гадость».

В пятницу я в первый раз увидела слезы, стекавшие у него по вискам на подушку. «Что ты плачешь?» – «Жалко». – «Кого?» – «Тебя. Как ты будешь одна?»

В этот день пришел к Юре архиепископ Хейз. Он уже на пенсии, но у него особое добровольное служение – он ходит к умирающим людям, помогает им достойно перейти в иной мир. Это поразительный священник: с раннего утра до позднего вечера он объезжает умирающих, над каждым сидит, как над малым ребенком, взяв за руку, гладит по голове, говорит что-то ласковое или просто молчит, молится. Архиепископ сел около Юры, взял его руку и стал гладить. А Юра через некоторое время медленно, с огромным трудом поднял свои худальные руки – в том направлении, где во вторник он видел свет – и сказал: «В руки Твои предаю дух мой». Отец Хейз был потрясен, говорил мне потом: «Моя главная задача – чтобы человек перед смертью смог произнести эти слова, а Юрий сам их сказал. Я приходил помочь Юрию умереть, а вышло, что он помогает мне жить».

В субботу Юра не смог уже проглотить таблетку морфия. Он все время что-то такое видел, стал повторять: «Вода, вода... Мама... Осип Эмильевич... Вода... вода...» Это не пить он просил, потому что мы ему клали в рот мелкие кусочки льда, это он видел что-то, недоступное нам. Моя подруга Элинора, медсестра из хосписа, приехала помочь мне. Она сказала, что надо протирать тело, чтобы не было пролежней, потому что неизвестно, сколько он так будет лежать. (До этого я помогала Юре дойти до ванной, положив его руки к себе на плечи. Он и в тяжелой болезни был невероятно чистоплотен и сохранял чувство собственного достоинства. Я его, исхудавшего, каждый день так вот носила на спине, и мне все время приходила на ум наша любимая «Пьета Ронданини» Микеландже-

ло, потрясающая слитность этих двух фигур, когда неизвестно, кто кого поддерживает.) И вот, когда мы повернули Юру, чтобы помазать его спину маслами, молодой священник, стоявший рядом, потрясенно воскликнул: «Jesus Christ!» Вся спина Юры была словно исполосована ударами бича, в кровавом поту. Но накануне ничего подобного не было! Элинора сказала: «Так бывает у умирающих».

В 2.30 ночи он проснулся: «Я умираю. Какой сегодня день? Какое число? Который час?» И потом произнес троекратно каждое слово из своей заветной троицы слов любви, покаяния и благодарения: «Люблю. Люблю. Люблю. Sorry. Sorry. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you». Аллочка, ты очень точно сказала об этих его словах в своем некрологе: «...как заклинание и заверенье, как последнее исповедание веры – слова, главнее которых нет ни на земле, ни на небе: «Люблю. Люблю. Люблю. Sorry. Sorry. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you». Любовь. Покаяние. Благодарение. Троекратно повторенные, словно засвидетельствованные печатью Отца и Сына и Святого Духа...».

Я боялась, что потеряю сознание, стала молиться: «Господи! Забери его в Свой свет, чтобы он не мучился... Подними его к Себе! Он заслужил это...»

Потом я отключилась – не знаю, заснула или забылась на полу возле его постели. Упала как в черную прорубь. И Гриша, наш сын, тоже заснул. Это, наверное, был наш гефсиманский сон. И еще – чтобы мы сумели перенести. Почему-то с шести утра стал звонить будильник – никто из нас его не заводил. Я отключала его, а он снова звонил. Юра спал и дышал ровно, а я опять куда-то проваливалась. В самом начале восьмого меня разбудила Элинора: у Юры остановилось дыхание. Я прижалась ухом к его губам и услышала два последних коротких выдоха. Один монах сказал мне потом, что это душа его отлетела. Остановились и Юрины наручные часы, лежавшие рядом на столике. И странное дело: всю ночь завывал страшный ветер, а в 7.11, когда Юра перестал дышать, все успокоилось, ушли облака, небо стало ясное-ясное, и появилось солнце. Как все это объяснить, я не знаю.

А. К. Наверное, так, как объяснила недавно в телепередаче Вера Васильевна Миллионщикова, главный врач Первого Московского хосписа: «Как человек жил, так он и умирает». И, чем осмысленней и чище жизнь, тем выше и прекрасней момент перехода.

М. Г. Да, смерть как бы снимает все покровы, и становится видно, каким на самом деле был человек. Мне теперь представляется, что Юра был не просто добрый (людей добрых, слава Богу, на свете много, а вот таких, кто готов осознанно на жертву пойти, таких единицы). Может, он и умер так рано, оттого что всего себя раздал людям.

А. К. Как раз наоборот: по статистике, эгоисты живут меньше, чем те, кто тратит себя ради других.

М. Г. Что-то не верится в это. Юра, физически очень сильный, носивший нас всех на руках в буквальном и в переносном смысле и побеждавший любого, когда мерился с ним силой руки, – вдруг узнал, что ему жить осталось считанные месяцы или недели. И так невероятно красиво, на такой высочайшей ноте он сумел встретить смерть, что до сих пор я не могу выйти из шока. У меня не проходит скорбь, а с другой стороны – ощущение невероятного счастья, что столько лет я прожила вместе с таким человеком. Что мне было такое подарено.

А. К. Мариночка, а как связаны вы сейчас? Чувствуешь ли ты, что что-то исходит оттуда, куда Юра ушел? Ведь трудно принять, что такой живой человек, который тебя всегда заслонял, вдруг исчез насовсем.

М. Г. Немыслимо трудно пережить момент, когда глаза человека еще смотрят, а жизни в них уже нет, – и до сих пор не отпускает меня эта картина. Меня ругают: «Что это ты в грех такой впала, так долго, уже два года, плачешь, ему мешаешь? Неправильно ты это делаешь...» А я всю жизнь все неправильно делаю... И теперь еще, оказывается, мешаю ему! Как это я ему мешаю? Ведь он такой могучий мужик! Если на земле я его тянула назад, то сейчас-то чем могу помешать? И Леночка тоже так рассудила: «Хватит себя ругать! Вы ему помогали

всю жизнь, а не мешали!» – «И правда, – говорю, – он пышет там паровозом, а потом и нас всех туда перетащит. Не могу я такому могучему человеку помешать – я его люблю, очень люблю, и он это знает».

Я только два раза видела его во сне умершим. Что происходит? Каждую Божью ночь, только я глаза закрываю, у меня ужасное ощущение, что я куда-то падаю, что-то страшное, безвыходное надвигается – и тут же он приходит живой, меня обнимает, целует и спасает. Все два года, каждую Божью ночь. А днем – обычно я на солнце смотрю и молюсь: «Да святится имя Твое!» (и всегда прибавляю: «и твое, Юрочка»), и прошу: «Дай мне, дай мне знак, что ты живой!» И вдруг однажды вокруг солнца, в треть неба – круговая радуга! В середине темнее, снаружи круга – светлее, а внутри – золотой крест из солнечных лучей. Со мной были Юз и Ирочка Алешковские, мы были на пляже, я Ирочку спрашиваю: «Ты видишь?» – «Вижу». Четыре часа стояла эта радуга. Я говорю: «Значит, это какое-то небесное явление, потому что все видели. И ученые то же скажут». А Ирочка мне: «Ну что тебе еще нужно? Какое тебе дело, что скажут ученые? С тобой это случилось в момент, когда ты просила». Недавно я вычитала, что подобные вещи называются *providential coincidence* – провиденциальное совпадение. И чайка в тот момент подлетела ко мне – Юра ведь всегда их кормил.

А. К. Так было один раз?

М. Г. Нет. Потом, в сентябре, тоже так смотрю на небо и прошу: «Дай мне знак! Дай!...» – и все небо озарилось, и прошло по небу что-то огненное; в Галифаксе потом по радио объяснили, что все в порядке, ничего страшного, это не война и не летающая тарелка, а просто небесное явление. Или, если буду так сильно просить и смотреть на облака, из них потрясающая картинка составляется – его улыбка. С такой улыбкой он умер. А в день его рождения, 26 декабря – на западное Рождество, – я очень плакала. Вышла в три часа ночи на крыльцо, на луну смотрю, опять прошу дать мне знак – и вдруг вижу тройную радугу вокруг луны. Я побежала и разбудила Леночку и Кевина, ее мужа, чтобы не подумали, что я сошла с ума. Они тоже видели – значит, и это как бы само по себе случилось, но

у меня так получается, что совпадает... А может быть, я и впрямь сдвинулась – должна была от такого горя сдвинуться, правда? Ну что теперь поделаешь? Я стараюсь в память его как можно более достойно оставшийся отрезок жизни пройти.

А. К. Мариночка, меня до сих пор не отпускает чувство вины, что я не сказала Юре какие-то очень важные слова на прощанье, – все так неожиданно случилось...

М. Г. Да, да... Так больно теперь обнаружить, что я выбрала эту «Пьету Ронданини» для своего сборника. Ее поместили на третьей стороне обложки.

А. К. Есть два очень глубоких и, по-моему, забытых в России понятия: культура жизни и культура смерти. Отношение к смерти четко характеризует и наше отношение к дару жизни. Для Юры жизнь была высочайшей ценностью. Как бы ты определила главные Юрины черты, позволяющие говорить о сознательно создаваемой им культуре жизни?

М. Г. Не могу сказать, что главная из этих черт сознательно им культивировалась. Это была его природная суть – кеносис, искупительное нисхождение. Проявлялось оно по-разному: в жалости, в сострадании к чужой боли. Перебираешь фотографии – везде-то он обнимает, целует, что-то объясняет. Воин, защитник он был, обожал, приносил цветы, поил и кормил, и не только в материальном смысле. Он кормил духовно, разговаривал со всеми и всей силой своей души старался насытить, напоить ласковым словом, которое очистит, отзовется благодатью. «Алчущий и жаждущий правды» он был... И, конечно, был очень раним. Было в нем настоящее, редкостное целомудрие, влюбленность, восторженность.

А к чему он осознанно пришел – это преданность, верность. Верность требует мужества. Его всегда тянуло к смелым, мужественным людям. Он действительно свободу любил и знал, что за свободу надо платить. Гонения, эмиграция, новая травля были частью этой цены, и он это мужественно переносил. Никогда не

жалел, что пошел против той системы, сознательно выбрал свои «тесные врата». Верен был этому пути и, чтобы твердо идти, верен был и Небу, которое он нашел, и семье, и друзьям. Как-то уехал в страшную непогоду, по обледеневшему шоссе, на машине за три-девять земель, к Нью-Йорку, на похороны Зинаиды Михайловны Григоренко – считал своим долгом проводить ее, жену Петра Григорьевича, которого очень любил. И таких случаев было немало.

У него была привычка полушутливо начинать любой разговор: «Ну, как у тебя с совестью? Как с душой?» Если же люди юмора не слышали, то начинали сердиться, отвечали: «Занимайся своей совестью, а ко мне в душу не лезь!» А он и меня по утрам так спрашивал... Это он про самого себя говорил, самым главным делился.

Осознанно он искал чистоты. Этот поиск привел его к вере и верности в вере. Леонид Ефимович Пинский как-то сказал Юре, что такой дар веры, как у него, дается раз в столетие. Этого я точно не знаю, но знаю, что молитвенный Юра был очень – только никогда этого не выставлял напоказ. Уйдет куда-нибудь потихоньку, закроется. Очень любил молиться в галифакском парке у памятника погибшим воинам и морякам, сделанного в форме креста-меча. И частенько цитировал из любимого фильма своей юности – «Крестоносцев»: «Мечи у нас есть, но и этот мы возьмем в залог победы, а в остальном положимся на волю Господа Бога. Он поможет Своим верным слугам». Крестоносцев он по-своему понимал – как тех, которые сражаются за свободу и правду, как он любил говорить, «с открытым забралом». И сам он был крестоносцем – только не способным никого убить.

И еще очень сильная в нем была радость жизни. Благодарность за дар жизни совершенно особая. За неделю или две до смерти он собрал все свои силы, встал с постели и сплясал для нас «Калинку», сказал: «Радуйтесь жизни!» У Юры была глубочайшая благодарность за каждую прожитую минуту, и, может быть, поэтому он так хорошо ее помнил. И еще перед смертью он сказал, что прожил счастливую жизнь и благодарен за все: за родителей, за братьев, за подругу жизни и детей, за друзей, за то, что он повидал мир, за возможность много потрудиться, писать. Сказал мне дивные слова благодарности за счастье нашей любви, за сыновей, за то, что у меня сложились такие добрые отношения с Леночкой... И я тоже поблагодарила его за счастье. Он так же поговорил со всеми детьми.

А. К. Дружная, любящая оказалась ваша семья. Как вам это удалось?

М. Г. Где-то я прочитала, что счастливым людям очень легко просить прощения, а чем человек несчастнее, тем ему труднее извиниться. А Юра, когда, бывало, вспылит – отойдет, продумает все, повинится искренне и еще, как дитя, мизинец протянет: мирись, мирись, мирись и больше не дерись. И ни за что не ляжет спать, не помирившись. Созовёт нас всех, попросит помолиться, чтобы мы друг друга простили, нацелует всех, а если не получается собрать family conference – семейный совет, напишет записочку, подсунет под дверь. Но нас-то он безумно любил и прощал, и мы его все прощали. Да и интересы в семье были общие. И была постоянная радость общения. А с миром, конечно, отношения у него были сложные. За насмешки и за предательство обижался и не очень-то легко это прощал, хотя старался. Но и у него прощения тоже особенно никто не просил. Когда умирал, то думал очень много, как я уже сказала, об этом, и постепенно, мне кажется, прошлые обиды его выжжены были страданием.

А. К. Мариночка, я знаю, что рядом с вами всегда жили литературные герои или любимые авторы. Так было и в последние земные дни Юры?

М. Г. Нас постоянно сопровождали Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов, Ахматова, Пастернак, Мандельштам и не только они. «Здесь нужно, чтоб душа была тверда; / Здесь страх не должен подавать совета», – эту цитату из «Божественной комедии» Данте в переводе М. Лозинского я слышала очень часто. Юра считал ее жизненно важной. А когда он благодарил меня на прощанье, прочитал из своего любимого стихотворения: «О Господи, как совершенны/Дела твои, – думал больной...».

Или, когда я бежала что-нибудь ему принести, останавливал: «Манечка, “смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа!..” Посиди около меня!..»

У нас много было игры – словесной, ласковой: я была Маня, а он – Петя. Или, когда посмотрели «Дорогу» Феллини, я стала Джельсоминой, он – Зампано. В фильме есть еще один герой – Артист, которого

Зампано убивает, – добрый шут, легкий, воздушный, прекрасный, и я боялась сказать, что на самом-то деле Юра – это Артист. Узнав, что Юра умер, Володя Буковский сказал, что такая внезапная смерть равносильна убийству и что в жизни он много всего повидал, но никогда такого мужества перед лицом смерти, как у Юры, не видел.

А в последнее время Юриной болезни я превратилась в Герасима, только не из Тургенева, а из Толстого, из «Смерти Ивана Ильича». Юра звал меня: «Герасим, иди, дай мне ноги на тебя положить!.. А правда, какой Толстой гений: в самом деле полегчало». До самого смертного часа грустно шутил.

Я же твердила про себя мандельштамовское:

Есть женщины, сырой земле родные.
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать умерших и впервые
Приветствовать воскресших – их призванье.

Да, призванье. Поручение. Так я тренировала себя: училась верить в воскресение – иначе не выдержала бы испытания и чувствовала бы, что предаю Юру.

Мне он сейчас в снах является живой, а я, как Фома неверующий, тычу в него пальцем и говорю: «Ты же умер!» А он отвечает: «Нет, я воскрес, я живой».

А. К. Вот этому и верь! Ведь ты, сама того не зная, поешь Юре удивительную песнь любви, настоящую Песнь песней.

М. Г. Да? Спасибо... День нашего знакомства, 15 апреля, был для него священным, он его каждый год отмечал. Он был связан у него с «клейкими листочками» – из Пушкина и Достоевского. Когда его выгоняли из Академии наук, он говорил речь. От него требовали, чтобы он покаялся за то, что подписал крамольное письмо, но тут уж из него извинения было не выбить никакой силой – он ведь за правду стоял. И он им речь закатил – про «клейкие зеленые листочки»; «я верю, что оттают сердца людей» и т.д.* До нас дошло потом, что циники эти

* Глазов, Юрий. В краю отцов, с. 147–148; Глазов, Юрий. Тесные врата, с. 45–47. – *Прим. сост.*

говорили: «Ну, Глазов – юродивый какой-то. Нужно было мужское веское слово сказать, а он про какие-то листочки запел...» Академики!

А в конце его жизни, я знаю, у него было глубочайшее желание дожить до апреля – до дня нашей встречи и этих самых клейких листочков. Он все смотрел в окно на ветки, не появились ли. И сказал за два-три дня до смерти: «Не могу поверить, что “жизнь кончена”». Он хорошо помнил эти пушкинские слова. Умер в март-товские иды, когда заговорщиками был убит Юлий Цезарь, – 15 марта. Опять 15-е число. Эта цифра нас сопровождает.

Так мы и похоронили Юру в его любимом траппистском монастыре. Прекрасно пели монахи перед тем, как засыпали его гроб мерзлой землей. А вечером, уже в темноте, мы еще раз пришли на его могилку. Спели для Юриногo друга Толи Примака, что добрался до нас из Америки на машине в снежную бурю, «Виноградную косточку». Всякий раз, когда Юра слышал эту песню Окуджавы, на его глаза наворачивались слезы. Он ее и со студентами проходил. Я-то петь не могла, только губами шевелила, а сама думала: «Зарыла я свою виноградинку в мерзлую землю...»

Юра страстно надеялся, что мы будем с ним жить долго-долго, и только одного не мог себе представить – нашей разлуки. «Манечка, – говорил он мне часто, – как же мы с тобой расставаться-то будем?»

Все время я теперь шепчу про себя строчки Джона Донна:

Our two souls, therefore, which are one,
Though I must go, endure not yet
A breach, but an expansion,
Like gold to airy thinness beat.*

Вот и растянулся в золотую нить драгоценный наш слиток – единая на двоих душа.

2–3 мая 2000 г.

* Русские читатели знают стихотворение «Valediction. Forbidding Mourning» в переводе И. Бродского.

Простимся. Ибо мы – одно.
Двух наших душ не расчленишь,
Как слиток драгоценный. Но
Отъезд мой их растянет в нить. – *Прим. сост.*

Книга третья

Из ранней прозы
(1976–1979)

Елена Глазова

О ДАРЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

Нарисовала ли я в комментариях, окаймляющих эту книгу, правдоподобный портрет Марины? Образ человека выявляется правдивее всего в действии, в делах его, поэтому так точно все собралось в одну точку в «Золотой нити» (см. с. 331–356), где становится ясно, как встретили Марина и папа их разлуку, факт его смерти...

Поскольку циклы книги стихов уже выстроены и начинают жить своей жизнью, на этом новом для нас этапе я бы хотела добавить еще одну деталь, уточнить в Третьей части что-то существенное, как бы вдогонку родившейся книге стихов. Начну рассказ издалека – со «Скрипки Ротшильда».

В рассказе Чехова Яков бил старого еврея Ротшильда за печальный тон его музыки, а сам, при всей своей рациональности, мастерила только гробы – изо дня в день, из года в год. Но, умирая, он все же оставил свою скрипку старику Ротшильду, и, несмотря на жалостливые ноты скрипки, веселилась, танцевала вся деревня, а купцы заставляли старика играть «по десяти раз» песню Якова.

Смех и слезы. Платоновский Сократ считал, что не может один и тот же драматург писать и комедии, и трагедии. Писательский талант, мол, узок, и пусть каждый делает свое дело. Однако так говорил Сократ только в диалоге «Государство». А в «Пире» утверждал уже совсем обратное, и рассуждал о любви, и пил вино и не хмелел. Смех и боль должны уместиться в одном даре, разбить точные границы разрешенного, расширить потенциалы возможного. И развеселить расплакавшуюся деревню.

Мои родители не были смирными людьми. Я же прежде всего была их довольно послушной дочерью, а они в кругах нашей ин-

теллигенции были «ничьими детьми» и входили в мир без семейной поддержки. Оба рано потеряли отцов и несли эту боль разлуки с неким вызовом, который ощущался не сразу. Самобытность их казалось как бы избыточной – неуместной, несвоевременной. И закончилось все это изгнанием. Но что-то постоянно билось в них и выбивалось в жизнь, и стиль этот, пожалуй, обострился в эмиграции, где в Марине открылись черты, об истоках которых можно было догадываться, но подвести ее под шаблон было невозможно.

Мы часто переезжали, и каждый раз раскладывала она на новом месте свои записи, письма, фотографии, создавала заново то, что любила называть в шутку (и, пожалуй, всерьез) своей инфраструктурой. Папа посмеивался, что любовь Марины к культуре достигает поистине раблезианских размеров. Как в *«Гаргантюа и Пантагрюэле»* швыряли пищу лопатами, точно так же Марине, поговаривал папа, необходимо было слушать музыку часами, читать все новые книги, постоянно искать смысл увиденного. Это неиссякаемое желание новой информации всегда казалось мне крайне необычным, хотя встретила я в своей жизни много умных и работоспособных людей. Но в Марине жил настоящий голод-жажда, да и только – и одновременно била несколько ошеломляющая энергия. Нехватка и избыток, жажда и талант. Как у Платона Эрос – дитя Нищеты и Изобилия.

Теперь мне думается, что именно так шла Марина к прозе, причем к прозе тех же необычных очертаний, как и сам склад ее таланта. Открылся он нам сначала в ритуале семейного отдыха. Если у нас не было гостей, папа к вечеру говорил: «Манечка, а ну-ка, расскажи про Ульяшкиных». И Марина изображала в лицах различные перипетии в коммунальной квартире, где провела она свое детство, а папа смеялся до слез. Меня сначала эти картинки несколько шокировали. Дзен-буддистский метод воспитания – так суммировал ситуацию папа. Учитель вместо ответа на вопрос бьет тебя палкой по голове: просыпайся в мир, где все непросто и режет слух, и открывай глаза, чтобы понять свой век.

Не один отец, конечно, знал об этой необычной артистичности Марины. Вечеслав Веволодович Иванов, когда-то учивший

молоденькую Марину в Московском университете, писал ей, находившейся уже в эмиграции: «Спасибо за Ваше живое и образное письмо, напомнившее мне ту Вашу способность воспроизводить картинки в лицах, которая мне всегда нравилась...». Да и все друзья, делившие с нами эмиграцию, знали умение Марины играть веселые песни если не на «скрипке Ротшильда», то, по крайней мере, с глазовским излишеством – смешивать легкость и тяжесть, веселье и болевой шок. И когда Марина стала работать над прозой, ее близкая подруга Наталья Садомская писала именно об этом даре:

Амхерст, 21 июня, 1976

Маришка, милая,

Боб передал нам твою рукопись, но не сказал, кому переслать. Не знаю, интересно ли тебе, но на меня это произвело такое сильное впечатление, что я решила написать.

Твои «Разговоры» («Розовое дерево») так звучат, что все время вслух читать хочется. Мы и читали, и сначала было смеяться стали, а потом страшно стало и душу всю перевернуло этим нежным концом. И главная мысль, которая у меня после этого бьется: неведение зла, которое мы все время творим. Каждодневная бездумность, с которой делаем больно близким. И слепая невинность наша даже в убийствах, которые совершаем. Все остальные маленькие голоса в прозе такие замечательные тоже... <...>

Вот так сбывались слова в Марининой комнате с ее заново восстановленной инфраструктурой, и уже не часы, а годы окутывались разговорами, и разговоры становились прозой – веселой, как вино, горькой, как полынь, растущей теперь и в Галифаксе, тихом канадском городе на берегу океана*.

* В эту книгу включены только два ранних прозаических произведения. Прозу последних лет «Елизавета с Остоженки, или «Первая любовь и последняя жалость» Марина готовит сейчас к отдельному изданию. – *Прим. сост.*

О ПЕРЕВОДАХ

С переводами, как известно, всегда непросто, но и стихи, и проза Марины переводились. Сокращенная версия «Розового дерева» на английском языке в переводе Давида Джоунса стала популярной радиопьесой и в 1980 году была номинирована как лучшая пьеса на радио Си-би-си.*

О трудности перевода голоса Марии Петровны писал профессор Калифорнийского университета Даниэль Лафферьер:

Dear Marina,

Thank you very much for sending the poem and translation. I want to publish both in «Semiotic Scene», but the translation needs work. (I have written down some ideas on the first page). The English needs more poetry in it («Poetry is what is lost in the translation», said Robert Frost).

<...>

As for the проза. I found it quite fascinating, and I scribbled down a few observations on it. The part of Maria Petrovna I found difficult to read, and it won't be easy to translate. Anyway, it is very intelligent hysteria, a real round of «Sisters Karamazovs»!

See you in N.Y.

Daniel

Дорогая Марина,

спасибо за посланное стихотворение и перевод. Я бы хотел это напечатать в «Семиотической сцене», но перевод надо переработать.** (Посмотрите на мои пометки на первой странице.) На английском необходимо усилить ощущение самой поэзии («Поэзия – это то, что потеряно при переводе», – говорил Роберт Фрост).

<...>

Теперь насчет прозы. Мне показалась она необычной и чарующей, и я посылаю Вам мои мысли по этому поводу. Было трудно чи-

* АСТРА – Ассоциация актеров канадского телевидения и радио. Номинация: лучший драматический автор – пьеса «Пасхальные розы», радио СБС, 1980. – *Прим. сост.*

** Цикл «Памяти Эдика Зильбермана» вышел по-русски в журнале «Semiotic Scene», vol. 3, no. 2. 1979. P. 112–113. – *Прим. сост.*

тать слова Марии Петровны и переводить их будет непросто. Но материал этот – умнейшая истерика, настоящие «Сестры Карамазовы».

До встречи в Нью-Йорке,

Даниэль.*

Галина Корнилова

ПРЕДИСЛОВИЕ

К «РОЗОВОМУ ДЕРЕВУ» (Разговоры)**

Журнал «ГОРИЗОНТ», №12, 1990

Марина Глазова – человек талантливый, у нее безупречный филологический слух, она по-настоящему любит своих героев, бедных, нелепых обитателей московских квартир и коммуналок. Все это легко обнаружит читатель, познакомившийся с ее «Розовым деревом».

Марина Глазова родилась в Москве, здесь окончила школу и университет, защитила диссертацию и стала востоковедом. Краткую автобиографическую справку она завершила фразой: «В 1972 году вместе с семьей эмигрировала из России». За этим скучным сообщением скрывается драматическая история семьи ученых, которых за сопротивление брежневскому режиму, смелые публичные выступления в защиту тех, кого мы сегодня называем гордостью нации, вышвырнули из институтов***, лишили какой бы то ни было работы, обрекли их троих детей на полуголодное существование.

Как известно, судьба наших соотечественников, оказавшихся за рубежом, складывается по-разному. Марина Глазова в эмигра-

* Перевод сост.

** Впервые напечатано в журнале «ЭХО – ЕСНО» (Париж), № 1, 1979, С. 45–65. Перепечатано с предисловием Галины Корниловой в журнале «ГОРИЗОНТ». М., 1990. С. 46–66. – *Прим. сост.*

*** Марину из университета не выгоняли, но остановили публикации ее книги и статей. Директор ИВЯ (Института восточных языков при МГУ) Александр Александрович Ковалев продержал Марину на работе до самого отъезда, когда она уволилась из МГУ «по собственному желанию». – *Прим. сост.*

ции продолжала писать стихи и прозу, постоянно при этом обращаясь к оставленной не по своей воле родине. Ибо шестнадцать лет изгнания не смогли оборвать ее внутренней связи с миром, в котором она родилась и выросла.

Ее произведения успели заметить и опубликовать такие зарубежные русскоязычные издания, как «Континент», «Время и мы». «Горизонт» же оказался первым журналом, напечатавшим работу Марины Глазовой на ее родине.

Мы слишком долго ждали, разбрасывая за ненадобностью все самое талантливое и честное из того, что имели. Давайте порадуемся теперь тому, что мы дожили до иных времен, когда пришла пора уже не разбрасывать, но «собирать камни», которым предназначено лечь в фундамент нашей единой истинно народной культуры.

РОЗОВОЕ ДЕРЕВО

(РАЗГОВОРЫ)

(Москва. Шестидесятые годы)

*Mais Madame écoutez-moi donc
Vous perdez quelque chose
– C'est mon cœur pas grand-chose ...*

G. Apollinaire, Poèmes à Lou.*

Ирочка – хозяйка квартиры, в которой разговаривают.

Ольга – подруга Ирочки по соседнему подъезду.

Вера Александровна – тетя Ольги.

Мария Петровна – домработница Ольги.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

ОЛЬГА

Ирочка!

Я на минутку! Такие события! Такие события!

Вчера тетя Вера прямо с утра уселась под свою розу пылающую – свой любимый гибискус – и во весь голос вдруг запела романс:

* – *Мадам, посмотрите! / Потеряли Вы что-то... / – Пустяки! Это сердце мое...* Г. Аполлинер. Послания к Лу. – Перевод М. Кудинова.

Только раз бывает в жизни встреча,
Только раз судьбою рвется нить...

Я обомлела. Что это вдруг с ней случилось такое? Молодость свою она вспомнила? Или явные намеки мне подает? Про Алешу? Про Николая Евгеньевича? Хорошо, Марии Петровны не было дома. Вышла она с детишками погулять, а то бы такой скандал разразился!

Боже! Какой это ужас – влюбиться без памяти! Какой это страшный восторг! Тут тебе и нить. Тут тебе и встреча-судьба. Тут тебе и плаха-погибель.

За что же? За что же нам такое страшное испытание в жизни дается? Сначала – родиться, потом – расти и влюбиться, потом – не знать, куда от счастья деваться и вдруг в одночасье все потерять и с самым близким, с самым любимым человеком навеки проститься. И еще при этом про какой-то там выбор нам пытаются объяснить. Про собственную нашу свободу. Ответственность.

Подожди, о чем это я?

Да! Такие события! Такие события!

А это Николай Евгеньевич сейчас ко мне заявился! Ушел – я сразу к тебе.

Изволил мне сообщить: на развод подает. Представляешь?

Я ему в ответ – черт меня дернул! – тоже заголосила:

Только раз бывает в жизни встреча,
Только раз кружится голова...

Он на меня так посмотрел. С какою-то даже вдруг жалостью. Я озадачилась: «Где же это его сарказм? Где насмешка? Где холод? Ирония?»

У меня прямо сердце затрепетало. Вот она, тетя Вера, предчувствовала! Вот она мне вчера и пропела романс!

Нет, Ирочка! Нет! Надо было мне Николая Евгеньевича удерживать, раз замуж вышла и детки. Но у меня же Алеша! Как он вошел тогда в лабораторию, юный, неискушенный, какой-то перво-

зданный, открытый... У меня голова закружилась от радости. От радости совершенно какой-то необъяснимой у меня переполнилось сердце. И сама жизнь... И все же замуж я вышла за Николая Евгеньевича!

Прости! Много раз ты уже все это слышала от меня...

Алеша! Алеша! Такой длинный отпуск! Он перед отъездом мне твердо пообещал, что маме своей так и скажет: «Решил жениться и все!». Теперь мне самое главное: развод с Николаем Евгеньевичем побыстрее оформить. И вот – как с неба подарок!

Господи! Скорей бы Алеше эту новость про развод сообщить! Ну куда он пропал? Ну куда же он делся? Я так беспокоюсь! Ни строчки от него! Ни словечка!

Может, письма от него где-то задерживаются?

А что, если тетя Вера караулит их, прячет? Или же от моих старух он тоже устал? Да вот и детишки! Наташенька. Феденька. Постоянно вертятся у всех под ногами.

Ну что это в итоге у нас? Двое малых, двое старых плюс одна посередине: на зеркало неча пенять – молодость не удержать!

Только Алеша к нам на порог, тетя Вера к нему:

– Алешенька! Детка! Лучше бы я умерла, а Моцарт остался жить. Лучше бы Моцарту отдали все мои годы. Ну кому я теперь нужна? Никому. Никому я на свете уже не нужна. Одно мне только и остается – уйти. Отравиться. Повеситься.

Тут Мария Петровна в дело вступает:

– Никому ты, бабка, ни к чорту, и правда что, не нужна! Такая старющая и такая вреднющая!

И снова – до драки. Сегодня с утра гребешок у Марии Петровны опять разлетелся – так волосы под люстрой летали. Разве такой у детей образ нянечки должен быть? Ну скажи!

Да он как у нянечки Пушкина, у Александра Сергеевича, должен быть, этот образ!

Я тебе правду, Ирочка, говорю, что не выдержу. Чистую правду. У меня от боли раскалывается голова. Сердце из груди у меня вырывается. Я не хочу вообще с постели вставать. Я не хочу вообще с утра глаз моих на мир открывать. Ведь вместо того, чтобы

спокойно сесть за письменный стол, мне тетю Веру караулить приходится, как бы она не повесилась, не удавилась! Так каждое утро, кроме сегодняшнего, у меня и начинается: поиск веревки! Обычно она держит ее за батареей.

Прости меня, Ирочка, вечно я тебя беспокою! И спасибо за деток моих! Они так любят с твоими играть! А мне непременно нужно папину книгу закончить! Ты знаешь! Господи! Господи! Алеша! Алеша! Прости меня, Ирочка!

2

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Милая!

Я вам не нужна?

Только скажите прямо! Мне не надо это, знаете...

Спасибо, милая! Спасибо, хорошая!

Как себя чувствую?

Замечательно! Я себя всю жизнь замечательно чувствую и терпеть не могу разговоров о здоровье. Что такое головные боли, к примеру? Распущенность. Полная распущенность. В здоровом теле – здоровый дух, и, естественно, наоборот. Я была всю жизнь подтянутой. Мне распускать себя было совершенно недопустимо. Вы что-то сказали?

Творогу?

Спасибо, милая! Спасибо, хорошая! Я совершенно не голодна. Если только чуть-чуть. Мария Петровна с утра меня хорошо покормила. Такая она у нас хорошая. Славная. И особенно добрая, как пригубит немного красненького. Я Оленьке так и подсказываю, чтобы она Марию Петровну угощала почаще! Можно и с утра! Знаете? Для тонуса! Ведь для настроения, если только чуть-чуть... Очень она, очень хорошая няня! Правда, немного нервная. Но ведь на ней весь дом.

А у вас там на полочке в прошлый раз тоже красненькое стояло! Болгарское!

Здесь вот как раз! Здесь!

Что? Все на столе?

Что это вы, милая? Вы меня просто оскорбляете! Я просто будильник ищу! Который час! Меня няня ждет к обеду в точное время! Хотя у меня вдруг вот припухла щека! Беспокоюсь за зуб! Кажется, он начинает шататься!

А! Вот он, будильник! Пожалуйста!

Какие дикие подозрения! Я не смогу к вам больше заходить!

А на что вам сердиться? Скажите на милость!

Ну хорошо! Рюмочки вполне будет достаточно! Для настроения! И зуб заодно успокоить!

...

Ну! За наше, Ирочка, общее благополучие! За мир и за дружбу! И за зуб! Конечно, за зуб!

Прекрасно, что мы с вами смех не теряем! Юмор! Сатиру! Иронию!

...

Замечательное вино! Спасибо, милая! Спасибо, хорошая!

И главное, чтобы Оленьке была возможность заниматься. Она ведь у нас прежде всего – настоящий ученый. Вся в отца, которому, к великому сожалению, до старости не удалось дотянуть. И лучше бы брату достались все мои годы старения. Естественно, мой брат не был Моцартом, но талант был огромнейший. Всю жизнь посвятил Достоевскому и вдруг – такая нелепость! За картотекой! Со стула упал и не встал! И вот его книга незаконченная осталась.

Да. Володя не случайно посвятил себя этой тематике. Достоевский – великий русский писатель, но какие же душевные проблемы у него были тяжелые. И вот у брата, признаться, были некие признаки. Это еще почему он хотел докопаться. Понять. Все, досконально все, что оказалось доступным, мой брат про Федора Михайловича отыскал. Все его невзгоды душевные Володя занес в свою картотеку. Ведь и герои в романах – это собственные авторские заболевания. Я Оленьку уговариваю продолжить и завершить труд отца. Святое было бы дело.

А вам животик, милая, убрать надо! У меня в ваши годы прекрасная еще фигура была, но я балетом занималась и в Швейцарии инструктором работала – художественная гимнастика и поднятие тяжестей. До сих пор, как вы знаете, одной рукой поднимаю стул.

Держу его у себя над головой минут до пяти – до семи приблизительно. То одной рукой, то другой. Да я с его помощью до сих пор делаю балетные упражнения и даже вальсирую. С утра просыпаюсь – зарядка, холодный душ, упражнения со стулом. Это великолепную крепость дает всему телу, мускулам, мышцам. Серому веществу головного мозга.

А не помешало бы нам еще по рюмочке, Ирочка! А?...

Замечательное ведь у вас это вино! Оленька всегда перед сном мне наливает:

– Тетя Вера! Может, уснешь получше!

А я до утра иной раз лежу. И все вспоминаю... Вспоминаю... До малейшей детали. Детские годы. Наш сад. Елка в гостиной. Свечки на ветках. Яблоки. Мандарины. Орехи. Под елкой подарки. Обед этот роскошный. Рождественский. Рафинад. Твердый такой кусковой сахар – нужны были щипчики... Война. Раненые...

Ну не смешно ли? Кусковой сахар – и все прошлое перед глазами! Такие странные ассоциации! И вот еще мой гибискус! Моя китайская роза. Все-то, все она перевидела. Знает. Всю мою жизнь. Реакция на малейшие перемены в настроении окружающих. Стоит только нам опечалиться – она веточки опустит свои, лепестки грустно роняет. Насторожились – встрепенется мгновенно. Помню, покрылся вдруг куст многочисленными цветами, вспыхнул и незамедлительно обронил все свои лепестки, и все его ветви поникли! И тут же – умирает Полина. При родах.

Милая, у вас нет сахару кусочками? Простите!

Спасибо, милая! Спасибо, хорошая!

Володя любил Полину безумно!

Спасибо, милая! Замечательно! А творог у вас с рынка! В магазине такого не купишь! Спасибо.

Спасибо за ваше гостеприимство! За щедрость! За доброту!

Володя Полину похоронил и оставался ей верен все годы – до самого конца своих дней. Совсем она молоденькая была. Красавица. Он увидел ее и тут же оставил Екатерину Николаевну. А через год уже роды... Екатерина Николаевна все Володе простила, готова была воспитывать Оленьку, как родную, как собственную свою дочь, но он... Но он остался преданным только Федору Михайло-

вичу Достоевскому и Полине. Это я уже в основном Оленькой занималась. Фактически ей всю свою жизнь отдала. Брату и ей.

Спасибо, милая! Спасибо, хорошая! Прекрасный, прекрасный творог!

И больше всего меня мучит – что не нужна я уже никому. Что пользы от меня никакой. Разве вот детям – почитать на сон книжку. Это важно. «Как ныне собирается вещей Олег...»

Да! Да! Они много из Пушкина наизусть уже знают.

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» – из Лермонтова.

Ирочка, обучать детей литературе, стихам, музыке, пению, танцам надо с самого раннего возраста.

Молодец! Правильно делаете! И непременно, непременно спорт еще надо с раннего возраста детям давать. Пусть бегают, прыгают, на голове вверх ногами стоят. И обстановка в семье должна быть миролюбивая. А Оленька все же нервная у нас, беспокойная. Мама ее, Полина, такая была. Оленька – копия матери. Две капли воды.

Ну! Так давайте еще все же по рюмочке, Ирочка!

Нет! Нет! Не беспокойтесь! Я в полном порядке! Голова у меня на месте! Не кружится! Давайте! Давайте!

...

Ну! За дружбу! За великих наших русских писателей! За композиторов! Моцарта! За поэтов! За работников физкультуры и спорта!

...

Замечательное вино! Вот и зуб у меня успокоился! И прошу вас, любите Оленьку! Помогите ей, когда меня не будет!

Знаю! Знаю! Не надо меня в этом разубеждать!

Пора мне! Пора! Задержалась я! Задержалась, действительно.

3

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Бабка здесь?

Только что ушла?

Ну, слава тебе, Господи! Так я и знала, что ни чорта с ей не станется. Застряла нас по всему двору. А я Ольге так и сказала:

– Никуды она давиться не побегла! Какеи грозятся – нипочем не удавятся!

Так она сегодня прямо с утра замучила нас своим Моцыртом:

– Лучше бы я умерла, а Моцырт остался жить! Лучше бы Моцырту отдали все мои годы. А я никому уже не нужна. Тока и остается – уйтить. Отравиться. Повеситься.

– Во-во, бабуля! – терпению я потеряла. – Усю правду нам говоришь. Вота твоя веревочка, ступай к сваму дереву (ето про розу про ее – про китайскую, про ебискус етот, чортову дереву ету сухую) и сделай там свою делу! Никак не управисси. Стращаешь тока с утра и до вечера: «Удавлюсь! Удавлюсь!» Чего же не дависси? Алешка через тебе боле к Ольге не ходить. Тока он на порог и им свои дела делать надоть, какеи ну совершенно тебе не касаются, так ты не можешь их в спокойе хуть на минуту оставить. Чего ты им вечно под ногами мешаесси? Чего ты за ими следом повсюду таскаесси? Чего ты им пластинку у руки суешь у неподходящий момент? Никому ты, и правду усю говоришь, ни к чорту не нужная. Никак Господь тебе не прибереть. Никак Ольгу не ослобонить от тебе.

Так ведь ей, Ирочка, никак сто скоро ахнеть! И вот ету пластинку хватает и начинает ею размахивать. Угрожать. Ну, музыка – музыкою, но ведь и в мене пластинкой-то етой она могеть запустить. И не раз запускала. И бабке-то я говорю:

– Ну, бабка! Ну не твое ето дело – грамофон слухать. Ты свое отслухала. И как Алешка заявится, не суйси у комнату к им! Не к тебе ето он ходить! Не выдумляй чего не следует быть! К племельнице он твоей ходить, и им чегой-то срочно надоть поговорить, чего не девушкина дела слухать. Ты у нас ишо девушка и понятия об таких вещах не имеешь. Живешь тока усю да живешь. Сердце-то у тебе – дай Бог каждому! Мускулы! Мышицы!

Ну, она, Ирочка, усю жизнь вреднющая такая была. И стращать веревкой, что у батарееи хранить. Жалится, что крюку у нас нету. А я ей так прямо и говорю:

– Ты, старая, хватить стращать-то! У нас один на стуле удавился. Кто задумаеть – безо всякого крюку управится.

Так она сегодня, ну тварь она едакая, у батарееи захрипела, и я ей:

– Не вымай, бабка, голову из петли! Дай-ка, я потуже затяну!

А она как сиганеть – и на вулицу. И Ольга тута на мене затопа-ла. Ну пожалели бы хуть Феденьку. Дитенок какой чувствительный. И заплакала я:

– Уйду я от вас! Ето чтоб люди говорили, как бабка через мене удавилася. Да у мене уже и на похороны припасено. Вот племельника у Красную армию проводим и заживем с сестрой не хуже вашего.

И Ольга у голос:

– Не уходите, Марея Петровна! Миленькая! Я одна не справлюся!

И я ей в ответ:

– Не ври, – говорю, – Ольга! Справисси! Как же мы посла войны обходилися, и детев без нянчков на ноги подымали, и об мужуков не думали?

И куды ей было замуж – такой немощной?! Я ей прямо у глаза говорю:

– Оля! Послухай ты мене, дуру старую! Упустила ты Колю Евгенича. Не придеть к тебе Коля Евгенич жить с такою-то бабкой внакладку. Ни за какеи коврижки он к тебе назад не придеть. И не жди!

Ну ты сама, Ирочка, посуди! Ну какому мужуку охота у такой обстановке находиться? Она к им у комнату каждый раз шмонаться будет – усе спрашивать, нужна она им али нет. И я ей говорю:

– Бабка! Не нужна ты никому на етим белом свете! Уберися ты за ради Господи! Скока раз одно и то же тебе повторять?

Ну что ето, Ирочка? Вона дитенок али еще какой моложавый – глядь, и преставилси! А ета – и живеть, и живеть, и живеть. А потому дева старая. Не страдамши. И усю-то, усю жизнью с прислугою.

Хуть какая она тама дева? Кто ж ее разбереть? Она и по женским ни разу у дохтура не была. А у ей ухажор до революции был. Она усе об ем брешеть, как винища надрызгается. Погиб на фронте у первой войне. А потом она сама на фронт сестрою побегла. Девушка! А може, и, правдять что, девушка, что и смолоду никому не нужная была. Вот я ей и твержу:

– Ты, бабка, никому не нужная и смолоду была, потому вреду в тебе много!

А на людях добренькую разыгрывает из себе – сразу не спознаешь!

И вот Ольга! Как в окно твое мужука завидеть, так ей поговорить с им чегой-то надоть и Ирочке подарочек снести. А ты от ей ничего не бери! Старайси обойтись сама! Лучше чаю с хлебом напиться, чем от кого чего принять. Дороже обойдется. Не умеют люди давать по-хорошему. А коли дадут чего, докладывают об етим по всему свету. Почет себе составляют. И ты Ольге не доверяйси! Не любить она тебе! Усе по телефону брешет, скока чего ей стало – какеи подарки купляет она тебе, и что ревнуешь ее шибко к сваму мужуку, что и ходить спокойно она к вам уже не может. А ты рот-то не разевай, а то мужука сваво так и проворонишь!

Хуть какая она там полюбовница?! Ни черта не может. Ни мать, ни жана она и никакая ни к чорту не полюбовница. Одна каша у ей в голове. А у бабки вот дерева! Куст етот, дереву ету, ебискус, боле всего она любить на свете! Души в ем не часть! Вот! А ты говоришь!

И не привучай их обеих сюды бесперечь гонять! Мы их своими жалостями тока спортим. Ольга вот глаза на лоб заведет, детёв с бабкой нам сбегри, а сама фить! – в баблотеку, мол, срочно побегла. А бабка по квартирам шатается, брешет, будто ее не кормят. А на ее сахару одного не напасесси. И сыплеть, и сыплеть, и сыплеть. Так если б в чашку – не жалко. А то ведь на пол. И я ей говорю:

– Не выходи, бабка, на кухню! Я усе вымыла! Вот тебе песку – хуть засыпси! И хватить тебе у буфете рыскать! Ты зуб свой пожалей!

У ей ведь, Ирочка, один зуб тока в роте осталси, так она любя кость етим зубом сгрызет. И нельзя дитенуку конфетку какуя спокойно дать – того гляди выхватить. За щеку сунет – будто ето щека у ей от зуба припухла – и в туалет. Закроется тама, пока усе не пережует. Выходить – как ни у чем не бывало. И хитрющая – по усем углам рыщеть. Ты смотри! – вона у тебе одежда на вешалке! – так у карманах в ей ничего не держи, как к вам бабка является! И бутылку неставляй напоказ! Убери! И чего она на виду у тебе тута стоять, бутылка-то ета? Небося, уже ей наливала?

Не отпирайси! Мене не обманешь! Я жисть свою прожила – многое вижу! Ну вот! Она таперичи иде передрыхнуть – ищи-ка ее свищи! – и снова к тебе на порог винищу хлебать! Будеть просить, нипочем не давай! Ух и злющая становится опосля! Ну есть ведьма! И давиться не хочеть! И как я Ольге завсегда говорю:

– Оля! Милая! Сыпь ей песку скока хошь, но не лей ты ей винищу!

Я Ольге прямо условие поставила:

– Коли бабка жрать винищу будеть, я, как Коля Евгенич не выдержал, уеду к сестре! И перед смертью поживу хуть маленько!

Ну, я пошла, а то у мене тама каша прееть.

4

ОЛЬГА

Ирочка!

Я на минутку.

Алеша! Как сгинул! Так беспокоюсь!

Ни строчки до сих пор! Ни словечка! Что-то случилось! Я чувствую. И Танечка тут еще Киселева, мы с ней как две родные сестры все равно, ты знаешь, приехала со мной посидеть, успокоить...

Ой! Алеша! Алеша!

Это я во всем виновата! Я! Это же я за Николая Евгеньевича пошла! Алеша меня так любил! Только все просил подождать, чтобы мама его согласилась. И надо было...

Не знаю... Всю жизнь его, любимого своего, жду...

А вокруг все злорадствовали:

– Такая у тебя с ним все же разница в возрасте, Оля! Это же временное счастье! Опомнись! Одумайся! Он же – ребенок! Одно дело, когда мужчина намного старше оказывается. Такие браки могут прекрасно работать. Мужчина, уже переживший прежние отношения, способен дать женщине настоящую ласку, нежность, заботу. А когда женщина старше, то мужчина, за редкими исключениями, начинает на сторону глядеть. И вот она мучается, эта влюбленная в него женщина, и, как бы она за собой ни следила,

какими бы благовониями она себя ни поливала, ее все равно выдадут руки. Именно по рукам возраст человека можно определить. По рукам и по шее. Одумайся, Оля! Одумайся!

Все высчитали – сколько мне будет лет через столько-то лет, когда Алеше будет столько-то лет, и сколько у меня будет с ним бед, и какой за все за это мне будет ответ. Расписали даже – как умирать мне придется. Счастливики сами бессмертные! И тут вдруг Николай Евгеньевич с розами. Вокруг все запели:

– Такой крупный ученый! Столько лет жил в Париже! Изысканнейшие манеры! Мамочка – высший свет!

Шаль эту с розами она мне тогда специально связала. И вокруг все поют и поют:

– Прекрасная пара!

И тетя Вера день и ночь над душою стояла – что именно для Алеши я должна за Николая Евгеньевича пойти! Алешу спасти! Что роза ее, этот ее гибискус любимый, такой ей знак подает. Алеша только к нам на порог, она тут же к дереву – ахает:

– Ветви вниз опустились! Поникли.

Я тогда не на шутку уже испугалась: как можно, и правда, такого молоденького загубить! Обрыдалась и – в воду!

Роз после свадьбы, Ирочка, у меня уже не было!

Почти у всех так?

Неправда! У меня с Алешей – будут! До конца наших с ним дней! Алеша – он добрый. Он меня тогда после свадьбы сразу простил. И мама его меня тоже простила, как только я за Николая Евгеньевича пошла. И потом оба они, и Алеша, и мама Алешина, были так рады, когда Николай Евгеньевич от меня все же ушел...

Ну и пускай он теперь на развод подает! Я и удерживать его больше не стану. Алеша моих детей очень любит.

Что ты на меня так уставилась?

Вот только я теперь со страхом на свои руки смотрю, их разглядываю... И тетя Вера не дает мне покою, во все мои дела вечно вмешивается:

– Оленька! Посмотри, как мой гибискус разволновался! Это он опять насчет Алеши нам знак подает. Бьет тревогу.

Она и папу с мамой моей так разлучала...

Ох Алеша! Алеша!

Я, когда с ним, – я в раю! Непомерно так счастлива! И так поэтому тоже расплаты боюсь! Дрожу я за свое счастье! Ты, Ирочка, знаешь, дрожу! Какой-то холодный страх меня вдруг начинает охватывать, и в душе этот рай с самим уже адом в смешенье идет! Эх, деревце ты розовое мое! Эх, розовая ты моя мечта! Голубиная...

5

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка!

Господи! Чего ж это делается-то у нас?!

Да кады же етому конец-то будет? Угроблюся я у их тута.

Коля Евгенич с Киеву приезжал. Ольга как взрадовалась. Наталью с Федем вести и за красненьким побегла. И ржеть, и ржеть с им цельный вечер, как кобыла какая. И бабке оне наливають – а та сатанеет. Я уж и так, и едак бутылку норовлю от бабки забрать. И Ольгу у бок. И стала бабку спроваживать в ее-то комнату. А та упирается и усе к винищу тянется, и из себе представляет, будто это Коля Евгенич не к Ольге, а к ей прямо к самой у гости явился. Во у голову чего себе вобрала! И Ольгиною помадою губищи намалевала, разукрасила щеки. Срамота-срамотищей. Ну есть цирк да и тока! И я стараюся от Коли Евгенича ее оттащить. И Коля Евгенич мене говорить:

– Ничего, Марья Петровна! И вы с нами тоже посидите, а то я пойтить собираюся!

И бабка на мене тута как зыркнеть! Как зарычить! Будто это я, а не Ольга, у соперницах у ей состою. Будто это я Колю Евгенича к себе привечаю и от ей его к себе переманиваю. Себе его сватаю. Вот что значить девушка-то она у нас нетраченная. Не любимши, как следует быть, да не рожамши. И на мене так-то вот вскидывается. Ишо и отпихивать мене начала. Аж в драку.

Да и с Алешкою она такеи же проделки проделывает, как он на порог к нам является. Ты думаешь – чего вот она за ими вечно таскается? Ты думаешь – чего вот она не давала у свою время

Ольге за Алешку пойтить? Да у невестах саму себе представляла! Помешаласи на мужуках!

И Коля Евгенич поднялся из-за стола при таком бабкином поведении и к двери на выход направился.

И так с Ольгой одне и не остались. И как Коля Евгенич за дверь, Ольга у голос. И напустилася на бабку. И вопить. И гребень об ее новый сломала, чтобы та жизнь дала ей наладить. И я их разымаю. А у бабки кулак какой тяжелый. Она же в фисхультуре была! Она же каждое утро табуретку тяжеленную то одною рукой, то другой аж к потолку подымает. На бой тренируется. Я вот ее без конца упреждаю, что не кончится такая ее дела добром. Саданеть ее в одночасье ета же самая табуретка тяжелая прямо у голову у собственную у ее. Саданеть. Стул етот ее проклятуций. А може, и нас саданеть.

Ну, нас-то не жалко! Мы свое отжили уже! А вот если дитенока? Я ей так прямо и говорю:

– Не балуй, бабка, со стульями тяжеленными етими! Прекрати! Доиграесси! Тебе чего? Жизнь не дорога?

И вота – смотри! Иде у мене здоровью нету – туды норовить. По вопухолям. Прямо кулаком тяжеленным своим. Во! Щупай! У мене тута вопухоль какая! Здеся – под грудию! Щупай! Щупай! Не бойси!

Во-во! Прямо здеся! И тута – на голове – шишак какой!

А Ольга ореть. И бабка ореть. И никакой уже нету возможности их обеих перекричать. И пытаюся я Ольгу уговорить:

– Ну Ольга! Ну ты же дитёв побудишь! Ето Федя проснется, подрыгается, а голосу не подасть! А с девчонкою мы усю ночь промаемси!

Ведь девка-то у их – уся у бабку! Хуть и маленькая – а вредна! И усех-то, усех перекорезить! Артиска!

А от соседев стыд какой! Разве ето стенки? Из фанеры ведь сделаны!

Да ишо хужей! Из картоны! Петр мой говорил. И глядь – тута девка-то и взъерошилася. Визжить. И маменька родненькая ей винищу несеть. А нехорошо ето – сызмальства к винищу рабенока

привучать. А девка вкус уже признала. Так каждый вечер и крутится возля бутылки-то. Будто ей конпот ето какой али питье от кашелю. И вот хлебанула и смолкла. Тута Ольга взяласи снова вопить и баб-кину веревочку ищеть. А я веревочку-то с утру ишо убрала и Ольгу пытаюся упредить:

– Ну Ольга! Ну не удумывай ты, чего не следует быть! Ты ету дурь из голове брось! Хватить с нас бабули!

А она на усю квартиру вопить:

– Не хочу жить боле! Не могуууууууууу!

И норовить из квартиры выскочить. А я дверю на ключ сразу посла Коли Евгенича заперла. Я уж их проделки знаю. Изучила.

– И зачем они мене родиинииили?! – ореть и об пол головой убивается!

И я стараюся ее уговорить:

– Ну кто же тебе, Оленька, услышит, окромя Господа? Ну нету тут никого! Ни мами твоей-то, ни папи! Чего ты так над-рываеessi?

А бабка у комнату у свою убралася и закрылася там – не выла-зить. И Ольге-то я говорю:

– Ну Оля! Ну ты сирота! Ну кому ты орешь-то? Ты и мать сама! Пожалей своих крошек! Они у тебе тоже на свет Божий не проси-лися! Не делай их такими несчастными, как сама-то ты есть!

А она захлебывается – ореть.

Схватила я тута икону, кричу:

– А ну! Ставай на колены – молися! Вы усе книжки читаете – много грамотные, а молитвы какой порядком не знаете! Стой ря-дом со мной на коленях и повторяй: «Богородица Дева! Радуйси! Благодатная Марья! Господь с Тобою! Благословенна Ты у женах...»

И у мене святой водицы припасено, и я на ее брызжу и велю ей повторять. И так она стихла, стихла и спать кувырнулася. И спить, спить без просыпу – цельное утро не слышать. Я и Наталью с Федем в сад свела. И бабку накормила. И старая опять захрапела. Ухандакалися обеи. Лежать, дрыхнуть.

А мене не жизнь, Ирочка, с ими! И как же бабка по шишке вче-рася мене опять приложила! Не дотронуться! Вспухла! Смотри!

А чего бы нам, Ирочка, и не жить по-хорошему? Квартера отдельная! Три комнаты! Кухоня! Туалет! Ванная! Мужуков нету! Одне! Сами себе хозяики!

Нет! Не может без мужуков прожить! И усе с маменьками на-ходить.

Вот есть ведь на свете сыновьи какеи порядочныя. Коля Евгенич своей прынцессе каждое утро свежий кефир доставляет. А мой Петр? Разве ему мать нужна? Он четвертую приводит. И такая на сей раз хабальная попаласи. Людмила. Ету не выгонишь. Яздава. Полна пазуха грудей и водку уместе с им хлыщеть.

Яздава?

Яздава – яздовая кобыла. Лошадь. Ее запрягут, и ездить, и ездить она, такая кобыла, километрами. В ей силищи! У деревни у нас ето про девок хабальных так завсегда говорили. Яздава! И куды Петру с такой справиться? Намедни опять заявилси:

– Мам! Дай пятерочку до получки дотянуть!

А я ему:

– Ты же, Петя, со своею шалавою винищу хлыщешь! Нету у мене денег на такую-то делу! Не дам!

А я деньги усе к сестре свожу, и мы их тама от Ивана подале держим. Зашибаеть у нас Иван. Усе пропеть. А племельник у мене до чего справный! Ни капли у рот не берет! На повара хочеть итить. Тока девки ему какой порядочной не попадется. Таперечи девки-то какеи пошли. Хабалки. Вот намедни у метре еду. Сидить девка. Ноги так-то вота растопырила – и уся срамота наружу. И мужшины рядом отвернулися – не глядят. Подошла я к ей, сплюнула на пол:

– Тьфу! – говорю. – На тебе, бесстыдница, платок и прикрой свою розетку!

И усе как заржуть. А она сидить – морда хабальная – и не скраснелася.

И вота ты, Ирочка, ну сама посуди! Ну на что тебе такую юпочку носить? В ей и наклониться к чему нельзя. Усю срамоту видать. И Ольга наша – туды же, а уже у возрасте.

И я ей говорю:

– Ольга! Ты не девочка какая незамужняя! Ты мать двух дитёв! Что ты, как коза какая, сигаешь?

Да ты мене вином-то, Ирочка, не пои! А то совсем я расстроюсь.

...

О! Хорошее. Видать, дорогое. Ольга у нас усе такое-то береть, как Коля Евгенич является.

...

О! У голову ударило. И у ноги.

Ну вот! Напоила, а у мене тама черёд за яйцами занят! Яйцы-то нонче не враз возьмешь!

6

ОЛЬГА

Ира! Ира!

Открой!

Скорее!

Скорее! Алеша вернулся!

Нет! На работу!

Я сегодня опоздала. Из дома выскакиваю – на ходу чулки пристегиваю. Еле в автобус успела вскочить. Влетаю в лабораторию – Алеша! И все улыбаются.

Слышу – поздравляют. Алеша на меня смотрит, а у него глаза – белые. И фотографии по воздуху летают.

Медовый месяц, оказывается, это был у него! Женился!

Женился! Ты слышишь?

Женился!

И вот только теперь слова его до меня начали доходить: «Решил жениться и всё!»

Ну, конечно же! Помнишь? Своей, видите ли, мамочке он твердо скажет об этом!

Ну вот и сказал! Вот и сделал!

Это он мне такие намеки, оказывается, подавал! Не знал – как сказать! Как извернуться!

И вот его все поздравляют. Мне карточка одна в руки влетела: она! Молоденькая! Зубы – ну есть семечки от дыни!

И Танечка Киселева моя, с юности подруга вернейшая, рядом с Алешей стоит, улыбается. И я улыбаюсь. И все его поздравляют! При мне! Прямо при мне поздравляют!

И меня начали поздравлять!

А это со сборником, что у нас как раз вышел! У меня там статья прямо перед Алешиной. С которой я ему помогала. Ему математика не очень дается.

Говорю им «Спасибо!» и к двери иду. И Танечка Киселева, я слышала, шепчет:

– Наконец вся эта жуткая история кончилась!

Я еле до уборной дошла...

Слышу – кто-то стучит. Нервно так. Ой! Затылок у меня – боль такая! И тошнота. Хорошо, не виском об толчок.

Что-то я еще хотела сказать... Не помню сейчас... Совершенно выскочило из головы... Совершенно запамятовала...

Ничего я не помню... Только о нем... Только о нем... Всю жизнь его жду... Всё из рук моих валится.

7

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Милая!

Я вам не помешаю?

Милая вы! Хорошая!

Спасибо!

Вы, конечно, уже в курсе дела. Алеша женился. Оленька сама не своя. Это естественно. Но все к лучшему.

Я не сторонница того взгляда, что все, что в жизни ни делается, все это к лучшему. Нет. Это глубокий самообман. Но в нашем конкретном случае – к лучшему. Оленька этого еще не может понять. Но время – лучший целитель. Я всю жизнь обращалась только к нему и терпеть не могу врачей, особенно педиатров. Очень глупые люди. Помню, у нас на фронте был медбрат. Дотронется до пульса, посмотрит язык – и тут же диагноз. А врач никогда ни черта

не знал. Ой! Простите! Черное слово выскочило. Предпочитаю не упоминать. Особенно к вечеру.

Все-таки у Оленьки не проходило это чувство вины перед Алешей. Она ведь не предупредила его, когда вышла за Николая Евгеньевича. А теперь они квиты. Все приведено в баланс.

Говорят, очень удачно женился. Прекрасная молодая женщина. Из хорошей семьи. Настоящая интеллигенция – девятнадцатый век. И мама Алеши, безусловно, довольна. Вы же мать сама. Постарайтесь объективно подумать! Сколько бессонных ночей должна была провести эта женщина! Сколько здоровья за все это время она должна была израсходовать! А теперь она моментально поправится! Позитивная эмоция – основа выздоровления.

Представьте вот так себе! Подрастают ваши ребята и увлекаются женщинами, которые им в мамашах годятся.

Как так спасибо – не в бабушки?

Что это вы такое несете? На что намекаете?

Дикость какая-то! Глупость! Я не смогу к вам больше заходить!

Не имели в виду?

Нечаянно получилось?

Ну что же! Прощаю! Только думайте все ж перед тем, как рот открываете! Вы же можете так человека ненароком обидеть!

Хотя... Отчасти вы правы, конечно. Бывали случаи на моем веку. Бывали. Бывали.

Да и за примером недалеко нам ходить. Вот эта старуха, что над вами живет.

Да! Да! Валентина Ивановна! Она же в вашего супруга по уши влюблена! Разве не видите?

Это почему и готова она всегда вам во всем помогать. С детишками посидеть. Погулять.

А вы знаете, что о ней женщины по всему кварталу у нас говорят?

Знаете, как они предупреждают мамаш, чтобы те детей своих без присмотра не оставляли?

Да потому что эта старуха – и на Валентину Ивановну вашу пальцем указывают – вот она-то как раз и крадет детей по дворам!

Знаете? Да? Вас тоже предупреждали?

Видите, сколько нехорошего в людях? Недоброго! А ведь она, эта ваша соседка, эта самая Валентина Ивановна, она же из дореволюционного высшего света, я думаю, происхождением. Порода! Осанка! И вот она тоскует, тоскует, травмированная. И хочется ей вместе с вами чаю попить, поделиться, предаться своим жизненным воспоминаниям. Она и со мной иногда, как только на лавочке мы с ней одни остаемся, своими переживаниями за Пушкина делится:

– Как ужасно поступили с Пушкиным! Как жестоко! Как несправедливо!

А ведь и правда же, Ирочка! Милая! Пушкин нас всех так травмировал в жизни! Вернее – его судьба. Какая-то тайна во всем этом кроется. Глубокая, глубокая тайна. Зарыта.

И вот недавно, на лавочке мы вместе с ней одни оказались, оглядывается она по сторонам и шепчет мне на ухо:

– Сталин был ужасный злодей! Только никому об этом ни слова! Ни-ни! Обещаете?

Бедная! Не догадывается, что Сталина можно у нас уже открыто критиковать. И Николай Евгеньевич тоже, между прочим, так страшно его, Сталина, ненавидит! Открыто постоянно высказывается. Вы же знаете, он в лагере был.

Ну да! Вместе с мамой они арестованы были, как только из Парижа вернулись. Из эмиграции. Я ему все же советовала, и не раз, чтобы он воздерживался от подобных высказываний. Пусть хранит все это в душе у себя тоже как тайну. И вы, Ирочка, должны мне сейчас же пообещать, что этот разговор строго между нами останется. Обещаете?

Непременно! Непременно вы должны будете сдержать свое слово! Сегодня ведь в жизни – одно, завтра – другое! Нам никак нельзя настороженности и бдительности терять! Иначе – погибнем!

А у вас тут, между прочим, красненькое раньше стояло! Давайте по рюмочке! За наше общее благополучие! Если только чуть-чуть!

Спасибо, милая! Спасибо! Спасибо!

Давайте! Давайте пригубим! За то, чтобы не случилось с нами чего-либо катастрофического! Чего-либо непоправимого, горько-

го не случилось бы с нами! И пусть Алеша будет счастлив со своей новой страстью! И пусть наша Оленька вернет к себе Николая Евгеньевича и найдет покой в своем сердце! Пусть у нее зарубцуются раны!

...

Замечательное вино! И знаете еще что?

Вот подумайте, какой нелепицей и настоящим абсурдом был бы сейчас их развод с Николаем Евгеньевичем! Я ничего не имею против Алеши как личности. Алеша – прекрасный молодой человек. Я в этом совершенно уверена! Не сомневаюсь! Но сколько недоброго пришло в нашу семью именно через него! Он послужил инструментом. Орудием зла. Глубоко ошибочная связь. И для Оленьки, и для самого Алеши. Когда они вместе – они приносят друг другу только несчастье. Это все изначально прочитывалось. Я не говорю здесь даже о возрасте. Бывают счастливые браки, когда вы счастья совершенно не ждете. Но в нашем конкретном случае!

А вот посмотрите на Оленькину ладонь! Хотя вы, наверное, не понимаете. Нет ни одной линии у нее на ладони, которая соединила бы ее с Алешей. Для счастья нужно очень много факторов. И скорее иррациональных, чем рациональных. И вот в нашем конкретном случае основные факторы отсутствуют. Все – наперекор судьбе! И мой гибискус! Моя дорогая роза! Моя чуткая умница! Не приняла Алешу с первого взгляда. Оленька ничего не хотела слушать. Полная потеря контроля над своими чувствами. Безумная страсть. Вся в отца. Повторение той же роковой ошибки. Володя мог быть так счастлив с Екатериной Николаевной! Я затратила столько сил, чтобы наладить их отношения! Но – бунтарство духа. Вернее, духовное непослушание. Меня же считают за выжившую из ума старуху и поступают наоборот. А в результате – катастрофа. Жизнь, человеческая жизнь! – повисает на волоске.

Алеша, между прочим, сказал, что поменяет место работы. Жест порядочный. Но какой в этом смысл? Это Оленьке надо было бы подыскать себе новое место работы. Полностью сменить, оздоровить обстановку. И никаких ассоциаций, бередящих рану. Щадящий режим. Взять немедленно отпуск, поехать в При-

балтику, где они провели медовый месяц с Николаем Евгеньевичем. Танечка сказала, что Алеша был со своей новой избранницей у Черного моря. В Крыму. А Олечке необходимо прийти в себя, успокоиться, правильно себя настроить и поговорить, когда появились такие прекрасные шансы, с Николаем Евгеньевичем о налаживании их отношений. Главное, контролировать свои мысли и чувства!

Постарайтесь ей внушить это, Ирочка! Я вас очень прошу. Мне же лучше не заикаться.

Ни-ни! Даже няня пользуется большим авторитетом.

Ну что же! Простые люди бывают мудрее. Народная мудрость.

Кто знает... Кто знает...

И если с Оленькой все уладится, если вернется к ней Николай Евгеньевич, если Алеша спокойно переживет все перипетии обострившейся у него ситуации, вот тогда я уже и смогу с чистой совестью подойти к концу своего жизненного пути. Чувствую, мне уже пора, пора!

Пора мне! Пора!

О не надо! Не надо меня в этом разубеждать! Смерть – это фактор жизни.

8

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Господи!

У тебе тут бабки нету?

Ну вот, слухай! Говори, что делать!

Сегодня с утра самой себе говорю:

– Ето усе он! Враг! Сила нечистая!

И к Господу:

– Отче наш!..

Усю молитву прочитала и прошу:

– Господи! Услыши Ты нас, Господи! Прости Ты нас, грешных!

Будем усе по-хорошему!

И к бабке:

– Бабка! Милая! Ты дышишь? Дыши, бабка! Дыши! Я тебе кашу сварила! Иди на кухню! Усе на столе горячее! Жри, тока не устраивай ты свои проделки коварныя! Дай же и людям вздохнуть!

А она лежить – ну есть ведьма. И зуб торчить. Глазы таращить. И усе через цвет етот, розу ету ее китайскую. И названия какая пахабная. Ебискус-гебискус какой-то! Прости мене, Господи! Петя с Людмилою завсегда ржут, как бабка ету названию произносить.

И ето же не цвет, как порядком у людей. Ну – горшочек аккуратенький. Ты его поливаешь, как полагается быть. А ета же цельная дерева. И, тварь она едакая, заливаешь ее водой. И по всей квартире текёт. И топчется она по водище етой, по полкам рыщеть.

И я пытаюсь ее вразумить:

– Ты, бабка, чего? Под себе, что ли, ходить зачала? Водища усюду поналитая! Напрудила стока – океян цельный, озеру какуя! Чаю надрызгаесси, а мене ведь вытирать-то приходится! Ты чего тама у Ольги у бумагах роесси?

И чего она тама по полкам да ишо и по карманам у Ольги роется без конца? Я боюсь – переворошить она усе там у ей. А ведь ето труд-то какой. Ольге за ето пенсию у свою времю надбавлють. Я никогда никакого маленького листочку не выкину. Усе у ящик у столе у письменном у Ольги сложу – говорю:

– Оля! Проверь, не важная ли какая бумажка валяется! И запирай ты комнату на ключ! Ну спортить она тебе усю делу! Ведь у ей вреду-то! Вреду! На какеи проделки она тока не изгаляется!

А ведь и правдать, Ирочка! Вот намердни Ольга чулки свои обыскалася, что Коля Евгенич ей с заграницы привез. Цвет такой малинный и лохмотьями седыми. И тута девка с третьего етажу, знаешь, бесстыжая такая, звонится:

– Ольга Владимирна! Извините! Не могёте вы мене чулочки, что тетя ваша носить, продать за любыя деньги? Ей ведь усе равно, а ето – ну самая такая мода!

И морду кривить так-то. На месте не постоить. Тьфу!

А наша дура – с простиною:

– Ой! Что вы! Что вы! Как я могу продавать? Вы их возьмите, пожалста! Они мене не нужные!

То-то и оно, что не нужные! И как ето Коля Евгенич мог таеи чулки Ольге с заграницы привезть? Срамота-срамотища! Прости-господи ежели тока какая натянеть!

И девке-то я говорю:

– Нет! Не дадим тебе за так чулки ети отдать! А щас бабку вызовем и плати-ка деньгами!

Ето что! Вот намедни смотрю, Наталья наша сидить – шар надувается.

– Ето что у тебе за мечик такой? – говорю. – Грязь усякую, сразу у рот себе суешь? А ну брось!

А девка гундосить:

– Ето мене бабууууууууля!

И что же ето ты, Ирочка, думаешь?

Господи! Ето стыд произнесть, чего она притащила, девушка наша!

Не понимаешь? Да что ж ето ты – замужная женщина – и не знаешь – как у положению не попасть?! Настоящий гандон притащила откеда-то наша бабуленька!

Ну чего закатилася? Ета таеи по ящикам у вас бумаги, навука валяется? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!

Остановися! Живот надорвешь! Бабы во дворе так-то вот тоже ржали!

Ну не старая карга? Игрушки Наталье! Тьфу! Ну увесь мусор, усякуя дрянь, иде шмонаеть, усе обереть. Со всех домов без разбору тащить. А то и с помоики. Полны карманы. У ей сображенья тока насчет одной жратвы осталось и вота ишо около мужуков покрутиться. И Ольгу-то я прошю и прошю:

– Оля! Милая! Послухай ты мене, дуру старую! Снесть етот цвет уместе с кадушкой у детский сад! Пущай тама рабяты вкруг его прыгають! Увесь он свет с окна загораживаеть, и сыплется с его усякая дрянь! И бабка его без конца поливаеть! И льеть воду! И льеть! Вот я пол тока подтерла, мусор увесь тока выкинула, он опять назад тут как тут, етот мусор, валяется, и опять усе так и залито водищею! Ето об чем я и говорю! Ето об чем я и жалуюся тебе без конца! У детский сад ее, ету дереву! У детский сад! Али

договориться с дилехтором – в магазин ее определить! Людям настроению там деревом етим повесить. Хуть маленечко их развеселить. Я уже и Петьке сваму об етим сказала, что убиваюся я у вас тута – грязь за етим цветком по сто раз на дню убирать. Пущай вот мой Петька с напарником в магазин его отвезуть! Мы им за ето на бутылку дадим! Послухай мене, Оля! Послухай!

А бабка тут как ошетинится:

– Цветок етот мене, Марeya Петровна, дороже всего на свете!

– Да знаю, что он тебе дороже Ольги и дитёв! Ты же егоиска, каких свет не видал! Да лучше бы ты со своим ухажором во время первой войны убраласи, чем жизнью свою за ради брата сваво да за ради Ольги, говоришь, положила! Да лучше бы ты не клала ее, жизнью ету свою, – не сгноила бы Ольгину!

А Ольга взялася, чуть что, вопить:

– Оставьте мене в спокое! Нервы мои не выдерживают! Аааааааааааа!

И я ей на ето:

– Да ты на мене так-то не вскидывайси! Я у момент соберуся, и вы тута усе у грязи потонете без мене! А что психуешь ты не через мене, а что Алешка к тебе боле не ходить! Вот чего ты психуешь-то! И говорила я тебе не раз: «Усе мужуки – кобели и сволочи! И им тока одно нужно, а не твои дитёноки! И ты через их, кобелёв, сгинешь! И выкидайте цвет етот отседова! И чтобы светло у вас тута было!»

И как же у мене, Ирочка, вопухоли усе разболелися! Как у сестре нахожусь, ничего не болить! А сюды – стоять тока порог переступить!

И Петр мене говорить:

– Во, мать! До чего ты дожила! И денег-то своих нету! Усе к тетке свозишь – месту себе купляешь! Они тока за деньги тебе и примуть! Приходи к нам с Людмилою! В тыщу раз тебе лучше будеть!

А ето они к денюжкам к моим подбираются!

– Нееееет! – говорю. – Мене не объегорите! Пущай лучше у сарае сгниють!

Ну как же! Она, Людмила ета, яздава, Петра обереть и к другому метнется. Вот таких дураков, как мой Петр, и облапошива-

ють. А ему что? Он себе новую приведет. Спасибо ишо, алиментами не обзавелси. А я через его, дуреня, замуж не шла. У мене, как немец Михаила сгубил, никого боле не было. Я его, сыночка сваво непутевого, на ноги подымала одна безо всякой помощи. А потом у мене хороший мужик подыскалси, так я ему прямо сказала:

– Не подходи близко и к дому дорогу забудь! Ты моему дитенуку папку не заменишь!

И мене самое немец чуть не порешил, что Михаил у партизаны ушел. Да Господь не дал Петра у сиротах оставить. Такая-то жизнь страшенная. Как зачнешь вспоминать – усе у голову лезеть.

И лежишь так-то вот до утру, лежишь, у потолок глаза пялишь, никак их не сомкнешь.

Ну, ладноть, пошла я, а то у мене тама лапша сгорить!

9

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Милая!

Простите – в такой поздний час! Пожалуйста, одевайтесь! Скорее! Вы знаете, какая это была для всех нас, кроме Оленьки, радость, когда Алеша женился. Вполне разделяю чувства его матери. Так нет. Заявился. Вот она – проверка на порядочность! Вот она – проверка на верность! Я ему глазами даю понять:

– Уходите немедленно!

Не уходит. Закрылись с Ольгою в комнате. И вдруг, вся взъерошенная, выскакивает она в коридор. К телефону бросается. Плохо с Алешей! На полу у Оленьки в комнате, глаза заведены, сам весь тоже взъерошенный, распластался!

Какая дикая распушенность с его стороны! С такой сердечной недостаточностью – в прямом и в переносном смысле – прийти в дом к женщине выяснять такие болезненные отношения!

Ирочка! Не забудьте ключи!

Я тихо!

Пришлось вызывать «неотложку». И она рвется с ним. И мы с няней не можем ее удержать. Няня брызжет на нее из своего пузырька. Какая отсталость! Вырвалась все же Ольга от нас. Сильная сделалась. Поймала такси. Вернулась сейчас из больницы. К Алеше ее не допустили. Разрешение только близким. Рыдает, и мы снова не можем с ней справиться.

Страсть!

Страсть, Ирочка! Страсть!

Возраст и страсть! У женщины, что намного старше своего возлюбленного оказывается, развивается сильная, непреодолимая страсть, и она, эта женщина, как гибискус мой розовый, вспыхивает совершенно особым, непередаваемым цветом. Ярким. Прощальным. Но человеческая природа намного сложнее растительной, и страстно влюбленная женщина, если молодой человек ей неверен оказывается, готова на все. На самоубийство. На убийство и прочие преступления. Может новую пассию своего возлюбленного поранить или даже убить. Может и на него самого покушаться. Любви все возрасты покорны. Все верно! Все верно! Но! Но, вместе с любовью, покорны они и преступлению.

Нет! Нет! Нет! Надо оборвать у Олечки в сознании эту связь! Хирургическим путем. В смысле – оперативным. Простите за медицинскую терминологию! Это у меня осталось с войны.

Вы бы видели, что творится сейчас с моей розой! Вся сплошь покрылась цветами. Ветви до предела взволнованы.

Помогите нам, Ирочка! Помогите! Пойдемте скорее! Пойдемте!

У Николая Евгеньевича был прекрасный рецепт – ударить Олечку в момент ее треволнений прям по щеке! Прямо по физиономии!

Да! Представьте себе! Ударить! Иногда достаточно было раза – замолкала мгновенно.

Пойдемте же скорее сейчас вместе со мной и отхлестайте ее там как следует по щекам! В чувство ее назад привести! Ни в какие успокаивающие таблетки я совершенно не верю! Только по физиономии! Да посильней! Посильней!

10

ОЛЬГА

Ира! Ира!

Беда! Тетя Вера упала, и мы не смогли ее с Марией Петровной поднять!

Скорее! Бежим! Я боюсь без тебя. И речь у нее отнялась. Только глазами смотрит.

Скорее! Я так боюсь!

«Неотложку» мы вызвали.

Ну, давай, Ирочка! Одевайся! Я без тебя не уйду. Мне сейчас мог бы и Алеша, конечно, помочь, но он не выписался еще из больницы!

Нет! Меня к нему до сих пор не пускают.

Вот так! Меня не пускают, а ее пускают!

Ну ничего! Я – проникла.

Кто любит – проникнет. Ее вот – пускают, а зато она – нелюбимая!

Ну, Ирочка! Ну давай же! Скорее!

Бежим!

Скорее! Скорее!

11

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка!

Я за тобою!

Пойди-ка! Подсоби нам бабушку поднять! Тряпки под ей сменить! Никак одне не управимси. Жрала-то скока усю жизнь. А таперичи ни крохи принять в себе не может. Ни капли какой. Усе назад из ее идет. Жалко глядеть-то – как мучается. Прожила усю жизнь без болестев. Усе похвалялася, что голова у ей ни разу не кружилася. А тута раз – об пол и хлопнулася! Упражнялася со стульями. Подымала их под потолок. Кружилася как на танцульках. Так уместе с ими и грохнулася.

А я ее об етим упреждала не раз! Не слушала она мене. Думала – лучше усех усе знает. За неразумную, что неграмотная, старуху мене почитала. И вот свалилася.

И прибрал бы ее Господь! Ну, скока она так валяться-то будет? А на Пасоху как хорошо помирать, говорить! Прямо у рай! Да ишо и девушкой! Она тама у розах гулять с анделами будет! Анделы-то, небось, девушек любят! А я Ольге плохая помощница уже становлюся. Сестра мене говорить:

– Марей! Ну, хватит тебе такую-то великомученицей быть! Усе в людях да в людях! Поживи хуть маленько перед смертию! У тебе деньги накоплены! Али тебе у нас не место? Иван тебе стесняться будет – пить бросить!

– Как же! – говорю. – Постесняется он мене! Девица какая красная!

А чего мене, Ирочка, туды к им итить? Он тверёзвый усе равно никогда не будет. Нипочем не поверю. Уж скока раз так вот клялси. И каждый день – ругань. А к Петру – к простигосподи Людмиле етой – шибко она об себе понимает. А морда – ну есть лахудра! Оне с мене усе деньги вытянуть и на вулицу выкинуть. И не приведи так вот иде валяться! Наша-то бабуля шастливая. У своей у комнате, и мы пред ей на цыпочках пляшем.

А Ольге я что? Чужая! Ето хорошо: «Няня! Няня!» – пока я у силах. А случися чего – кому я нужна?! Вот бабка уберетсы – и мне лучше катиться отседова. Може, Ольга какого подходящего себе и найдеть. Ей надоть постарше. Такого, как Коля Евгенич, но токо без маменьки. И вдового лучше. Чтобы жизнь усю понимал. Жалел что-бы Ольгу. И у первую очередь к дитям человек чтобы был. Ну, что ей Алешка етот? У больницу скovyрнулси. Такой молодой и уже с сердцем. За им за самим таперечи, как за рабёноком, уход будет нужен.

Во как бабы-то его, Алешку, угвоздали! А Коля Евгенич? Ему жанитьба совсем не подходить. Он до Ольги-то и ни разу не был жанат. И не привыкший потому слободу свою так вот взять и кому задаром отдать. А тута на его обе бабы как разом запрыгнули – и Ольга, и бабка. Да и мене тоже в етим же самом начали упрекать, что я Колю Евгенича у их отымаю. Что я сама к ему сватаюся. Мене ишо и винять, что Алешка сбежал!

Ну, конец таперичи пришел усеу етому делу. Вейси, вейси, веревочка, а конец ей будеть!

Давай! Одевайси-ка, Ирочка, поживей!

И как оне разом-то хлопнулись! И Алешка. И бабка. Не мой ли черёд – за ими? Как сглазил нас кто! Ольга усе черного глазу боится. Тока за голубыя тебе и пущает. А у самой – чернущие. У зеркалу глянетъ – пужается. Начнетъ вдруг похваляться – какеи небесные они у ее. Совсем уже чокнуласи. Ето вот у Коли Евгенича – небесные. Васильки. А у бабки – кошачии. Как у мене.

Ну, давай! Чего замешкалася? Нерасторопная какая становисси! Ета наша дела – старческая – на ногах не стоять. Дохтурша моя говорить:

– Вы, бабушка, совсем больная сделалися у нянечках! Вам такая напряжения не подходить!

А как же мене Ольгу-то бросить? Еле-еле ведь уже ковыряется. Под дереву сядетъ и стонетъ там, стонетъ. Тихонько. Жалобно так. А то и вовсе умолкнетъ. У шалю закутается, что с розами, Коли Евгенича мамашка связала, и скрючится так-то вот. Подойдешъ к ей, спросишь:

– Оля! Ты жива ли тута?

А она сидитъ – глаза заведены – ну, слышу – еле, а дышитъ. И я ей говорю:

– Оля! Детка ты моя милая! Никакого Алеши тута нету! Шалю ету тебе Коля Евгенич дарил! Ето он тебе обнимаетъ! И роз-то на дереве нетути уже никаких!

А она еле, а шепчетъ:

– Нееееет!.. Алеша... Здеся он... И мене любить... И розы...

А про Колю Евгенича – как не было! Так они и завсегда поврозь-то спали. Какая ето замужества? И я ей говорю:

– Чего же ты дитёноков забросила? Мнимания не обращаешь? Иде же у тебе материнское? Усе растеряла ты, дура ты дурой, телёма, через мужуков етих чертовых. И бабка лежить – помираетъ. Нам же не до етого. Выбрось ты мужуков етих своих хуть на ету самую времю из голове! Вот останесси одна. Дитёноки у школу пойдутъ. Глядь, какой тебе подходящий и найдется. Тока за такого иди, чтобы маменьки не было!

Ну, оделаси?

Пошли, телёма! А то бабуля тама у сиках плаваець у своих. Ни есть, ни пьеть – и откеда тока берется?

12

ОЛЬГА

Ирочка!

Я на минутку.

Посоветоваться.

Разбираю я сегодня бумаги. Глаз вдруг упал – статья, над которой мы с Алешей вместе работали.

Поговорить мне с ним? Пускай под своим именем опубликует! А я свое имя – снимаю!

Какие амбиции? Разве в этом смысл жизни?

Смысл жизни?

Ну! Ничего нового ты от меня не услышишь. Смысл жизни – это сделать любимого человека счастливым! Отдать ему все – вплоть до своей собственной жизни! А статья – это мелочи! Чепуха! Алеша сейчас так несчастен! Да еще и математика ему не очень дается. А эта статья поднимет его научный авторитет. Его научную репутацию.

Я подумала даже, что вообще все недоразумения у нас с ним из-за математики получились. Я была слишком требовательной. И в то же самое время слишком наивной. А можно было и без всяких математических методов обойтись. И были бы мы с ним сейчас вместе! Главное – это не разлучаться! Держаться вместе так крепко, чтобы никакая сила не могла разлучить!

Знаешь, вот сейчас возьму и в библиотеку поеду! Алеша там! Я уверена. В больнице его подлечили, а в библиотеке – спокойно. И жена не мешается. Надо же ему где-нибудь от нее отдохнуть. И вот я надену шаль, воздуху наберусь и – в зал!

Нет! Это Алешина шаль!

Нет! Это его мама мне в подарок связала!

Ну мне же лучше знать, кто мне что подарил!

И Алеша, он эту шаль как увидит, сразу поймет. Это же символ нашей любви! Это же наша система сигнальная! Знаковая!

И тетя Вера так рада, что я в этой шали! Мы теперь с ней только глазами общаемся. Лежит и показывает, что довольна она наконец. Она и поправится так гораздо быстрее. «Позитивная эмоция – основа выздоровления!» – ее же собственные слова. И мы с Алешей опять будем вместе. И уже на всю жизнь. И у нас будет свадьба. И я всех на нее приглашу. И друзей, и врагов. И пусть они меня поздравляют! И первую приглашу – Таню! Нет! Тебя! Тебя как верного друга я первую приглашу, а ее – как врага!

Потому что врага надо любить!

Нет! Прости! Николая Евгеньевича я первого приглашу! Мы с ним теперь такие друзья хорошие стали! Мучились, мучились, и все у нас с ним вдруг дружбой закончилось!

Боже! Прости!

Прости меня, Ирочка!

Я знаю, что обманываю себя! Я же на самом деле все понимаю! Все вижу!

И тетя Вера не выздоровеет. Совсем ее роза увяла. Ветви сникли. Листья и лепестки осыпаются...

Как так не поливаем?

Поливаем, но никакого эффекта. Всё только наоборот.

Ну, Ирочка, я побегу.

В библиотеку. Алеша меня там ждет. Статью эту я ему подарю.

А на свадьбу приглашу – только добрых. Зачем они мне – враги? Враги и предатели.

13

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ну, Ирочка!

Преставилась наша бабуленька! Вера Александровна наша! На самое-то на Пасоху отошла!

Лежить ето она сегодня с утру – еле дышать. Я руки воздела – у небеса обращаюся:

– Господи! Услыши Ты нас, Господи! Забери Ты бабулю к себе! Ну что же ето так она мается? Коли свалилася у таком уже возрас-

те, так лучше и побыстрей отойти. Самой не мучиться и не мучить других. Пушай она тама у Тебе у рае гуляеть! Ослобони Ольгу!

И бабка тут рот как разинеть. И глазами тоже как зыркнеть.

– Бабка! – говорю. – Тебе чего? Водички, что ли, милая, влить? Бедная ты наша!

А она как захрипить и – преставилася!

И Царствие ей небесное! Хорошо ето – Ольга спала. Я и кликнуть ее не успела. А то б она совсем ума лишилася. Усе боялася смотреть, как бабка помирать будеть.

– Ну, Вера Александровна, родная ты наша бабуленька, на девятый денек да на сороковой исполнишь усе, как полагается быть, а то и сразу, коли на Пасоху ты отошла, полетишь у рай у небесный, и никому ты, бабуля, мешаться здесь уже боле не будешь! Отмучилася ты, бабуля. Отстрадала свое да отмаялася.

А хитрющая, и правдять, какая! На самое-то на Пасоху да ишо и девушкой отошла! Вона бабы у сестре у деревне, как сойдутся, усе об мужуков тоже брешуть, что стыдно и слухать – какея оне проделки проделывают, коли им мужука не хватает. Даже и сказывать тебе не хочу. К чертям их собачиим!

А одна женщина, хорошая, вдовая, никогда ей мужшина не требовалси – у сорок лет вдруг потребовалси. А она бегать по мужукам не может и советы бабии тоже принимать не может – шибко верущая. И два года так вота страдала, и батюшке на исповеди призналася, и молилася сильно, чтобы враг оставил ее и упредь чтобы ее боле не мучил. И вдруг раз – и оставил! И слава тебе, Господи! Дошли молитвы.

Ето что! Вона у сестре у деревне один старик помирал и зоветь свою старуху.

– Груша! – кличь ее, хрипить. – Помираю! Положи, Груша, родная, руку поскореече на... – и прямо на етот на свой на струмент указуеть.

Ну вот – закатиласи! Правду тебе, Ирочка, говорю. Тебе смех разбираеть, а человек навеки с подругою жизни прощается.

– Положи, – шепчет, – Груша, родная, напоследок свою руку, сильно тебе прося...

И положила Груша ему руку так-то вот прямо, и он как залился слезьми.

– Не отпускай, Груша, родная! Не отпускай! – хорошо это, чисто так произносить.

Дернулси и помёр!

И Груша усе плакала по ему. Хуть и страдала от его усю жизнь, и по женским болела из етого, что так по плоти промучил ее, а человек был хороший, сам от такой своей природы страдал. Бес-перечь ему требовалось.

А и правдять, старый хрыч, как окочурилси! И смех, и грех! Вот посмейси!

И наслухаешься так-то вот разговоров с подружками по двору, и к батюшке на исповедь подойдешь, и не знаешь, чего и сказать-то ему в покаяние.

А батюшка у нас красивый такой, молодой, торопить начинает:

– Ну чего, раба Божия? Какая тама у тебе грехи? Давай, выкладыв живеече, а то народу-то – смотри скока!

И я ему:

– Какая же ето у мене грехи, отец Георгий? У мене тока боленсти да слезы. И сирот я помогаю воспитывать через силу. Не поймешь – кто и отец-то у их. То ли тот, то ли етот. И какой рабёнок и с кем боле сходству имеет. Тока какая же ето, что один, что другой, на деле отцы-то оне получаютс? Толком об детях ни один, ни другой – не заботются. И не приласкають рабёночков никогда. Мнимания никакого на их не обращают. И мать – вот-вот и скопытится. И бабка какая вреднущая.

– Ну, бабушка! Може, упрямишься. Настаиваешь на своем. Усё по тебе чтобы было. Болтаешь чего лишнего с подругами своими там по двору али бабусю вашу забираешь!

– Да бываеть иногда, – говорю, – понервничаем уместе. Ето ведь жизнь. Ето и у каждого у семье такое бываеть. И у тебе у самого не усе-то, небось, гладко идеть.

И он у нас хороший такой, батюшка-то, улыбнется и скажет:

– И то верно, бабушка, говоришь. Усе мы люди грешныя. Вот и прощать друг дружке должны. Не носить у сердца злобы. Помирать усе будем, и откроется тама – как кого забирали.

И я с им соглашаюся:

– Вот и за мене Петька – ой! – как ишо ответить, что негде матери и помереть получается!

И сходишь так-то у церкву. И так хорошо, лёгко станется на душе. И хочу Ольге ишо подсобить, пока силенки мои дозволяют. Тока прошу усё же ее:

– Ну, Ольга! Ну, послухай ты мене, дуру старую! Ну, отошла твоя тетя Вера. Вера Александровна наша. Нету ее на етим белом свете уже. Ето тока покойник лежить, а Вера Александровна спешить у рай. И у ей розы тама будуть получше етих. Так что выкидай ты цвет етот отседова – дереву ету сухую, и станеть у нас светло и просторно, и легче нам усем будеть у квартире дышать!

А она как заореть:

– Оставьте цветок в спокое, пожалста! Тетя Вера завещала цвeток беречь!

– Да его ни у детский сад, – говорю, – ни у магазин не примуть таперечи. А тока на помойку что его снести!

Весь, Ирочка, свял и высох цветочек-то! Так тут зараз и бабуля слегла – помирать зачала. Усе, бывалоче, про вещего про Олега болтаеть, как принял смерть вещей Олег от коня от сваво – от товарища верного. А сама вота от дерева от сваво приняла, что здоровью ей усю жизнь хранил, верным ей товарищем был – куст етот ее драгоценный! А как стал помирать, так и бабулю, видать, с собою решилси забрать. Не захотел с ей расставаться.

Вот так! Кустик завял и бабульку с собою уместе забрал!

Да вота и стул ей вдобавок тяжеленный ишо по голове приложил. Тоже друг он ей был разлюбезный.

А чего же ты думаешь? Кого мы у сердце у своем пригреваем – оттеда бяда завсегда к нам и идеть. Думаем, от врага бяда к нам идеть, а идеть она к нам от друга от верного.

Ну, не всегда! Соглашаюся. Есть у жизни верныя люди. Твой вот мужик заботливый, преданный. Но и ты ухи свои держи настороже и приглядывай! Оно у жизни так вот нередко бывает: думаем одно, а на деле – наоборот получается.

Ето давно, помню, было. У деревне у нас, молоденькая я была, подружки бегутъ.

– Манька! Манька! – кличуть мене. – Бежим! Скорее! У красном уголку консервы будутъ давать! Артисты из кеятров приехали!

Оказалось – концерты! Вот тебе и консервы! А у нас уже слюнки текутъ!

Эх, молодость, молодость! Будто учерась усе было!

Ну, ладноть! Пошла я, а то тама бабуля обидится. По-хорошему усе сделать надоть – проводить ее, нашу артиску, у последний у путь, как полагается быть.

– Прости ты нас, глупых и неразумных, бабуля! Ты тама нас слышишь? Прости! Не умеем мы у свою время человеку нужное, ласковое слово сказать! Сами себе врагами становимси! Так что прости! Не сердчай и усе же прости ты нас, грешных, бабуля!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

ОЛЬГА

Ирочка! Ира!

Ты слышишь?

Роза у нас расцвела! И все ветви ее поднялись! Ожили! На девятый день! Точь-в-точь на девятый!

Да! Поливали! А все равно она сникла, розочка наша, как будто почувствовала, что тетя Вера уходит. А как тетя Вера ушла, так стала она у нас уже совсем сухая, безжизненная. Ты знаешь. Все видела. Я испугалась. Уж не мне ли это она, наша розочка, такой знак подает? Уж не мне ли это судьба засохшей смоковницей стать предназначила?

Ну а как? Ничего ведь толком из меня так и не вышло! Ни в науке, ни в любви, ни в замужестве, ни в материнстве я, по-честному если признаться, не состоялась! Вот он – мой ад! Вот он – мой страх! Вот оно – мое падение! Ужас!

И вдруг раз – и на девятый день – ожила!

Нет! Нет! Она сникла совсем, наша розочка, как тетя Вера упала и вместе с ней умерла! А теперь – на девятый день – ожила! Как воскресла!

Знак хороший какой, Ирочка! Милая! И мне хорошо на сердце так сделалось!

И села я около своего ожившего деревца розового. И Алеша со мной. И райская радость. И пение...

2

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка! Твой дома?

Нету? Ну, слухай!

Тока у нас усе порядком пошло, получшала наша красавица, шалю с розами скинула, об Алешке – как не было, напьется с утра кофею и у бумагах роется у своих, так что я про себе говорю:

– Ну, слава тебе, Господи! За ум взяласи и так помаленьку зачнеть на работу ходить!

Как вдруг батюшка у нас заявился. Алексеем тоже зовут. Ольга говорить – у вас познакомилася.

И я ей:

– Не ври, – говорю, – Ольга! Не надоть мене так обманывать! Другой у их батюшка есть – Александр по имени. Не раз я у их его видела и не раз с им разговаривала. Красивый. Мнимательный. И как бабы у церкви, сама же ты мене, Ольга, рассказывала, как ети бабы у церкви к ему пристають, к Александру, что Христа явреи распяли и что сам он – яврей, а вовсе и не православный!

Да, Ирочка! Да! Сама мене Ольга рассказывала, как бабы у церкви к ему пристають, к батюшке к вашему, что не православный он человек и что очень оне об етим волнуются, и что он им в ответ такую объясненью дает: «Бабушки, милые! Распяли, тока не ети! И усе-то мы Христа каждый день распинаем своими грехами, и должны об етим глубоко задуматься! Христианский я человек! Христианский! Не беспокойтесь об етим, пожалста!».

Ну ето так Ольга рассказывает! И что бабы так от слов его взрадовались! Оне ж его любят, батюшку-то сваво Александра! А им про его такое на уши навесили.

А как же им и не любить-то его – человека такого? Ну, Ирочка! Ну ты сама посуди! Тем боле, что батюшку.

Вот и Ольга тоже к ему привязаласи, про рай да про ад выпытывать у его начала. Он как выходить от вас из подъезду, так она его тут же и стоять, караулить. Про дереву тоже нашу пытается его. То помираетъ дерева ета у нас, то вдруг оживляется и на всех на нас свою влиянью имеет. И вота приходит красавица наша домой – и плачетъ, и радуется, и пересказывает мене, что ей батюшка говорил. Уся ведь ишо и оттеда, из дерева, из самого раю, наша бяда зачалася. И правдать, причем тут: яврей – не яврей? Тама уже мы усе согрешили. От еного дерева, кода было не надоть, яблук накушались. Таперици дожидаемси Спасу.

А я вот, неграмотная, а и про бабкину дереву зараз прямо учуяла, что нехорошее через ее чегой-то у нас дома творится. И голова у Ольги аж прямо от ее кругом идетъ. И он жалеетъ ее, батюшка-то ваш, Александр. Стоить – терпеливо выслухиваетъ, утешить старается. Жалостливый он. Заботливый. Усем улыбается. Завидить мене, так и суетъ у карман шоколадку да денюжку. Бываютъ же люди! Глазы его завсегда добром так и светются!

Ну! И батюшки – оне, как и люди, разные тоже бываютъ! Не ндравится вот мене, Ирочка, что Алексей етот, батюшка, к Ольге зачастил чересчур. Не новый ли ето какой ей Алешка взамену нашелси? Уж слишком он к Ольге повадилси! И опять – молоко на губах не обсохло! И как ето ей, взрослой женщине, с юношами, с молоденькими совсем, аж мальчишечки, иметь делу несовестно? Уходять у комнату, затворяются тама и усё говорить, говорить, говорить. Выйдутъ на кухню чаю попить, и тоже об етим же, слышу, толкуютъ:

– Рай. Деревя. Сад. Смертию усе умираем из етого, что не захотели Бога послухать мнимательно, а послухали злую силу, нечистую, вражию!

А иной раз аж прямо строго ей скажетъ, что усё злое ишо и от нашего егоизму идетъ, что тока усе про свое да про свое мы пе-

чемси! Об себе! Об себе! А надоть вот человека другого и пожалеть, и послухать, утешить, сделать ему, чего нам по силам, хорошего, доброго. Хуть маленько, а в помочь. Вот так.

А она – опять за свое! В одну у ей уху влетаеть, из другой вылетаеть. И чего она голову ему так тоже морочить? Нехорошо ето как! Могла бы и у церкву доехать.

– Не могу! – говорить. – У церкви заметють – с работы выгонють!

Не знаю. У нашей у церкви, у сестре, полно молодежи, усе с бородами, с порфелями, и никто не боится.

– Нет, – говорю, – Оля! Тебе с работы безо всякой церкви само собой выгонють, что ходить ты на ее перестала! Совсем ты ее, свою работу, забросила!

И что ета, Ирочка, за работа такая, что ходить на ее не надоть, а деньги такея плотють? Ну, раз булетень взяла, ну, два! Как же на ето начальства-то смотреть?

– Я, – говорить, – Марья Петровна, вопыты проделываю на дому! И цвет етот, что вам така мешаешь, для навуки много пользы даеть! И не надоть вам об етим совсем беспокоиться!

А цвет-то, Ирочка, и правдять, ожил! Не сойти мене с етого месту! Пойдем к нам! Посмотришь!

И как батюшка за дверь, красавица усаживается опять под его и песню затягиваеть. Зачинает тихонечко, а потом громше. Громше. И усе про любовь. Усе про любовь. Про дереву снова – про клен, про березоньку да про рябинку! Про одиночеству. И клен-то у ей тоже опавший. И рябинка-то у ей тоже качается, как и сама-то она, наша Ольга, качается, бедная, что к дубу к сваму никак не может перебраться, сироточка.

Ну! И я ведь, Ирочка, ети песни тоже люблю. Тоже у деревне мы пели и про березоньку. И про рябинку. Про дуб. И мене оне, ети песни, за сердце хватають. И мене оне тоже и грусть, и радость дають, но не поздней же ночью их у весь глас зачать распевать, кода у квартерах стенки фанерныя! И вот слезы у ей уже течь начинают, у Ольги. А то вдруг заржеть – не знает, куды ей деваться от радости.

– Ольга! – говорю. – Ольга! Ето такея ты у дерева у сваво вопыты по работе проделываешь? Ведь ночь уже! Люди добрыя усе спать! И соседев, и дитёв – усех перебудишь!

– Уже и полночь близится, а его усе нет! Усе нет! – как у весь голос вдруг завоетъ опять! Ждетъ, что усе же к ей он заявитси!

А то вдруг заржетъ. Ну что ето за хабальная за такая вдруг сделаласи? Блажить, что Алешка ето у ей тута был – заявилси, про любовь докладал.

– Да ето, може, и Алешка тут был, – я ей в ответ, – да не тот! Другой ето Алешка-то! – говорю. – Батюшка ето! Отец Алексей тута был у тебе! И ты ету дурь из голове брось! Чего он тебе, етот отец Алексей? Жаних, что ли, какой? Он – батюшка! Духовный он человек! Ты чего врага под левою грудию у себе тешишь?

И ты, Ирочка, отца етого, батюшку, упреди! Пущай у церкви ее принимаетъ и тама ей советы даетъ, а по квартирам к женщинам да тем боле, что к одиноким каким, нечего ему и шататься. Ну правдаты! Ну нехорошо ето! Нехорошо. Люди усё примечаютъ – друг дружке рассказываютъ.

Да как бы ему ишо и бяда не случилась от етого, батюшке-то! Она ведь, Ольга-то, его етим позорить, что он из квартиры ее не вылазетъ усю последнюю времю. До начальства до его разговоры дойдутъ. На чужой роток не накинешь платок! Народ-то у нас злоязыкий!

Вот так! То-то и оно-то! Кумекать надоть у своей у башке и об другом человеке у жизни, а не тока что об одной об себе горевать!

Ну, ладнотъ! Заговорилася я опять тут у тебе, а у нас в тувалете бочок текетъ! Девка у толчке, ежели не уследить, платъи своим кукам стираетъ! Игрушку нашла! Не отгонишь! Усе платъи куклины спустила вчерася – тувалет засорила. И сказать ни слова нельзя. Тут же мамочка родная и взвинтитси:

– Не хочу, чтобы дети у ругани росли и усе чтобы им под запретом! Пущай играетъ, ежели ей така ндравитси!

Ой, и тяжело ей с девчонкой у жизни придется! Федя – тот хороший рабенок. Покладистый. А девка – уся у бабуку. И нервы мои с ей не выдерживаютъ. Так что катиться мене от их, Ирочка, надоть! Катиться! Куды подале – катиться! Спокой – дороже.

3

ОЛЬГА

Ирочка!

Ты не представляешь!

Сегодня Алешу я видела!

Боже! Как он одет! Такой позор! Дорогой, дорогой костюм! Я даже решила, что спутала. Что это не он. Не он это! Нет! Не он! А потом вгляделась получше – он! Точно – он! Ужас! Позор!

И ее видела. Плечики узкие. Талия – как у жены Пушкина, Натальи Николаевны. А книзу – богиня индийская. Вот у него и встреча, Ирочка! Вот и нить! И судьба! А мне плаха-погибель! А я его все математикой мучила! Не поправить теперь! Не поправить!

Красивая?

Я?

Очень красивая?

Опять ты нахваливаешь меня!

Ну какая красивая? Ну что ты такое несешь?

Ну! Было дело когда-то...

Ну какая я Элизабет Тэйлор?

Ну перестань!

Ну, а ты тогда – Брижит Бардо просто вылитая!

Да... Были мы... Были мы когда-то далеко не дурнушки...

А знаешь, красивой женщине страшнее стареть, чем некрасивой!

Я скоро вообще от людей начну прятаться. Я же к их восхищенным взглядам привыкла! К вниманию! А теперь...

А теперь начала я стесняться...

И страшно отчаиваюсь... Так хочется, чтобы кто-то еще хоть разок позвонил... позвонил... и... Ну чтобы кто-то еще хоть немножечко позаботился...

Неужели жизнь уже кончилась?..

Пойду я, Иришенька!

Ничем ты мне в такой ситуации уже не сможешь помочь! Не спасешь!

И никто мне уже не сможет помочь! Не спасет!

Пойду! Надо мне Наташеньку с Феденькой покормить. Спать надо их положить. Марии Петровне все хуже и хуже становится. У нее уже и руки трясутся. Даже тарелку на стол поставить нормально не может. Все на детей опрокидывает. Недавно на них суп пролила. Все ручки им обожгла. Мне с ней так трудно становится.

И если б только она одна! А то они все уже переселились ко мне. И Петр, и Людмила, и даже друзья их – товарищи. Стройматерьялы развозят, а у меня – перекур. И попробуй – бутылку им не поставь! Да не одну! Мария Петровна обидится – не так принимаю.

Ты думаешь, ее, и правда, ждет в деревне сестра? Мне лично эта ее сестра каждый раз, как приедет, объяснять начинает, почему Марии Петровне все же лучше у меня оставаться.

Попробуй, Ирочка! Попытайся, пожалуйста, как-то убедить Марию Петровну, чтобы она к сестре переехала! Уговорить как-то их! Настоять!

Да я и так, и сяк уже пробовала. А напрямую – страшно обидеть боюсь. И, между прочим, никакого я права уже не имею при детях ее держать! Она ведь желтеть уже начала! Ты заметила? Это же очередная трагедия на меня надвигается!

4

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка!

Неладное с Ольгой творится. Батюшка Алексей вдруг исчез – наша опять захандрила, и я ей говорю:

– Ольга! Что это ты петь перестала? То каждую ночь консервы, как в кеатре каком, развела – не надоть и телевизира, а тута – на тебе, опять нос повесила!

Ну, давай, давай повторю тебе, Ирочка, по складам:

– Кон-сер-ты! А то думаешь – не знаю. Нарошно посмешить тебе, хохотушку!

Ну, ладноть! Погоди! Слухай дале!

Повадилася наша кулёма по вечерам кудый-то гонять. Каждый так вечер гоняет и назад на такси прикатывается.

– Оля! – говорю. – Оля! Ето скока же ты денег просвистишь так-то!

И рыдаеть опять. До самого до утру.

– Оля! – говорю. – Ну ведь ето стыд-то какой! Ну себе ты не жалеешь! Ну нас с дитями ты не жалеешь! Ну пожалей хуть соседев! Им-то, бедным, за что? Они на работу каждый день не спамши так ездють. Ето ты у нас вольная такая, хошь – идешь на работу, хошь – нет, а у людей усе порядком. Что же ты конфузишь себе так-то? Соседи на тебе пальцем указывают.

И знаешь, проговорила она мене. Вон оно что оказывается! Под окны к Алешке гоняет! На первом етаже ведь квартера у их. Ждутъ обмену. Ну ни стыду у ей никакого – ни совести.

– Ето у тебе, – говорю, – чести никакой своей нетути. Как же ето ты дозволяешь себе глядеть, как оне тама цалуются да милуются? И что ето ты себе так растравляешь? Ты же совсем голову потеряешь. У тебе дети малыя.

Говорить, усё арбузы едятъ по вечерам.

А какеи у ету время арбузы могут быть? Чего ей тама мерещится? Садятся, говорить, с маменькой у канпании. Сама молодая – сверху шупленькая, и подержаться-то, видать, тама не за что, а книзу – наоборот. И Алешка уже на стуле не помещается – раздобрел. Ну, ето он у Ольги ишо разожралси. Вота сердце у его и не выдержала. Жрать поменьше надоть. А Ольга наша за мужуков усе, как ты знаешь, отдасть. Окромя сваво дерева.

– Ольга, – говорю, – Петя с Людмилою квартиру новую получили. Верней, комнату. Давай им дереву на новоселью свезем! Им так твоя дерева ндравится! Да вот и дилехтор из магазину интерес к твоему дереву проявил. Готов неплохую тебе денюжку заплатить – стока ведь лет твоему дереву много! Драгоценная! И денюжка ета тебе не помешаетъ совсем. Туды-сюды на такси бесперечь ты любишь гонять. Подкатить у любом случае Петя с напарником грузовик – и свезуть оне с глаз долой твою ету дереву! Очень уж ты страдаешь от ей! И так у нас хорошо тоже, слободно тут станеть. И голова у тебе

ослобонится. Бабуля ведь так и так у рае гуляет. Там ей ебискусов етих цельными рощами! И усе со розами со душистыми да и самого разного цвету! И красныя есть! И белыя! Желтыя! Розовыя! Как на подбор!

– Нет! – говорить. – Ето вы, Марeya Петровна, к мене подбираетесь. Я усе вижу и усе понимаю. Возьмите, чего хотите, из небели, бокалы какея, вилки да ложки, а ета дерева очень мене дорогая! Именно что драгоценная! Вы же знаете!

И вотa взяласи строчить там чегой-то.

Так что же ты думаешь?

Призналася! Письмы – Алешке!

Ну, тутa я уже совсем возмутилася:

– Ну, Ольга! Ну что же ты делаешь? Ну оставь ты мальчишку в спокое! Совсем ты его загубишь!

Вот бедный парень! К такой бабе у руки попалси! Она ему спокую не дасть и себе тоже загубить! Да ишо и матерю его раньше времени у могилу сведеть! У гроб.

Вот такеи дела у нас, милая!

Ну давай! Давай! Пригублю! Може, на душе чуток станеть полегше!..

...

Ну вотa! Ране от бутылочки шла мене большая веселия, а таперичи грустно становится, горько...

Ну! Я пошла! А то Ольга, красавица наша, у последнюю время спичками начала забавляться. И прям при дитях. Свечки по усей квартире расставила. Так и дом подожгеть! И девка туды же. И Федечка. Усе мы у могилу тода загремим-сковырнемси, горелыя.

– Каково же ето рожна, – сурово я Ольге так говорю, – ты за спички взяласи? Верёвоки тебе не хватаетъ?

Я ведь, Ирочка, одну спрячу верёвоку-то, она тут же другуя себе заведеть! Да от мене ее спрячетъ! А я ее усе равно разыщу и насчет спичек Ольгу опять упреждаю:

– Держи, Оля, спички у своем у кабинете! При дитях и не вздумай! Опасно! На кой ты их нарожала тода – дитёв-то своих? Чтобы жизнью с малолетству им загубить? Нет! Катиться мене надоть от-

седова – от тебе! От греха от какого подале мене надоть катиться, и правдять!

Подале-то вот подале, Ирочка, милая, мене надоть от Ольги катиться, да тока куды? К сестре да к мужуку ее, забулдыге, что денежку мою оне там поджидают? К Петру да к бабе к его, прощелыге, Людмиле, что и оне тока денежку мою там тоже ждуть? А как выжмут усе из мене – так зачнуть скандалы устраивать.

Ну, и не вражина же я и сестре-то своей, и сыночку. У мене за их тоже ведь сердце болить, и не хочу я никак спортить им жизнь – больная да старая! Ето почему нельзя мене туды к им, Ирочка, и порога переступить. Да была б и здоровая – тоже нельзя. Кого крепше любишь – подале надоть держаться, не мешаться чтоб у их под ногами! Не мучить! Не мучиться и самой! Слободно дышать чтобы каждому было! Слободно!

Вота она и жизнь горемычная наша-то вся ! Страшенная! Вото оно и горе-то наше! Злосчастье! Что и к самым-то людям любимым у жизни – нельзя нам к им поближе и на шаг подойтить! Иначе загубим! Нельзя! Нельзя.

Ну конечно! Об етим я и говорю! Дали человеку чтобы слободно дышать! Над душою у его чтобы никто не стоял! Волю чтобы свою ему никто не выказывал! Дал дыханию ему чтобы слободную! Воздух! А мы ведь свое уже отслужили. Родили. Кормили. Растили. Остались одне и плачем об их. Переживаем. Оне уже взрослые, а для нас оне маленькия. Тока бы с ими страшенного ничего не случилось – такая остается ишо забота у нас! И волнения! Переживания.

Да не уговаривай ты мене! Усе ведь я вижу. Усе-то, усе-то я вижу и чувствую. Чую. Избавиться от мене и Ольга вота тоже ищеть ходы. Потому и я ей помехою стала. Ненужная.

Ето ишо и за бабулю мене такая тоже наказанья идеть. Уж как я ее стращала-то, бедную, что ненужная стала она никому! Таперичи вот и пришел мой черёд такой же кусок проглотить.

Ну, не совсем усерьез я и бабулю-то нашу усе же шпыняла-поругивала. И не совсем усурьез я ее и на тот свет тоже спроваживала. И не совсем усурьез предлагала я ей на шее потуже петлю затянуть. Усе ето было и для кеятров-теятров да празднику. Для представления. Для консервов-консертов. Не усе ж ведь и слезы

нам лить! Да и не составить так много греху от усега сердца нам иной раз посмеяться! Порадоваться!

Нет! Нет! Нет! Вина мене боле не лей!

Хватить с мене и на донышке!

Ну, если капельку!..

Вота...

Спасибо тебе, хорошая ты моя! От усега мово сердца спасибо! Никода не забуду, как уместе с тобою мы, Ирочка, усе ети годы смеялись да плакали! Да как уместе с тобою мы усе ети годы друг дружку поддерживали! Да как усе ети годы мене Игорь твой у карман тоже денюжку определял! Так вот на похороны у мене потихонечку тоже и от вас добавлялося! Немножечко ведь мене у етой жизни подышать-то осталось...

Ну, я пошла! Чего слезы-то лить? Слезами горю не поможешь! Вот так-то, родимая Иринушка ты моя! Отплакали усё мы своё! На увесь белый свет откричали!

Пошла я! Пошла! А то Ольга дитёв уместе с собою, и правдять, там подождеть!

Да не плачь ты! Не плачь! Не печалуйси! На-ка вот платочек тебе! Чистенький! Тока что я усё перегладила! Миленькая ты моя! Разволноваласи!

5

ОЛЬГА

Ирочка!

Я на минутку.

Мне Наташеньку спать положить. Марию Петровну она совсем уже больше не слушается. А мне с тобой поделиться необходимо.

Вчера под вечер Татьяна моя Киселева ко мне снова является. Целует, раздевается и говорит:

– Позавчера я была к раю готова, а вчера опять – нет!

А почему – не сказала.

– Тебе, – говорит, – слушать про такие вещи не надо! Ты очень у нас целомудренная! Ты вообще у нас уже в дитё превратилась! Рай

у тебя – розовенькая твоя да голубенькая мечта! Розовенькое твое деревце! Ад у тебя – засохшие его розочки да лепестки!

Ну что это, Ирочка? Юмор? Издевка?

Подруга еще называется! Изволит шутить!

А голову как я тогда в туалете разбила! Шепот этот ее как слышала у себя за спиной! Да ад для меня – это ее шопот змеиный! Предательский!

И так вдруг я теперь людей испугалась! Они – обвинители-прокуроры, а я – подсудимая! Вот он – мой ад! Вот он – мой Страшный Суд! Да и сама я себя казнь пострашнее!

А батюшка ваш Алексей, перевели его в деревню какую-то, что ли, тоже исчез, вот он мне так красиво про рай рассказал!

Что рассказал?

Он меня адом совсем не пугал, а сказал, что, когда мы придем в рай, то очень там все удивимся друг другу! Удивимся на себя и на всех, кого повстречаем. Все друг другу там удивятся: «Киселева! Татьяна! Сестричка родная! Привет! Как дела? Однако же к райской жизни ты подготовилась! Что? Простила всех искренне? А сама хоть прощения у других попросила?»

Она?

Она на меня тоже там рот от удивленья разинет!

Я ей, между прочим, вчера хотела сказать, но воздержалась:

– Позавчера ты к раю готова была, вчера – не готова, а послезавтра – в огне будешь кипеть за предательство! И удивляйся там на всех – кого встретишь! Нет! Не в огне закипишь, а окаменеешь во льду! Вся там застынешь!

Да еще вдобавок телеграмму ей собралась отослать и тоже раздумала! Вот такой ей стишок сочинила:

Шли мы садом, шли мы лесом
и пришли мы в рай со бесом!

P.S. Шлите апельсины бочками!
Сестры Карамазовы!

Вот, Ирочка, какая я жестокая становлюсь! Разгневанная! Как будто и сама туда, в ад, вместе с ней опрокинулась. То огонь меня жжет, то холод пронизывает...

Ну, мне бежать – Наташеньку спать положить! Мария Петровна совсем уже немощной стала и больше с детьми не справляется.

Господи! Ну что же мне делать? Ну что? И без Марии Петровны я не могу, и с ней не могу. И не могу без Алеши. И Николай вот Евгеньевич обещал подать на развод, а все тянет! Недавно зашел детей навестить, опять взялся за мое интеллектуальное воспитание! «Трагичен или комичен умело смастеренный стул?»* – меня вопрошает. Мировую литературу цитирует. Знания мои проверяет. Я даже про автора на сей раз не стала у него разузнавать.

Знаешь, что он про меня недавно Киселевой Татьяне сказал?

Что лучше в ГУЛаг, чем с такою бабою в брак!

6

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ну, Ирочка!

Съездили мы к бабуле на кладбищу. Спасибо тебе, что за Наташкой да Феденькой присмотрела!

Пропололи могилку. Одне молодья вокруг. Одне молодья. И лежить бабуля наша уся у молодой канпании. Усе весельше. А рядом – совсем мальчишечка. Ну есть – анделеночек. Во хитрюшая какая! И тута устроилася! А кругом уже могил! Могил! До лесу! Мрут люди, как мухи! Иде бабулю там отыскать! Заблудиться!

Ну! Просилася бабуля на кладбищу – чтоб на природу! У лес! Деревов чтобы было там вдосталь! Не захотела вота с Полиною уместе ложиться! Так, видать, ее ненавидела! Ольгину матерю! И брату, выходить, усю ету историю никогда не простила! Что жанилси усе же он так! Думала, брат ее – ейный он муж али кто! Спокою ему не давала!

Ну! Чего таперичи говорить!

И прошлися мы с Ольгой по кладбищу. Лес там у свою время будет сплошной! Густой, густой лес! Деревов! Деревов! Бабуля наша должна быть довольная!

* Дж. Джойс. Портрет художника в юности. – Прим. М. Г.

– Давай, – говорю, – Оля, посмотрим, кто ж мреть-то! Може, старичка какого ей тута подыщим, Вере Александровне нашей!

И глядь – могилка неподалеку! Ряда два от ее. Позаросла – одна полынья!

– Оля! – говорю. – Давай ему могилку-то выполем и кустик какой сюды, цветочек посодим! Клубничку! Птички клевать ягодки будуть – помянуть человека забытого! А то как оно так? Лежить старичок, и памяти об ем ни у кого нетути никакой на усем белом свете!

Камень увесь грязищей покрыт. Заскорузилси. Отодрали мы грязь от его и имю отмыли. Ольга читаеть. Ба! Алексей!

И тута она вдруг такая на ето довольная сделаласи, Ольга-то наша! Чегой-то обрадовалась!

– Господи! – думаю. – Вот она я, дура-то старая, как во грех Ольгу ввела! Не надоть мене было могилу у дружбу бабке отыскивать! Ну кто ж ето знал! Ну кто ж ето мог подумать такая, что и покойника у етой могилки тоже Алексеем зовуть! Господи! Прости мою душу грешную! Ну что же ето я за дура такая?

Ну ладноть! Обрадовалася Ольга на делу такую, и Бог с ей – с несчастною! Може, усе ж и получааеть она! Може, и возьметься за ум! И заживем мы усе тогда поспокойнее. И потянем. И будем усе повольнее дышать. А то ведь страху-то какого страшенного натерпелися усе мы за последнюю время! Ой натерпелися!

7

ОЛЬГА

Ирочка!

Я на минутку.

Поделиться с тобой.

Поехала я опять, одна уже, без Марии Петровны, к тете Вере на кладбище. Посидела. Поплакала...

И вдруг пришло ко мне там какое-то сильное чувство...

Ну что на кладбище не только смерть...

Ну что на кладбище – что-то там и от райской тоже жизни присутствует. Рай там – на кладбище! Рай – сад и лес! И трава... А под травой – всем по заслугам...

Это важно, чтобы всем по заслугам!
Чтобы всем по заслугам! Исключительно важно!
И совсем мне вдруг стало не страшно! Даже как-то легко мне
вдруг стало там – на могилке...

8

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка!
Бяда! Бяда у нас стряслася страшная!
Ольга под вечер опять на такси покатила и домой не вернулась!
Девчонку ето вчера она спать положила – накинута на мене,
что я ей не в подмогу уже становлюся. Вопить, что дитёв ишо могу
тока покаравулить и не знает она, что у таком случае ей предпри-
нять.

А главное – ето, конечно, Алешка! Совсем без его помешала-
ся. И вот, девчонка заснула, тут же и засвистела красавица наша
на такси аж на помеле. И вот, домой не вернулась. Под окнами,
что ль, у Алешки усю уже цельную ночь прохлаждаться отпра-
вилася?

А под утро Алешка к нам сам заявляется – губы трясутся:
– Иде Ольга?
– А нетути, – говорю, – твоей Ольги! Доигралися вы, долюбили-
ся друг дружку! Чевой-то стряслося!

Аж замер на месте.
– Так никто, – говорю, – не женится! Стока ты к женщине хо-
дил! На глазах на моих усе было! Собралси жаниться, нашел жен-
шину какуя подходящую – скажи прямо!

– Я усе ей прямо сказал!
– Даа! Усе ты ей прямо сказал! Вот то-то и оно-то, что не усе
ты ей прямо сказал! Как ты ей прямо сказал? Что головою рас-
шиблася она тама у вас об толчок на работе! Никак с тех пор у
себе прийтить не может! День и ночь через тебе убивается, что
и мене места здесь боле нету! Она нас усех у могилу сведеть и
сама опосля в ее ляжет! А може, и побегла топиться куды! Или

веситься! Верёвока-то из квартиры пропала! Не укаравулила я верёвоку ету проклятую! Ну, вот! Разбирайтесь сами таперичи! Дитёв тока жалко!

Решилси, говорить, у милицию итить сообщать. Приезжают ето оне вчерась к вечеру на дачу с жаной, а у дверях записка торчить, и шаля ета, что Коля Евгенич дарил, знаешь, цветочками, на кусту болтается у их у крыльца. И усе ето при жане происходить. И у записке настрочила ему: «Прощай! Позаботьси об дитях!»

А при чем тут Алешка, кода оне у Колю Евгенича оба пошли? Глазы – ну есть васильки! И бабы во дворе говорить:

– Не похож оне на Алешку! Вылитыя – Коля Евгенич!

Ан нет! Чегой-то в их и от Алешки тоже проглядывается! Я иной раз и сама сумлеваться зачну! И вот угрожает у записке Алешке дитями!

Вот она тебе какая мать на поверку выходить! Какая же ето мать? У ей и чувства к дитям никакого не было никогда! Она их и молоком-то своим не кормила. У ей груди совсем не работали. Овсяным отваром я ей Наташку и Феденьку выходила.

А Петю сваво я до году кормила. А Ольга? Тока, бывалоче, чмокнеть их на ночь и сластушками по горло завалить.

Господи! У ей под глазами давно уже чернота! Осунулася и замыслила она нехорошее чтой-то!

Ну и что, что бабуля усю жисть замышляла? Та хитрая была и егоиска, каких свет не видал. Кошка живучая. И вреду было в ей! Она и Полину, матерю Ольгину, на тот свет – не пожалела – спроварила. И Ольгиному отцу усю она спортила жизнь. Как к ему какая женщина заявится, бабка у ту же секунду голову у петлю суёт. Ольга сказывала.

– Ты, бабуля, там у раю у себе не обижайси, пожалста! Тяжелая ты усе же, бабуля, была! И на Ольгу сильную ты влиянью имела. Ты тама нас слышишь, бабуля?! Под дереву под свою Ольгу боле ты не гони! Неужели тебе и тама – у раю – укороту-то не дадут?

И вот Ольга я говорю:

– Не замышляй чегу нехорошего, Оля! Сидишь под бабкиным деревом и сиди, ничего не поделаешь, ну тока у голове у своей не

держи, чтобы какого ущерба себе или сваму обидчику нанести! Скажи у голове у себе и у сердце: «Бог с им – с обидчиком! Облегчи, Господи, мене обиду мою! Силов моих боле нету! Услыши!». А будешь обидчику чего худого желать – на саму оборотится со временем!

Ну а как, Ирочка? А как же иначе?

– И отойди от Алешки, – говорю, – на расстоянию даже и у своей голове! А то, и правдять, прилепится к тебе болесь да какая хворь из-за етого! Гони! Гони от себе все ето нехорошее прочь и крепи у сердце своем тока усе доброе, ласковое!

А она мимо ушей, что я ей говорю, пропускает и по полу начинает полозить. Рыщеть там, рыщеть чегой-то.

И чего она там усе рыщеть? И чего она там потеряла? И чего она там на полу у себе ценного может найти? Самого Алешку, что ли, она там потеряла? Как он с сердцем-то пред ей на полу тоды валялся беспомощный. Да и сама за сердце тоже хватается.

Гулять выйдеть с детьми – свежего воздуху глотонуть, бабы на один на ее вид тока посмотрють, тут же мене и советы начинают давать:

– Свезть ее в Кащенку! У Белыя Столбы ее свезть!

– Так ведь заморють ее тама совсем, что и не похож она станеть на человека! Нет! – говорю. – Перетерпим! Господь терпел и нам велел! С ей, главное, добром тока надоть. Ласково. Обнять ее. К сердцу сваму прижать. Как рабёнока, по головке погладить. Она ведь особо-то и любви ни от кого никогда не имела! Мамашка при родах ведь померла и прижать ее к сердцу к сваму не поспела! Папашка у книжки уткнутой усю свою жисть просидел – до старых лет не дожил! Рано помер! Родная вот тетка усю свою жисть вкруг сваго дерева проплясала да со стулом со своим ишо упражнялася – на бой с нами готовилася!

И к чорту вот, Ирочка, дереву ету бабкину куды подале надоть усе же загнать. В какую учреждение ее сдать, чтобы и духу бабкиного у нас боле не было. Ушла и ушла бабуля наша – цельный век прожила! Чего ж тут поделаешь? Ну, погорюем. Ну, поскучаем без ее без проказ и проделок. Главное, Ольга чтоб получшала, по-

правилася! Вот так Господу иной раз и прошепчешь – губы аж еле шевелятся:

– Господи! Услышь Ты нас, Господи! Обороти Ты свой взор на сироту на ету несчастную – Ольгу! Ну чего это – страдает она так-то? Отведи нехорошие мысли от ей! Успокой ее сердце! Успокой ее голову! Не дай чего недоброго ей замыслить у себе у голове! Пожалей ее, сироту...

Такая-то вота дела у нас, Ирочка!

Хорошо мене это тут с тобой говорить, а домой итить все же надобно. Дитёв с вулицы подобрать, помыть, покормить. Тама за ими бабы приглядывают. У песке они тама, Наташка и Федечка, с другими детишками уместе играют. Не догадываются ишо, что вота их мамашка проделала.

Не знаю тоже – не ведаю, чего и предпринять тама Алешка замыслил. Взял тоже такси – покатыл.

Одно тока прошу я у Господа:

– Господи! Пронеси! Упаси Ты нас, Господи, от какого греху! От несчастья! Не дай Ольгиных дитёв оставить сиротами!

9

ОЛЬГА

Иришка!

Привет!

Волновались?

К чему такая паника?

Алеша здесь был? Вот и хорошо!

А я предупреждала. И не раз. И в последний раз так и сказала:

– Меня не ждите!

А почему я не могу куда-нибудь поехать? Он же поехал! Почему мне одной нельзя где-то побыть? Почему?

Не могла я так больше. Не могла. Совсем сон потеряла.

А у воды мне хорошо. Я у воды успокаиваюсь. И Черное море люблю. Особенно в осеннее время. У Алеши ведь медовый месяц там был. Рай настоящий. И даже недорого.

Вот и я тогда в рай решила скататься! Ха-ха-ха!

Посидела я там на камушках. Тихо так. Поплакала. И волны поплакали вместе со мной...

10

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка!

Ну? Как ты думаешь?

Заявилась наша красавица!

И знаешь, иде ее чорт носил? Призналася усе же тебе?

Да! На Черную морю катала! Усю ету время!

– Оля! – говорю. – Оля! Как же ето тебе не совестно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тебе у пруде у Алешки на даче усю ету время вылавливали, а ты тама, у Черного моря, задницу, оказывается, свою греешь на солнышке! Да ишо, поди, с кобелем с каким с проклятушим – на пляжу без разбору безо всякого подобрала! Ето на такея проделки ты булетени берешь? Ето такуя ты себе спасению ищешь? Ах ты, бессовестная ты едакая! Дитёноков совсем забросила! Тебе твоя задница, выходить, дороже! Скока мы тут слез по тебе пролили! Страху страшенного скока за тебе натерпелися!

Мене же, Ирочка, страх за ее давно уж грызеть! И жаль как ее! До невозможности! А усе равно ругать ее не перестаю:

– Ты бы лучше рабятam штанишки хуть раз застирала! Вот бы тебе спасения-то была! Да лучше бы тебе у больницу к Алешке тоды допускали, посмотрела бы, как тама люди страдают! Да ты дитенокам книжку бы хуть раз на сон почитала! Бабуля привучила их каждый вечер, как у постелю идуть, книжки слухать! Истории! А я же неграмотная!

Девчонке так вот иной раз заикнуса:

– Наташенька! Девочка ты моя миленькая! Душистая ты моя ягодка! Давай скажу тебе сказочку про золот-стаканчик али про мальчика-с-пальчика! Закрывай свои глазоньки!

– Не хочу! – тут же взовьется. – Не хочу боле про тваво мальчика-с-пальчика слухать!

– Да какой же это он мой, мальчик-то-с-пальчик? – я ей в ответ говорю. – И какого ж рожна ему такая старая старуха нужна? Вот подрастешь – ой как сама-то захошь для себе етого мальчика-с-пальчика заиметь! Усю свою сердцу через его потеряешь! У матерю уся у свою ты пойдешь! Природа свое возьмет!

Ой и настырная она, Ирочка, девка-то Ольгина! И накормить себе порядком не дасть! Я Ольге без конца говорю:

– Не сажай девку у хорошем за стол! Она усе удрызгает! И посуду хорошую, чашки на стол ей не ставь! Перебьет!

– Наташенька! – говорю. – Старайси, деточка, усе аккуратенько делать! Это что же такое у вас получается? У нас у деревне и то так не кушали! А вы – люди культурные!

И знаешь, чего намереди удумала?

Ну и хитра! Щи как учуеть, извернется да ловко как саданет по тарелке – и тут же вопить:

– Аааааааа! Это мене няня! Это на мене няня суп пролила! Пальчик мене обожгла! Ааааааа!

Во, Ирочка, девка какая у Ольги хитрющая уже подрастает! Негодница!

Ну, ладноть! Бог с ими! Отыскалася кулёма наша, и слава тебе, Господи! Одно жалею – надоть было бабкину дереву за ету времю усе же выкинуть. А я забояласи. Думала, пока дерева стоять, Ольга найдется.

Ну что тут поделаешь? Пойду-ка я, Ирочка! Петя с Людмилою сулились приехать! Бутылку-то у любом случае надоть упрятать куда подале от их! А то усё выжрут и Ольге не оставлють ни капельки!

11

МАРИЯ ПЕТРОВНА

Ирочка, миленькая!

Пришла она к нам усё же – беда!

Беда – открывай ворота!

Приехали оне – Петя с Людмилою! И напарника с собой привезли!

Васятку помнишь? Кухоню Ольге красил. Прикатали – полку Ольге поставить. А то усё у нас валяется на полу. И ничего Ольга тама никак не найдеть. Книги. Бумаги.

– Петя! – говорю. – Вы матерьял внесите сперва, сколотите полку, а потома Ольга вас угостить! А то усе криво получится! Полки держаться не стануть! Усе книжки попадают!

– Ты чего, мать? Смеесси, что ли? Не подмажешь – не поедешь! Не такеи уж мы и дураки! Без смазки работать не будем!

Расселися так ето хабально. А наша отказать не может. Водки бутылку, оказывается, им уже заготовила.

Начали распивать. И Людмила – работница! Никуды Петра одного от себе не пускает. Округ его крутится. И мой дурак не накобелится никак. Людмилу ловить и лапает:

– Ээээ! Как моя Людмила восьмерки пишет!

А ето она задницей так-то вота виляет. Тьфу! Ни стыду и ни совести – пьяная на Петю при усех лезет и ржет:

– Мене аборт сделать – как к зубному сходить!

Нашла чем вображать! Ну, не дура? И я завсегда ее упреждаю:

– Людмила! Людмила! Ты предохранялася бы лучше! Ты же себе так усю здоровью спортишь!

Гогочет в ответ:

– Ето вы, мама, вкусу не понимаете! За то мене мужуки и любить!

Ну и баба! Обоссыть – заморозить!

И Ольга туды же. Посадили ее меж собой, и Васятка так ето об ее трется. Господи, помилуй!

А наша дура гогочет не хуже Людмилы.

– Тьфу! – голос на их подымаю. – Петя! Держи его, сваво Васятку, покрепше! Здеся дети малые, не говоря об взрослых! А ну! Беритесь за делу!

А какая же ето дела, коли оне усю бутылку вылакали уже и Ольгу за другой посылають?

– Ольга! – хватаю ее за подол. – Не страмися по двору! Не ходи ишо за винищем! Ты на ногах не стоишь!

А она выбивается. Сильная сделаласи.

– Оне тебе, – кричу, – весь дом разнесут! До утра озорничать здесь станут! Не твоя ето канпания! Гнать их у шею куды подале надоть отседова!

Пришлось бутылку, что упрятала я от их, доставать, а то бы оне мене усю шею свернули!

И опять пили, ржали.

А наша непривыкшая – и свалилася, заснула. Не растолкать! И у магазин ее уже никак погнать не удастся! Винищу-то усю опять оне вылакали, и снова им – вынь да положь! Вот тут и про дереву Ольгину вспомнили – за бутылку ее куды свезть! Мы же как раз и сулилися бутылку на ету делу им отвалить! И етот чорт окаянный, Васятка, напарник, совсем одурел.

– Иде, – ореть, – ета дерева, что дилехтору надоть свезть у магазин? Подавай ету дереву сюды!

– Мы, – кричу, – без тебе уже договорились с дилехтором! Не ходи по комнатам! Ты не у себе дома распоряжаесси! Ты у гостях у культурных людей! Веди себе потише!

А он сделалси – ну есть зверь! Антихрист! И у бабкину комнату!

– Петя! – кричу. – Держи его! Не пущай по квартире! Он каких делов напроказить!

А тот уже за кадушку – откеда тока силища взяласи. Ведь на ногах не стоять. Надулси как бык разъяренный.

– Ну, – думаю, – лопнетъ – и туды ему дорога!

Куды тама! Гогочуть. Выкатили кадушку.

Господи! Мене с ног чуть не сшибли, потому я им путь стараюся перегородить. Напугалася я сильно за Ольгу, что дерева ета, и правдоть, очень дорогая ее сердцу приходится. Уму ее – разуму очень она дорогая, дерева ета. Райская дерева ета ее.

Ну! У сторону оне мене шибанули. По лестнице – надулися – как пианину, начали ету дереву стаскивать. Я смотрю – щас, пьяные, загремьят и покатются уместе с етой кадушкой – ступеньки затылками своими будутъ считать.

Как у воду глядела! Насыпалося из кадушки землищи на лестнице, а мене убирать. И затылки их, и правдоть, ступеньки, одну за другой, пересчитываютъ. И вота на лестничной клетке усе оне с

деревой етою и с кадушкою уместе валяются. Бухнулися. Спустилася я их растолкать:

– А ну – подымайтесь!

Схватил Петька мой дереву – как бабу в обнимоку. Васятка – кадушку. И так поврозь все ето дело через дверю парадную вытащили. На грузовик затащили. Людмила за ими как щука полощется. Уселася на грузовике кадушку держать. Петька – дереву обнимать. Васятка – за руль. Укатали.

– Господи! – я руками всплеснула. – Загремять! Разобьются! И людей невинных угроблють! Дитенок какой угодить под колеса! И усе за бутылку! Господи! Вота дура я старая! С мене ведь ето усе зачалося! Ето же я сама так напакостила! Ето же я сама Ольгину мечту так сгубила! Ето же из-за мене дереву-то ее увезли! Ето же из-за мене так ети черти набезобразничали! Ето же я сама так за чистоту да за порядок у доме боролася! Да уж лучше у мусоре жить, чем оставить человека без радости! Да уж лучше у беспорядке сидеть, чем так сердце сокрушить человеку!

И заплакала я. Испужалася. Щас, думаю, Ольга очухается, и чего из етой деревы зачнется у нас! Не снести мене головы! Выкапываться придется к сестре – ето уж точно! Пожитки скуденькие, монатки свои надоть начать собирать. Рубашонку ночную. Халатик да фартучек. Галоши да гребешок.

Проходить какая-то время. Я дитёв покормила. Тарелки вымыла. Смотрю – выползаеть. Ухватила так вота за стенку – еле держится на ногах.

Обмерла я. Жду. Усе у роте у мене пересохло. Сердце еле-еле стучить. Замираеть.

А она ето серая сделалася и на кухню, жалобно так вота скрючилася, – у чайник воды идеть набирать.

– Ты, – говорю, – Оля, чего? Чайку, что ли, милая, попить собраласи? Давай я тебе подсоблю!

– Нееет! Розу надоть полить, а то сохнуть она зачала!

– Розу? – говорю.

– Дааа... А то стоит она – ветки совсем опустила...

Подходим мы к месту, иде дерева ета наша стояла, я совсем обмерла, а она воду лить зачинаеть прям на пол!

– Олечка! Оля! – шепчу ей. – Олечка! Миленькая!

И ничего сказать не могу. Тока плачу. И к Пресвятой Богородице:

– Богородица Дева! Радуйси!

Ой! А чему же Ей тута радоваться, Богородице-то?

Я тогда по-другому – по-своему зачала:

– Богородица Дева! Смилуйси! Попечалуйси с нами! Услыши!

Пожалей Ты ее, Ольгу нашу, несчастную сироту! Помоги ей с бядой с ее справиться! Умирает она, Ты же видишь, от любви к человеку, что ой как обидел ее! Что усе он ей сердце на малыя кусочки разбил! Что усю он душу ее истомил! Что и дух он из ей увесь выпил! А у ей ишо дети малыя, неразумныя! Их ишо растить да растить – на ноги подымать! И никак она за ум не возьметси! Ну что ж ето делается с ей тута у нас! Услыши Ты нас, грешных, Богородица Дева! Благословенная Ты у женах! Прости Ты нам грехи наша! Не тока Ольгины, но и мои Ты прости! Это я усем виноватая! Дура я старая! Одне болести от горя таперичи у мене! Тута вот – прямо под грудию – заломило, что и дыхнуть не могу! Вопухоль выросла! И жить негде мене получается!

И сама я уже на пол укладываюсь. На Ольгу смотрю – она как у дыму предо мною.

– Оля! Детка моя! – прошептать ей усе же стараюсь. – Чего ето ты делаешь-то? Чего ето ты воду так льешь? У пустоту – прямо на пол! Смотри, мене не облей! Нету тута цвету тваво никакого! Забрали они его, ети черти проклятыя, паразиты ети, вражины поганья! Змеи!

А она жалобно так-то скосилася и слезы глотаешь... И из чайнику лъетъ воду на пол и лъетъ. На мене летить брызгами...

– Нееет! – шепчетъ. – Здеся он... И мене любить... И розы...

Галифакс, 1976–1978, 2012

ШОСТАКОВИЧ

(РАЗГОВОРЫ)

Виктору Ямпольскому

БОРИС ДОРОХОВ-ВАЙСБЕРГ

И ЕКАТЕРИНА ЖАМЕ

Приветствую тебя, дорогая моя Катерина-Катюшенька!

Наконец! А где обещанная Ольга?

А кого же еще рисовать, как не баб? Садись!

Да все ты умеешь!

Опять простудилась? Перцовочки!

Вот! Выпей! Выпей! Поможет! Питие есть веселие духа! И музычку непременно поставим! Сиди и слушай!

«Четвертую» Шостаковича?

Ну, это потяжелее еще, чем Федора Михайловича читать!

Ну хорошо! Как прикажете! Ставим!

Выпей! Хоть пару глоточков. Слушать поможет.

Так... Ставим пластиночку!

Подбородочек так вот держать! Как могу, трактовать буду по ходу. Не взыщи! Физика – мое первое дело! Профессиональным музыкантом так и не стал! Не стал и художником!

Сиди! Пряменько! Пряменько! Так. Хорошо... Вот...

Вот... До мажор... Побочная тема. Контраст к первой побочной. Чтобы спутать слушателя!.. Не состоялось. Скрутило. Потом сыграет...

Слушай!.. Не осталось лирического настроения. Начинается гадость. Действительность наваливается на человека...

Сиди! Сиди! Вот так... Хорошо...

Вот. Возвращается к началу. Слушай! Жуткий кусок! Вопль! Связующая партия. Обвал. Человек затерялся в действительности. Слышишь? Вопль!..

Начинаются размышления. Побочная партия. Слушай здесь! Фагот – скорбный голос. Жуткие аккорды у арфы. Валторны. Слышишь? Совесть просыпается. Последние отблески. Наступление со всех сторон. Как бы в дверь наползают гады. Призыв к какому-то действию. Тубы – ту же побочную партию – против человечества...

А теперь маразм! И тромбоны – ту же. Разработка – шарманка. Беспризорнички. Ужас. Видите?.. Стукачи. Всё начинает двигаться. Пошла fuga. Жуткий вихрь. Вьюга. Вьюга в мозгу. Заварушка. Все аккорды. Вот. Слушай!

Ну, хорошо, Катерина-Катюшенька! Отдохни! Разомкнись!

Так...

Слушай дальше!

Вот... Одна нота. Дикий сарказм. Дикая, идиотская музыка. Довели человека. Уже счастлив. Начал улыбаться. Проституция. Всё пропивают. «И я вместе с ними!» Уже себя продал. Вдруг – слушай! – прозрел! Слышишь?

Начинается его голос. Просыпается. Проснулся. Голос его со- вести...

Давай, Катюша! Садись! Вот так... Хорошо... Вот! Опять побочная... Все ждут одного, а он: «Фигушки!» Потом вся экспозиция – в зеркале – наоборот...

Лирическая часть. Близко к Шуберту. Единственный теплый кусок... Вторая тема... «Хорошо! Хорошо! – НКВД ухмыляется. – Погодите!..» Как бы испанская цыганочка. Испаньолочка. Испанские события... Стукач – на одной ноте – на ре – как заладил... Ему говорят: «Их уже давно забрали!», а стукач все свое...

Интермеццо. Лирическое отступление. Чтобы не вырваться из окружающей жизни... На Прокофьева похоже... Балаганчик. Шарманка. Опереточная... Вторая тема. Пойдет потом в Пятую... Чудовищное нарастание... Fuga на четыре голоса. Думали – всё хорошо! И вдруг – скелетики! Всё на костях! Траурный марш! Похоже на

Малера. Бетховен. Трансформация траура в победу. Преображение в мажор. Шествие. Но очень ненадолго. Вот! Типичный Петербург. Замороженная настороженность... Маршеобразные ритмы. Как у Бетховена. Революция. «Митюх! А Митюх?!» – из Мусоргского. Слышишь? До диез минор. «Ийх!» Бюрократия хилает до бесконечности. Занудство... Заело... Слушай! Механические человечки. Антигуманистическая жизнь. Потом в Пятнадцатой гениально сделает – деревянные солдатики, и вдруг – человеческое сердце...

Вот! До мажор! Урррраааа! Общий энтузиазм народа! «Похиляли!» Ступор. Застряло. Никуда не идет. Все скатилось. Пьянь...

Вдруг – картинки НЭПа. Барышня выскочила. Наташа! Лебедева Наталья Ивановна!

Да-да-да! Лебедева Наталья Ивановна! О любви у окошечка. Зоценко. Кусок мыла. Занавесочка. Кошечка. Мечта. Вальсочек... Вот... Каденция. Закруглились.

Вдруг – пионерский отряд хилает. Фагот. Запевает. Отвечают: «Есть, товарищ командир!» Вперед с флагом. Слушай! Кто-то отрыгивает! Капитан милиции с грязным рылом в калашный ряд...

Вдруг – меняется картина. НЭПик продолжается. Дуэт. Чувак признается чувихе, а сосед услышал за забором...

Возвращается главная партия... И пошлятина. Толпы. Не видно лиц. Неизвестно – куда идут. Победа! Соль – до – фа диез. Все обрывается. Траурный марш в басу – вместо победы! Праздник-то – чего? Хо-ро-нят! На ноте до – ниточка жизни... Слушай! До – до – до... Душа испускает дух. Челеста... В Пятнадцатой потом гениально – пустит в светлую тональность – там феноменальная теплота, когда душа отлетает... А тут вступают вторые скрипочки. Флейты и кларнеты. Пульс: до – до – до... Душа... Вторые скрипочки, как идиоты, повторяют, повторяют...

Ну, всё! Смотри, Катерина, что у нас тут с тобой получилось – под такую музыку, а? Здорово товарищ Боря потрудился!

Нравится?

Вот здесь светлее сделаем... Нос.

Да, верно! Затылка не почувствовал. Здесь темнее... Так...

Нравится?

Не похожа?
Ну как не похожа?
Нет. В тебе это есть. Как раз почувствовал! Ты позже поймешь.
Тебе понравится...
Здесь? Темнее?
Так?
Хорошо... Товарищ Боря что-то все-таки уловил!
Еще раз хотела бы вместе послушать? И даже не раз?
Приходи!
Приходи непременно!
Работаешь над статьей?
«Музыка как зеркало коллективного в индивидуальном сознании и в форме цветка»?
Шучу! Шучу!
Конечно же, помогу!

ЕКАТЕРИНА ЖАМЕ

И

ИВАН КУКИН

Поставим «Четвертую» Шостаковича! Хорошо, дружок?
Ну, ты же упомянул в прошлый раз, что Шостаковича хочешь понять! И непременно «Четвертую»!
Я запомнила.
Попытаюсь тебе объяснить! Посмотришь, как я это все понимаю!
Естественно, это будет мое личное восприятие. Интерпретация. Интерпретация ученого, но с душой музыканта. Так уж я чувствую...
Вот тебе коньячку! Сыр очень хороший! Виноград! Орешки! Поудобней устраивайся! И не стесняйся!
Ставлю!
Не отвлекайся! Сосредоточились! Внимательно слушаем!
Вот... Все ноты – мажор... Побочная тема. Контраст к основной. Контраст – ведь это исключительно важная вещь. В любой ситуации.

И в самой природе, и в жизни, и в музыке. В искусстве, в культуре вообще. В поведении человека. И в поведении целого коллектива.

Слушай! Лирическое настроение, которое непременно исчезнет. Согласен?

Вот. Действительность ведь на самом деле суровая. Особенно после революции и гражданской войны.

Еще наливай! Не стесняйся! Сырку еще подрезать могу. Орешки бери! Вот так.

Вот. Возвращается к самому началу. Потому что человек всегда сравнивать начинает. Со своим прошлым. Сравнивает настоящее с прошлым. Пытается заглянуть в свое будущее. В свое. И, конечно, в будущее своего социума. Вглядывается и в то, и в другое. И чувствует при этом себя ужасно растерянным. Совершенно потеряннным в окружающей революционной действительности чувствует себя человек. Слышишь?

Это я уже как ученый тебе говорю.

Поддерживаешь в этом меня?

Так.

Думает. Думает. Побочная партия. Слушай здесь! Очень что-то скорбное происходит в действительности. Скорбный голос.

Как ты думаешь – какой инструмент?

Валторна?

Не угадал! Флейта!

А это вот арфы. Совесть просыпается у человека. Но! Но на него злые силы наваливаются. И надо ведь что-то по этому поводу предпринять! Поэтому идет призыв к какому-то действию. Но все каким-то таинственным образом оборачивается против человека. Против его настроения и состояния.

И вот тема беспризорничества наступает. Неизбежная тема – после Первой мировой войны, затем революция, затем гражданская война, красный террор, голод, миллионами гибнут люди и от пуль, и от голода. И вот их дети – беспризорники. Ты чувствуешь ужас?

Ну вот. Не совсем уж я полная дура! А теперь – как ты думаешь? Какая должна теперь тема пойти?

Попробуй определить!

Хорошо – подскажу! Тема ЧК! НКВД! Органы! По-нашему теперь – КГБ!

Органы – и с ними проблема сотрудничества.

Разделяется общество все глубже и глубже. К классовой борьбе добавляется не только тема страха, но и тема обостренных душевных метаний. На чьей стороне оказаться? Выбор. Вьюга! Вьюга не только снаружи, но и внутри человека. В сердце у него и в голове – вьюга. Терзается человек. Вот, слышишь? Он опять затерялся. А решение же надо принять!

Родной мой! Дружочек! Подушечку вот эту еще возьми! Ещё коньячку?

А селедочки в вине принести?

Вот... Одна нота. Человек в растерянности, но постепенно начинает видеть действительность. Вот он прозрел. Он проснулся. К нему вернулось понимание ситуации. И к нему возвращается оптимизм, с которым он преодолет все трудности, что встретятся на его пути.

И ты, мой дружок, не отчаивайся! Улыбнись! Как только ты научишься понимать ситуацию, в которой ты по жизни оказываешься, полдела уже решено. А с надеждой на будущее ты и вторую половину дела сумеешь преодолеть.

Ну вот! Лирическая часть начинается.

И у тебя она тоже начнется. Увидишь! Верь мне! Верь! Ты непременно увидишь!

Вот! Как раз интермеццо! Лирическое отступление. Чтобы потом в будущее вступить. И вот тут идет переключка с разными композиторами, с которыми все эти темы перекликаются. Тут и Чайковский как бы идет, «Лебединое озеро». Трагический вообще-то балет. Но все равно не надо отчаиваться! Бетховен же показал, как, несмотря на трагедию, надо верить в свой триумф и победу! Учись, дружочек! Учись! Надо учиться у гениев!

Вот она – тема как раз! Оптимизм! И все уже идет в мажоре. И тут марши пойдут. Боевой дух. Праздник. Победа. На парадах и на демонстрациях он как раз проявляется.

И вот передышка. НЭП. Передохнул здесь народ. Вот как и мы здесь с тобой после всего пережитого, после всех этих препятствий и трудностей сидим – на столе у нас коньячок, музыку слушаем.

А вот вальс!

Умница ты родная моя! Мой милый дружок! Всё верно! Всё верно!

И вот она – возвращается – главная тема... Победа! Фа – соль – ля – си... Фа – соль – ля – си...

Однако же все обрывается!

Почему? Да потому что все мы прекрасно знаем – конец! Всему в жизни приходит конец. Не избежать.

И какой же мы делаем вывод из этого?

А вывод такой, мой дружок, что все равно не надо отчаиваться!

Вот здесь пульс уже начинает отсчитываться. И вот он все реже и реже... И обрывается... Ре-ре-ре... ре-ре-ре... И всё. И пульс останавливается.

Но до этого момента он бьется. И вместе с ним бьемся мы и, несмотря ни на что, все равно верим в победу и преодоление трудностей!

Ну, поверь мне, родной! Нас с тобой ждет какой-то невероятный и очень приятный сюрприз! Главное, надежды не оставлять никогда! Ты слышишь надежду в этом миноре?

Мы еще не раз все это послушаем, и ты услышишь, непременно услышишь надежду! Она же умирает последней!

То есть умрет после нас?

А ты, мой дружок, шутник! Я не знала!

И это прекрасно! Без шутки и юмора жизнь не прожить!

Ну так и учимся юмору! Учимся, как из минора непременно прорваться в мажор! Несмотря ни на что! Несмотря ни на какие препятствия в жизни!

Галифакс, 1978–1979, 2012

Марина Григорьевна Глазова

СЛОВА СБЫВАЮТСЯ

ПОЭЗИЯ. ПИСЬМА. СВИДЕТЕЛЬСТВА

ISBN 978-966-378-405-2



9 789663 784052 >

Видавничий дім Дмитра Бураго

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

ДК № 2212 від 13.06.2005 р.

тел./факс: (044) 227-38-48, 227-38-28;

e-mail: info@burago.com.ua, www.burago.com.ua

Адреса для листування: 04080, м. Київ-80, а/с 41

2014-й год на дворе, а опыт диссидентов-шестидесятников, оказавшихся в конечном счете в эмиграции, не стареет. И в новом веке все тот же вызов судьбы, тот же поиск нравственных и духовных ориентиров, та же необходимость понять Запад, его возможности и ограничения, и та же любовь к своей стране, чья история все так же катастрофична. Но поэтический дар, глубина и сила видения, опыт дружбы – это новость, та новость, которая, как сказал поэт, всегда нова.

Елена Глазова

Я начал упрекать себя в безрассудстве. Марина и я рано остались без отцов. Какое право имел я на мой отчаянный поступок, зная, в какой стране живу?..

Впрочем, когда Марина шутливо попросила Бориса [Шрагина] подлечить ее паранойю, он, взглядевшись в нее, изрек:

– Какая у тебя, Мариночка, паранойя? Ты же кремневая баба!

Юрий Глазов

Что это вы делаете, Марина? Так писать не разрешается. Только главное, чтобы вам не мешали. Я бы хотел все это издать и написать предисловие.

Александр Галич

Мы слишком долго ждали, разбрасывая за ненадобностью все самое талантливое и честное из того, что имели. Давайте порадуемся теперь тому, что мы дожили до иных времен, когда пришла пора уже не разбрасывать, но «собирать камни», которым предназначено лечь в фундамент нашей единой истинно народной культуры.

Галина Корнилова

А я как издатель только свидетельствую о первой рекомендации, которую Марине Глазовой дал незабвенный Венедикт Ерофеев... И рекомендовал он ее очень серьезно, от всей души и чистого сердца...

Анатолий Лейкин

А вот отцу [Александру Меню] отвезу... Это же Бог знает что, так заговорить, как будто никто тебе не указ... Про Лену [Строеву] и про моря тюльпанов – это зверски прямо, это – прости за наглость – лучше некуда... просто для антологии какой-нибудь...

Наталья Трауберг

С радостью убеждаюсь, что не ошибся, считая тебя очень богатой духовно. Ну что ж? Может быть, если бы ты этих богатств не имела, тебе не дали бы столько испытаний. Может быть, и вдали ты будешь светить и греть не только домашних (как положено всем нам, и как мы все плохо и недостаточно делаем).

О. Александр Мень

Твои «Разговоры» («Розовое дерево») так звучат, что все время вслух читать хочется. Мы и читали, и сначала было смеяться стали, а потом страшно стало...

Наталья Садовская

Поэта – идиота. Гениальная рифма.

С. Аверинцев